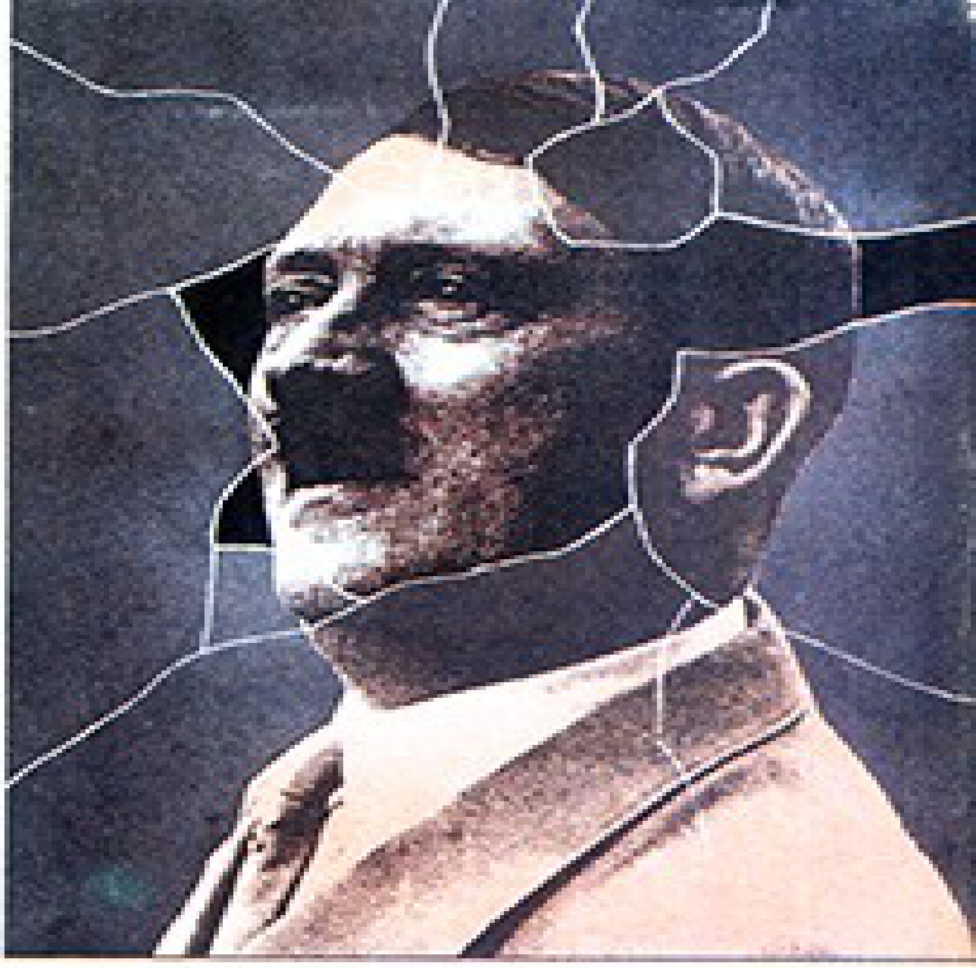
XX ВЕК: ФАШИЗМ



И. Фест

АДОЛЬФ ГИТЛЕР

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Теперь жизнь Гитлера действительно разгадана», — утверждалось в одной из популярных западногерманских газет в связи с выходом в свет книги И. Феста.

Вожди должны соответствовать мессианским ожиданиям масс, необходимо некое таинство явления. Поэтому новоявленному мессии лучше всего возникнуть из туманности, сверкнув подобно комете. Не случайно так тщательно оберегались от постороннего глаза или просто ликвидировались источники, связанные с происхождением диктаторов, со всем периодом их жизни до «явления народу», физически уничтожались люди, которые слишком многое знали. Особенно рьяно такую стратегию «выжженной земли» вокруг себя проводил Гитлер.

Так возникает соблазн для двух типов интерпретации, в принципе родственных, несмотря на внешнюю противоположность. Первый из них крайне упрощённый, на основе элементарной рационализации мотивов во многом аномальной личности; второй — перенесение поисков в область подсознательного или даже оккультного.

Автору этой биографии Гитлера удалось счастливо избежать и той, и другой крайности. Его книга уникальна по глубине проникновения в мотивацию поведения и деятельности Гитлера, именно это и должно привлечь многих читателей, которых едва ли удовлетворит простая сводка фактов.

- Иоахим К. Фест
  - ГИТЛЕР ИОАХИМА ФЕСТА
  - ПРЕДВАРЯЮЩЕЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
  - КНИГА ПЕРВАЯ
    - Глава I
    - Глава II
    - Глава III
    - Глава IV
    - Глава V
    - ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ СТРАХ
  - КНИГА ВТОРАЯ
    - Глава I
    - Глава II
    - Глава III
    - Глава IV

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39
  - 40
  - 41
  - 42
  - 43

- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87

- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131

- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175

- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219

- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263

- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307

- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351

- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395

- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438

Иоахим К. Фест
Адольф Гитлер. В трех томах. Том 1

ГИТЛЕР ИОАХИМА ФЕСТА

В грандиозном массиве биографических писаний о фюрере «третьего рейха» выделяются три пика, три ориентира, знаменующих разные стадии исследования этой проблемы, далеко выходящей за собственно личностные рамки.

Первопроходцем был талантливый немецкий журналист Конрад Хайден. Свою книгу «Фюрер» (1936 г.) он писал, можно сказать, с натуры. В качестве корреспондента газеты «Фоссише цайтунг» в Мюнхене он прямо и непосредственно наблюдал за политической карьерой Гитлера с её истоков. Он обладал не только острым взглядом, но и отменно владел пером, был наделён даром аналитика. Именно Хайден раньше многих других сумел распознать угрозу, таившуюся за карикатурным обликом Гитлера. Но, как видно уже по времени публикации книги Хайдена, созданный им портрет оставался незавершённым.

После 1945 г. потребность в фундаментальном труде, охватывающем весь жизненный путь нацистского диктатора, ощущалась особенно остро. И самым серьёзным и обстоятельным ответом на вызов времени явилась книга британского историка Аллана Буллока «Гитлер. Исследование тирании». Её первое издание увидело свет в 1952 году, а второе, капитально обновлённое, десятилетие спустя. В этом была своя логика, ведь именно в английской историографии биографический жанр занимает видное место, утвердилась традиция политического жизнеописания. Британскому историку предстояло внести в подверженную всякого рода перепадам «гитлериану» элементы стабильности, солидности, баланса.

Вплоть до прихода Гитлера к власти мало кто был способен трезво оценить его возможности: слишком уж вопиющим казался разрыв между масштабом его притязаний и карикатурным «имиджем». Неудачный политический дебют в ноябре 1923 года превратил его в посмешище. В самих определениях — «пивной путч», «мюнхенский политический карнавал», «опереточный переворот», «дешёвый вестерн» — отражалось пренебрежительное отношение современников к этому событию и его герою.

Даже после сентябрьских выборов 1930 года, когда национал-социалистическая партия превратилась в важный фактор политической жизни Германии, на Гитлера продолжали взирать иронически, как бы сквозь призму мюнхенского фарса. «В действительности, Гитлер — не более как карикатура на Муссолини»[1] — утверждал итальянский литератор К. Малапарте в своей нашумевшей книге «Техника государственного

переворота». У английских обозревателей фигура Гитлера ассоциировалась с комическими персонажами классической литературы. «Почитатели Шекспира найдут кое-что от Гитлера в Пистоле, почитатели Диккенса найдут много от него в Тэппертите, шествующем через живые сцены „Барнеби Раджа“[2] — можно было прочесть в «Манчестер гардиан» вскоре после успешных для нацистов выборов в сентябре 1930 года.

Хотя Гитлер с исключительной откровенностью (о чём он впоследствии сожалел) изложил своё каннибальское кредо на страницах «Майн кампф», большинство западных учёных, публицистов и политиков, по словам германского историка К. Ланге, специально изучавшего реакцию на эту книгу, не желали знать её содержания или, «если знали, не желали принимать его всерьёз»[3].

«История Гитлера — это история его недооценки»[4], — отмечал известный германский историк Файт Валентин, имея в виду историю его прихода к власти. Как подчёркивает один из наиболее авторитетных исследователей нацизма К. Д. Брахер, недооценкой грешили все: и правые, и левые, в самой Германии и за её пределами, что и облегчило Гитлеру путь в рейхсканцелярию, помогло ему стать вершителем судеб Европы[5].

Чудовищные преступления Гитлера и титанические усилия, которые потребовались, чтобы сокрушить его империю, не оставляли места для недооценки. Но ей на смену приходит другая крайность: из карикатурного персонажа Гитлер превращается в воплощение некой сверхчеловеческой сатанинской силы, не подвластной объяснению с позиций здравого смысла, не поддающейся научному анализу. Знаменитый германский историк Ф. Майнекке полагал, что «дело Гитлера следует считать прорывом сатанинского принципа в мировую историю»[6] Другой крупный германский историк Л. Деио видел в Гитлере олицетворение «демонии третьей степени» или «сатанинского гения»[7].

Книга Буллока противостояла тенденции к демонизации фюрера «третьего рейха». Подход к нему британского историка трезв и реалистичен, что позволяет ему разглядеть прагматические мотивы даже самых экстравагантных шагов героя книги.

Для Буллока Гитлер интересен, прежде всего, как политик. Во многом это объясняется и тем, что как личность тот весьма убог. Выдающийся германский публицист С. Хаффнер отмечал удивительную «одномерность» личности Гитлера, поглощённого одной единственной страстью «к политике при совершенно

бессодержательной жизни», «лишённой всего того, что придаёт теплоту и достоинство человеческому бытию — образования, профессии, любви и дружбы, брака и отцовства»[8].

В Гитлере Буллок видел феномен столь же европейский, как и германский. По словам британского учёного, нацистский фюрер был симптомом болезни, которая не ограничивалась одной страной, хотя в Германии она сказывалась сильнее, чем где бы то ни было. Язык Гитлера был немецким, но мысли и эмоции, которые он выражал, имели более универсальное значение. Однако дальше этих общих суждений британский историк не пошёл. Характер взаимосвязи Гитлера с его эпохой в книге Буллока практически не раскрывается.

Благодаря смелому и небезуспешному подходу к решению этой сложнейшей задачи третьим и, пожалуй, самым высоким пиком «гитлерианы» стала фундаментальная биография нацистского диктатора, написанная Иоахимом Фестом, автором, который, подобно К. Хайдену, не был профессиональным историком, и чья профессиональная принадлежность вообще не поддаётся однозначному определению из-за широкого диапазона его интересов и деятельности. Хотя труд И. Феста увидел свет в 1973 году, этот автор привлёк к себе внимание ещё за десять лет до того, когда появилась его первая книга «Лицо третьего рейха. Профиль тоталитарного режима».

Это был своеобразный групповой портрет, где наряду с конкретными историческими персонажами фигурировали социологические и социально-психологические типы (офицерский корпус, немецкая женщина, интеллигенция). Да и сами конкретные личности (Геринг, Геббельс, Гейдрих, Гиммлер, Борман и др.) представали в качестве носителей определённых ролей и функций в тоталитарной системе власти. Естественно, на первом плане — фюрер нацистского рейха. Какую бы силу ни набирал тот или иной из высших иерархов режима, в конечном счёте, воля фюрера всегда оказывалась решающим фактором. «Наци № 2» Герман Геринг едва ли сильно преувеличивал, когда говорил: «Каждый из нас имеет так много власти, как пожелает дать ему фюрер. Только находясь рядом с фюрером и составляя его свиту фактически обладаешь могуществом и держишь в руках эффективные рычаги управления государством»[9].

Лейтмотив первой книги Феста звучит в заключительных строках раздела, посвящённого Гитлеру: «Разумеется, каждая нация сама несёт ответственность за свою историю. Но явление Гитлера, условия его восхождения и его триумфов коренились в предпосылках, далеко выходящих за рамки собственно немецких отношений». И далее автор выдвигает тезис, доказательство

которого он развернёт через десятилетие: «Гитлер был результатом долгого и не ограничивавшегося пределами одной отдельно взятой страны вырождения, итогом немецкого, равно как и европейского развития и всеобщего фиаско. Конечно, это суждение не преуменьшает ответственности немецкого народа, однако делит её на всех»[10].

«Правдивость изображения, его тон в высшей степени импонируют мне. Оно ничего не маскирует и ничего не утрирует», — так выразил своё отношение к книге Феста знаменитый философ Карл Ясперс. Его не менее знаменитая ученица, автор классического труда «Происхождение тоталитаризма» Ханна Арендт тоже оценила произведение Феста исключительно высоко. Она справедливо увидела в нём оригинальный и перспективный подход к интерпретации всего нацистского этапа германской истории: «Эта книга совершенно необходима для подлинного понимания этого периода». Труд Феста был переведён на английский, французский, испанский и польский языки.

Скорее всего, он вызвал бы гораздо больший резонанс, если бы в том же самом 1963 году не появилась книга другого германского автора — Эрнста Нольте — «Фашизм в его эпоху», имевшая поистине эпохальное значение с точки зрения эволюции мировой историографии фашизма. Об этом свидетельствовали и 75 рецензий в периодических изданиях многих стран, и переводы на множество языков, естественно, за исключением русского. Своими последующими трудами, среди которых следует особо выделить «Кризис либеральной системы и фашистские движения» (1966 год), Нольте закрепил за собой ведущую роль в исследовании фашизма. Его работы всегда содержат мощный методологический заряд, отличаются оригинальной постановкой исследовательских проблем, вызывают острые дискуссии.

Исходящие от них концептуальные импульсы обогатили и творчество И. Феста. В его биографии Гитлера нетрудно уловить влияние разработанной Нольте типологической схемы фашизма и нольтевской трактовки кризиса европейской либеральной системы как предпосылки генезиса фашизма.

Именно Нольте вернул в научный обиход почти вышедшее на Западе из употребления общее понятие «фашизм». Он рискнул покуситься на устоявшуюся версию теории тоталитаризма, практически отождествлявшую его коричневую и красную разновидности. Во многом благодаря усилиям Нольте в историографии Запада происходит «ренессанс» понятия «фашизм».

В историческую науку Нольте пришёл, получив философское

образование во Фрайбурге, где среди его учителей был и М. Хайдеггер. Не удивительно, что свежеиспечённый историк предложил феноменологический подход к фашизму, в соответствии с которым тот рассматривался как феномен sui generis, то есть явление, имеющее свою собственную природу. Само название книги «Фашизм в его эпоху» даёт понять, что «не тоталитаризм как таковой является главным предметом, исследования»[11].

Это отнюдь не означало отказа от теории тоталитаризма, о чём свидетельствует введённое германским учёным определение исследуемого феномена: «Фашизм — это антимарксизм, который стремится уничтожить противника благодаря созданию радикально противостоящей и, тем не менее, соседствующей идеологии и применению идентичных, хотя и модифицированных методов»[12].

Вычленение фашизма из тоталитарной связки открыло возможности для сравнительного анализа его вариантов и, в конечном счёте, для его типологии. В своей монографии Нольте строит своеобразную типологическую шкалу или лестницу из четырех ступеней: низшая — авторитаризм, верхняя — тоталитаризм, и две промежуточных. Нижняя ступень или, как говорит Нольте, низший полюс, это ещё не фашизм. Верхнего же, тоталитарного полюса достигают только радикальные формы фашизма. Между двумя полюсами располагаются «ранний» и «нормальный» фашизм. Все это конкретизируется следующим образом: «Между полюсами авторитаризма и тоталитаризма протягивается дуга от режима Пилсудского через политический тоталитаризм фалангистской Испании до всеобъемлющего в тенденции тоталитаризма Муссолини и Гитлера»[13]. Однако ступени радикального фашизма в полной мере достиг только германский национал-социализм, тогда как итальянский фашизм застрял на средней или «нормальной» фашистской позиции.

Несмотря на крайности своей теории и практики нацистская партия «не удаляется от обычного фашизма, а лишь обнажает его сокровенные тенденции»[14]. Черты нацизма являются модификацией и заострением признаков, которые обнаруживались, например, уже у «Аксьон франсэз»[15] и итальянского фашизма. Судить о фашизме в целом можно только с учётом нацистского опыта: «после того, как национал-социализму удалось добиться господства, в нём самым наглядным образом олицетворялись и радикализировались почти все существенные черты фашизма, и все оценки должны в первую очередь соотноситься с ним»[16].

Почвой же для возникновения фашизма явилась либеральная

система или, иными словами, европейское буржуазное общество, сформировавшееся после 1815 года, интегрировавшее в себя либеральные и консервативные элементы. Его характерные черты: плюрализм, парламентаризм, склонность к компромиссам. Но ему недоставало иммунитета по отношению к разного рода радикализму. Фашизм возникает вследствие кризиса либеральной системы, но «без вызова большевизма нет никакого фашизма»[17]. Первоначально фашизм как будто бы берет либеральное общество под защиту от большевистской угрозы, используя при этом «методы я силы, чуждые буржуазному мышлению и жизненным традициям»[18].

Небезынтересно отметить, что пришедшему в историю из философии Нольте удалось разработать новую концепцию фашизма, а другому аутсайдеру, Фесту, взглянуть на фигуру Гитлера с широтой и раскованностью, явно не свойственными традиционным историкам-профессионалам. Вместе с тем работы того и другого органично вписывались в германскую и международную историографию фашизма, поскольку их концептуальное содержание основывалось на тщательном и глубоком освоении уже накопленного исследовательского и источникового материала. Были введены в оборот и некоторые новые материалы, но главное для Феста — «новые постановки вопросов, а не источники»[19].

Иоахим Фест родился в 1926 году и успел ещё принять участие в заключительной фазе войны, испытать плен. Учился он во Фрайбурге, Франкфурте-на-Майне, Берлине. Круг его интересов отличался исключительной широтой, он изучал историю, право, социологию, историю искусств, германистику. Отсюда во многом диапазон исследовательского подхода, собственно исторический анализ, обогащённый социально-психологическим, культурологическим, элементами психоанализа и, что самое главное, в органичной взаимосвязи. В итоге из разных красок возникает цельное изображение.

После недолгого пребывания свободным литератором Фест прочно обосновывается в системе масс-медиа. Он прошёл через радио, телевидение и с 1973 года, того самого, когда увидела свет его главная книга, он стал редактором одной из авторитетнейших германских газет «Франкфуртер альгемайне цайтунг».

Фест удостоился множества премий за разнообразную деятельность в сферах науки и культуры, в том числе имени Томаса Манна (ему принадлежит книга об отношении братьев Манн к политике), памятной гетевской медали и т. п. В 1981 году Штутгартский университет присвоил ему степень почётного

доктора за исторические труды.

Труд Феста, принёсший ему международную известность, явился элементом мощной «гитлеровской волны», нахлынувшей на Запад в середине семидесятых, но он не затерялся в ней, более того, множество заурядных поделок создали для него выигрышный фон. По подсчётам германских экспертов того времени только 100 книг из 40000 становились бестселлерами. И в эту сотню попала книга Феста о Гитлере. К началу 1974 года в ФРГ было продано полмиллиона экземпляров, во Франции — 200 тысяч. Книга была успешно реализована на книжных рынках Европы и США[20]; причём нужно учитывать внушительный объём (около 1200 с.) и солидную стоимость (38 марок). С тех пор было ещё немало её изданий в самых разных странах, на 15 языках.

Книга, вышедшая из-под пера аутсайдера, нашла благожелательный приём у весьма авторитетных профессионалов. Маститый историк широчайшего творческого диапазона Т. Шидер ставит Фесту в заслугу развитие и использование таких категорий, которые «позволяют понять личность Гитлера как исторический предмет и, что столь же важно, установить корреляцию между ним и его эпохой»[21]. Подобный, «историзирующий» подход ни в коей мере не является попыткой реабилитации Гитлера, более того, он ставит главу «третьего рейха» не только перед судом морали, но и перед судом всемирной истории, приговор которого не довольствуется нравственным негодованием, а основывается на суровых фактах выходящей за все моральные границы жизни нацистского фюрера.

Труд Феста, по словам Т. Шидера, служит укором цеху профессиональных историков, не сумевших создать нечто сравнимое с произведением аутсайдера. Правда, успех Феста был бы немыслим без учёта результатов исследований Э. Нольте, К. Д. Брахера, Г. А. Якобсена, а также М. Брошата, А. Хильгрубера и ряда других известных специалистов, а кроме того свидетельств таких публицистов как Конрад Хайден «с его почти пророческими книгами 30-х годов или Герман Раушнинг с его „Разговорами с Гитлером“[22]. Историк может высказать определённые сомнения, но он должен признать, что в данном случае написана «большая история», — так завершает свою рецензию Т. Шидер.

Столь же высокую оценку труду Феста дал и К. Д. Брахер, подчеркнув, что написанная Фестом биография Гитлера «значительно превосходит все предшествующие и по объёму, и по широте трактовки». Автор, по его мнению, избрал единственно адекватный методологический путь к решению сложнейшей задачи: полный синтез биографического и всемирно-исторического[23]. Фест со своей книгой прочно вошёл в

германскую историческую науку, тема его аутсайдерства была снята.

Конечно, произведение Феста навлекло на себя и серьёзную критику, причём не только со стороны марксистской историографии. Следует отметить, что достаточно жёстко критиковавшие Феста историки ГДР и СССР не могли не признать масштабности его книги, её литературных достоинств, мастерства психологического анализа, присущего автору.

Наиболее обстоятельный критический разбор книги был проделан известным германским историком из ФРГ Г. Грамлем. Интересно, что при всём различии методологических предпосылок и тональности замечания Грамля во многом совпадают с теми, что исходили с марксистской стороны. В частности, он считает, что в книге Феста не отражено «насколько велика степень участия определённых экономических кругов и таких консервативных групп, как армия и церковь, в провале Веймарской республики и тем самым, по меньшей мере косвенно, в подъёме национал-социализма»[24].

Подобная критика отнюдь не беспочвенна: именно по этой проблематике противостояние между марксистами и их противниками было особенно непримиримым. Односторонность одних вызывала соответствующую реакцию у других. Сакраментальный вопрос о роли монополий был «священной коровой» для марксистов-ленинцев и красной тряпкой для их оппонентов.

Упрёки Фесту в недостаточном внимании к социально-экономической проблематике тоже имеют под собой основания. Но если бы дело обстояло иначе, не появилась бы самобытная работа, а Фест просто не был бы Фестом.

До сих пор, несмотря на обилие произведений биографического жанра, при том, что многие факты жизни и деятельности тоталитарных диктаторов довольно широко известны, остаётся немало белых пятен, фактических и психологических загадок, требующих решения. Поэтому любая биография, скажем, Гитлера или Сталина оставляет у читателя чувство неудовлетворённости, ощущение недосказанности, незавершённости. Отсюда ожидание какого-то нового неизвестного факта, который наконец все разъяснит, позволит расставить все на свои места. Неудивительно, что всякий вновь открываемый факт обретает сенсационный характер. Спрос порождает предложение: потому так часто подобного рода документальные факты оказываются изделиями любителей поживиться на фальшивках. К этому примешиваются порой и нечистоплотные политические расчёты.

Объективные предпосылки такого состояния дел объясняются серией реальных причин. Тоталитарная диктатура немыслима без культа вождя. Пьедесталом культа всегда служат мифы и легенды. Тем более что подлинное прошлое диктаторов, часто бесцветное или преступное, не годится для закладки фундамента культа.

Вожди должны соответствовать мессианским ожиданиям масс, необходимо некое таинство явления. Поэтому новоявленному мессии лучше всего возникнуть из туманности, сверкнув подобно комете. Не случайно так тщательно оберегались от постороннего глаза или просто ликвидировались источники, связанные с происхождением диктаторов, со всем периодом их жизни до «явления народу», физически уничтожались люди, которые слишком многое знали. Особенно рьяно такую стратегию «выжженной земли» вокруг себя проводил Гитлер. Это создаёт благодатную почву для всякого рода домыслов и измышлений. Ситуация усугубляется тем, что в условиях тоталитарных режимов и процесс принятия решений, и личная жизнь диктаторов окутаны ещё более плотной пеленой секретности.

Так возникает соблазн для двух типов интерпретации, в принципе родственных, несмотря на внешнюю противоположность. Первый из них крайне упрощённый, на основе элементарной рационализации мотивов во многом аномальной личности; второй — перенесение поисков в область подсознательного или даже оккультного.

Автору этой биографии Гитлера удалось счастливо избежать и той, и другой крайности. Его книга уникальна по глубине проникновения в мотивацию поведения и деятельности Гитлера, представлявших собой причудливую смесь самого беспринципного оппортунизма и безоглядной решимости, именно это и должно привлечь многих читателей, которых едва ли удовлетворит простая сводка фактов.

Это не значит, что Фест не дорожит фактами. Фактологическая основа его монографии поистине фундаментальна, но главное для него все же не описание, а понимание. Стремление добиться целостного изображения исследуемого персонажа обусловило структуру книги. Её концептуальный каркас образуют авторские размышления, вписывающие биографию индивида в контекст эпохи и всемирной истории вообще. Прочность и даже известное изящество конструкции достигаются ажурной вязью авторских суждений, тонких замечаний, сравнений, пронизывающих объёмистый труд буквально насквозь и органично, без каких-либо потуг,

поддерживающих его высокий концептуальный уровень.

Хотя в центре монографии Феста — личность Гитлера, его внутренний мир, мотивация поведения и поступков, отправным пунктом исследования является эпоха. Именно от эпохи к личности, таков путь исследователя, отмечающего, что «по своим индивидуальным параметрам Гитлер действительно лишь с трудом может привлечь к себе наш интерес — его личность на протяжении всех этих лет остаётся удивительно бледной и невыразительной».

Можно сказать, что масштаб личности нацистского фюрера зависит не столько от внутреннего, сколько от внешнего наполнения. Он представлял собой своего рода оболочку, которую подобно воздушному шару наполняли испарения духа времени. «Только в контакте с эпохой, — подчёркивает Фест, говоря о личности Гитлера, — она обретает свою напряжённость и притягательность». «Жизнь Гитлера не стоило бы ни описывать, ни интерпретировать, если бы в ней не проявились надличностные тенденции и взаимоотношения, если бы его биография не была на всём своём протяжении одновременно и сколком биографии эпохи».

Исторической фигурой Гитлер стал, оказавшись средоточием чаяний, опасений и обид широких массовых слоёв, «благодаря уникальному совпадению индивидуальных и всеобщих предпосылок, благодаря с трудом поддающейся расшифровке связи, в которую вступил этот человек со временем и время с этим человеком». В сущности, книга Феста и является довольно удачной попыткой её расшифровать. Как раз такая связь и взаимозависимость, по мысли Феста, «лишает почвы любого рода утверждения по поводу каких-то сверхъестественных способностей Гитлера. Не демонические, а типичные, так сказать, „нормальные“ черты и облегчили главным образом ему путь».

Фест отвергает концепции, трактующие Гитлера с точки зрения принципиального противопоставления его личности эпохе: «Он был не столько великим противоречием своего времени, сколько его отражением — то и дело сталкиваешься тут со следами некой скрытой тождественности». В нём, как пишет Фест, «сфокусировалась мощнейшая тенденция времени, под знаком которой стояла вся первая половина века».

Действительно, Гитлер явился порождением эпохи, которая оказалась антрактом между двумя мировыми войнами и была неразрывно связана с ними. За исключением короткой передышки в 1924-1929 гг. мир содрогался в конвульсиях политических, социальных, экономических потрясений и глобальных войн. «Век мировых войн и революций», «эра тоталитаризма», «время

диктаторов», «эпоха европейской гражданской войны» — таков весьма неполный перечень определений эпохи, охватывавшей почти всю первую половину нашего столетия. В каждом из них схвачена какая-то существенная её черта, но ни одно не может в полной мере отобразить её многообразие. «Закат Европы», «восстание масс», «бегство от свободы» — эти формулы ярко и ёмко отражали апокалипсические настроения и объективные тенденции времени. Не случайно понятие «кризис» в те годы было едва ли не самым популярным в вокабулярии политиков, идеологов, публицистов и сочеталось с множеством прилагательных и существительных.

Тяжёлой мрачной тенью лёг на межвоенное время суровый опыт первой мировой войны. «Уникальным новшеством, привнесённым войной во всю Европу, — пишет видный исследователь фашизма, американский историк Дж. Моссе, — стало ужесточение жизни»[25]. Эту тенденцию подхватили и усугубили радикальные движения правого и левого толка. «Великий страх» был порождён приходом к власти большевиков.

В атмосфере всеобщего ожесточения, экстремизации социально-политической и духовной жизни на авансцену выходят вожди нового типа. Перед их агрессивным напором, пренебрежением к общепринятым нормам, возведённой в принцип аморальностью часто пасуют представители традиционной элиты, потерявшие привычные ориентиры. Они оказались зажаты между коммунистическим дьяволом и фашистским Вельзевулом. В фашизме многие из них склонны были видеть меньшее зло, что в значительной степени объясняет успехи Гитлера, Муссолини и некоторых фюреров меньшего калибра.

Растерянность одних, агрессивный динамизм других создавали непредсказуемую, не поддающуюся контролю ситуацию в мире. Склонный к экстравагантным суждениям известный британский историк А. Дж. П. Тейлор писал однажды, что «период между войнами был как будто специально создан для правления сумасшедших». Он приводил далее запоздалое покаянное высказывание Муссолини: «Гитлер и я поддались иллюзиям подобно паре лунатиков»[26]. Конечно, речь идёт не столько о ненормальности в обыденном смысле, сколько об отклонении от традиционных норм политической жизни. Но именно это обеспечивало нередко такие преимущества Гитлеру, Муссолини и Сталину, что многим современникам казалось: наступил «век диктаторов».

Ещё теснее генетическая связь между феноменом Гитлера и психологическим состоянием германского общества. Сама по себе

тяжелейшая травма поражения 1918 года вскрыла глубинные и застарелые его болезни. Трудно переоценить катастрофические последствия инфляционного кризиса 1923 года, когда один американский доллар был эквивалентен 40 миллиардам марок, а кружка пива, за которую в 1913 году платили 13 пфеннигов, стоила 150 миллионов марок. И не успела Германия кое-как оправиться от этого стресса, как последовал грандиозный кризис 1929-1933 годов Не будь его, возможно, нацизм и его фюрер так и остались бы «всего лишь воспоминанием времён инфляции»[27], как надеялся в своё время автор одной из первых книг о Гитлере либеральный политик и учёный Т. Хейс, ставший затем первым президентом ФРГ.

Для страны, привыкшей к упорядоченному существованию, послевоенные потрясения были особенно мучительны, она стала колоссальным резервуаром недовольства и страхов. «Гитлер, — отмечает Фест, — придаёт этим чувствам недовольства как среди гражданского населения, так и среди военных, единение, руководство и направляющую силу». «Его явление, — по словам Феста, — и впрямь кажется синтезированным продуктом всех этих страхов, пессимистических настроений, чувств расставания и защитных реакций, и для него война была мощным избавителем и учителем, и если есть некий „фашистский тип“, то именно в нём он и нашёл своё олицетворение».

В этом и видит автор разгадку превращения безликого аутсайдера в вершителя судеб Европы. Бессмысленно искать какие-то особые события, которые были бы непосредственной причиной подобной метаморфозы, не было, по мнению Феста, и какого-то особого инкубационного периода, когда бы вызревал такой сдвиг, и тем более нелепо говорить о вмешательстве бесовских сил. Было бы вернее сказать, «что и сегодня он остаётся все тем же вчерашним, но дело в том, что теперь он нашёл отрезок коллективной сопряжённости, который упорядочил все неизменно присутствовавшие элементы в новую формулу личности и сделал из чудака искусителя-демагога, а из „чокнутого“ — „гения“. По Фесту, механизм его взлёта таков: „Как он явился катализатором масс, который не добавлял ничего нового, привёл в движение могучие ускорения и кризисные процессы, так и массы катализировали его, они были его созданием, а он — одновременно — их творением“.

В этом, полагает Фест, и кроется объяснение той своеобразной «застылости», важной специфической черты личности фюрера: «Ведь действительно, картина мира у Гитлера, как он сам не раз будет повторять, не изменилась с венских дней, ибо её элементы остались теми же, только будящий зов масс

зарядил их мощным напряжением». Правда, мировоззренческая, духовная «застылость» сочеталась у него с исключительной тактической гибкостью, даже изворотливостью.

Истолкование Феста на самом деле помогает многое понять, хотя он склонен переоценивать степень «застылости» Гитлера. Кроме того, «зова масс» было бы явно недостаточно для пробуждения пребывавшего в состоянии летаргии потенциального мессии.

Своим восхождением ефрейтор Гитлер весьма обязан начальству. На старт политической карьеры его, можно сказать, привели за руку. Военно-политическим и финансово-промышленным кругам, не желавшим примириться с демократической Веймарской республикой, требовались «сильные личности» и «национальные барабанщики». Позорно провалившийся Капповский путч (март 1920 года) показал, что без массовой опоры рассчитывать на успех нельзя. Недаром крупнейший финансово-промышленный магнат того времени Г. Стиннес говорил, что необходимо найти диктатора, человека, который должен говорить на языке народа. Правда, на взгляд Стиннеса, было бы все же лучше, чтобы диктатор принадлежал к буржуазии. Для ведущего праворадикального идеолога А. Мёллера ван ден Брука, автора книги с многозначительным названием «Третий рейх», такой проблемы не существовало: «Нам нужен прежде всего народный вождь; принадлежит ли он к демократическому или аристократическому типу, типу Мария или Суллы[28] — это вопрос второстепенный»[29].

Путь к массам искала и баварская военщина. Большое внимание уделялось специальной подготовке пропагандистских кадров. Была раскинута обширная сеть, предназначенная для отлова сколько-нибудь способных кандидатов в «народные трибуны». В неё не мог не попасть ефрейтор Адольф Гитлер. О том, какое значение придавалось пестованию «народных трибунов», свидетельствует послание капитана Майра (начальника курсов, где проходил обучение будущий фюрер) нашедшему убежище в Швеции В. Каппу. Капитан явно горд тем, что ему удалось «поставить на ноги несколько дельных молодых людей». Один из них, «герр Гитлер… становится движущей силой, народным оратором первого ранга»[30].

Сам Гитлер отнюдь не сразу ощутил себя «фюрером». Ещё во время встречи с А. Мёллером ван ден Бруком в 1922 году Гитлер смотрел в рот своему велеречивому собеседнику и сказал ему: «У вас есть все, что отсутствует у меня. Вы разрабатываете духовное оружие для Германии. Я же не более, чем барабанщик и собиратель, давайте работать вместе»[31]. Можно согласиться с

германским историком А. Тиреллом, что только после мюнхенского путча и последовавшего за ним судебного процесса Гитлер начинает ощущать себя уже не просто «национальным барабанщиком», а фюрером[32].

В эту новую роль он вошёл довольно быстро и стал не только фигурой, интегрирующей разнообразные эмоции, страхи или интересы; «в ещё большей степени он и сам придавал событиям их направление, масштабы и радикальность». По сравнению с прочими родственными системами национал-социализм, как подчёркивает Фест, стал «самой радикальной и безоговорочной формой проявления фашизма». И именно «эта принципиальная заострённость, выявившаяся как на интеллектуальном уровне, так и на уровне исполнительной власти, была собственно гитлеровским вкладом в суть национал-социализма. Он был истинным немцем в своём пристрастии к тому, чтобы резко противопоставить какую-либо идею действительности и признать за этой идеей большую власть, чем за действительностью». Его дерзкое бесстрашие перед лицом действительности, по словам Феста, «не было лишено признаков маниакальности». «Только в крайнем радикализме, — пишет Фест, — он казался тем, кем он был. В этом смысле национал-социализм без него не мыслим». «Нет ни малейшего сомнения в том, — говорил Фест в докладе „Война Гитлера“ на международном симпозиуме (1989 г.), — что все крайние намерения режима восходят к Гитлеру». Даже документальные пробелы не дают оснований думать иначе. В связи с попытками снять с Гитлера ответственность за «окончательное решение» еврейского вопроса заслуживает внимания суждение Феста о том, что хотя не всегда можно найти формальный приказ Гитлера, особенно насчёт акций по массовому уничтожению, это не меняет сути дела[33].

Вполне можно согласиться с Фестом, что радикальность Гитлера придаёт особую радикальность национал-социализму в целом. Но проблема радикальности нацизма заслуживает рассмотрения в более широком контексте. Степень радикальности того или иного варианта фашизма зависит от соотношения в нём экстремизма низов и верхов, поскольку, на наш взгляд, сам фашизм представляет собою сплав экстремизма того и другого типа. Это ключевая типологическая особенность фашистского тоталитаризма по сравнению с коммунистическим, в котором однозначно доминирует экстремизм низов, а прежние господствующие классы незамедлительно устраняются.

Внутри же фашистского ряда ситуация сложнее. Например, во франкистской Испании традиционная элита оказалась намного сильнее фашистской партии — фаланги. Сам Франко был ближе к

традиционному типу военного диктатора, чем к тоталитарному вождю. Там тоталитарный режим фактически не сформировался, дальше авторитаризма с фашистскими чертами дело не пошло, что облегчило эволюционный переход к парламентской демократии. В Италии сложилось неустойчивое равновесие между старой и фашистской элитами, Муссолини колебался между ролями Цезаря и тоталитарного диктатора.

И только в Германии фашистский тоталитаризм достиг радикальной стадии благодаря как своему фюреру, так и массовому базису, служившему Гитлеру своего рода аккумулятором экстремистской энергии и вместе с тем получавшему от него ещё более сильный ответный импульс. Кроме того, что следует подчеркнуть в особенности, и германские верхи несли в себе более сильный экстремистский заряд, чем их итальянские или испанские собратья. В связи с сожалениями Феста по поводу слепоты германской консервативной элиты, вымостившей Гитлеру путь к власти, необходимо заметить, что подобная политическая слепота была не столько причиной, сколько следствием экстремизма верхов, обусловленного как исторически, так и ситуационно: вспышкой «великого страха» и другими последствиями первой мировой войны.

Что касается проблем социально-политической характеристики Гитлера, его исторической роли, Фест скептически относится к возможности их решения в рамках традиционного понятийного аппарата. Явление Гитлера, считает его биограф, «можно понимать и как попытку утверждения своего рода третьей позиции — между обеими господствующими силами эпохи, между левыми и правыми, между Востоком и Западом. Это и придало его выступлению тот двуликий характер, который не охватывается однозначными дефинициями, нацепляющими на него этикетки типа „консервативный“, „капиталистический“ или „мелкобуржуазный“. Находясь между всеми позициями, он в то же время участвовал в них во всех и узурпировал их существенные элементы, сведя их, однако, к собственному, неподражаемому феномену». Кстати, и Муссолини в день основания фашистского движения (23 марта 1919 года) писал в своей газете «Попало д'Италиа», что фашизм «позволяет себе роскошь быть одновременно аристократичным и демократичным, консервативным и прогрессивным»[34].

Действительно, всеядность фашизма затрудняет его однозначную оценку. Дело усугубляется двойственным отношением фашизма к революции. С одной стороны, те же нацисты боролись против «ноябрьского позора» 1918 года у себя в стране, против всемирной большевистской революции, а с другой

— их коронным лозунгом была национал-социалистическая революция. Смутные видения Гитлера устремлялись к прошлому, причём весьма отдалённому, мифологическому. Средства же их реализации — суперсовременные, по последнему слову индустриального века. «Поразительным образом, — пишет Фест, — этот обращённый в прошлое, совершенно очевидно сформированный девятнадцатым веком человек вывел Германию, равно как и немалую часть заражённого его динамизмом мира, в XX столетие: место Гитлера в истории куда ближе к великим революционерам, нежели к тем консерваторам, кто, обладая силой, использовал её на то, чтобы остановить поступательный ход». Безусловно, «свои решающие стимулы Гитлер черпал из стремления воспрепятствовать приходу новых времён и путём великой всемирно-исторической поправки вернуться к исходной точке всех ложных дорог и заблуждений: он — как это он сам сформулировал — выступил революционером против революции». В конце концов «он довёл оборону мира, о защите которого говорил, до разрушения этого мира». Ведь «та мобилизация сил и воли к действию, которой потребовала его операция по спасению, чрезвычайно ускорила процесс эмансипации», а перенапряжение сил и последующий крах привели к успеху «те демократические идеологии, которым он противопоставил такую отчаянную энергию. Ненавидя революцию, он стал на деле немецким феноменом революции».

Все же Фест склонен преувеличивать революционизирующий, модернизаторский эффект деятельности Гитлера. Когда говорят, что благодаря Гитлеру были разрушены устаревшие социальные структуры, ещё остававшиеся классовые и социальные перегородки, то это в большей мере побочный результат тоталитарного господства, расовой гегемонии и неограниченной экспансии. Гитлер выступал как грандиозная разрушительная сила. Вспоминается старая, но не устаревшая формула Г. Раушнинга — «революция нигилизма». Нацистская эра, как справедливо замечает Т. Шидер, «в значительной степени способствовала разрушению моральной и политической субстанции буржуазии, но при этом скорее можно говорить о вкладе в процесс разложения, чем в процесс эмансипации»[35]. Да и усиление прогрессивно-демократической тенденции в мире — главным образом результат разгрома Гитлера и его империи, достигнутого столь дорогой ценой.

Гитлер называл себя «самым консервативным революционером в мире»[36]. Такую терминологию пустили в обиход консерваторы-экстремисты, непримиримые противники Веймарской республики, либеральной демократии вообще.

Смысл, вкладываемый ими в парадоксальный термин «консервативная революция», заключался в том, что необходимо сначала разрушить существующую «систему», то есть Веймарскую республику, а затем на её месте возвести некую «органическую конструкцию», порядок, который заслуживал бы сохранения. Таким образом, в этом понятии доминировала деструктивная сторона, прилагательное «консервативная» служило всего лишь вольной или невольной маскировкой.

Если Фест находит в Гитлере сочетание революционных и контрреволюционных элементов, модернизма и архаики, то автор одного из наиболее интересных после фестовских исследований о Гитлере Р. Цительман подаёт нацистского фюрера как сознательного поборника модернизации, убеждённого социал-революционера, лишь по необходимости терпевшего традиционную элиту. Недаром в конце жизни он был уверен, что его революция провалилась из-за отсутствия новой революционной элиты, он горько сожалел, что не действовал против правых с такой же беспощадной жестокостью как против большевиков. Не следует упускать из виду, подчёркивает Р. Цительман, восхищение Гитлера советской системой. В коммунистах ему импонировало то, что они фанатичны в отличие от трусливой и слабой буржуазии[37]. Вместо капиталистической экономики, утверждает германский историк, Гитлер хотел ввести смешанную, новый синтез: с одной стороны, он за конкуренцию, воплощавшую его излюбленную социал-дарвинистскую идею, а с другой — критика рыночной экономики за эгоизм и автоматизм. Что же касается предпринимателя, то ему предназначалась роль всего лишь уполномоченного государства[38]. Нельзя не заметить, что такой решительно революционаристский дух пробуждается у Гитлера в канун гибели режима, когда уже нечего терять. Нечто аналогичное наблюдается и у Муссолини, нашедшего последнее прибежище под защитой немецких штыков в так называемой социальной республике Сало. Это, в сущности, плебейская мстительная реакция на реальное или мнимое предательство со стороны старой элиты.

Фест указывает на психологический барьер, с которым сталкиваются и те, кто пишет, и те, кто читает о Гитлере: «в конечном же счёте внутреннее нежелание назвать его революционером целиком связано, наверное, с тем, что идея революции представляется сознанию в тесном единстве с идеей прогресса». «Но господство Гитлера, — продолжает автор, — не оставило незатронутой и терминологию, и одним из последствий этого не в последнюю очередь является и то, что понятие революции лишилось тут той моральной амбиции, на которую

оно долго претендовало». С тех пор ещё больший моральный урон нанесло этому понятию крушение режима, заложенного в октябре 1917 г. Конечно, для историков немаловажно, какими намерениями руководствовались те или иные радикальные движения и их лидеры, но для суда истории весомее результаты их политической практики.

В книге Феста с подлинным интеллектуальным блеском раскрывается глубинная взаимосвязь порождённого особенностями германской истории «феномена аполитичности» с генезисом нацизма, духовным миром и деятельностью его фюрера.

Исторические корни этого явления уходят в весьма отдалённое прошлое. Но главное заключается в том, что Германия не испытала удавшейся буржуазной революции, в отличие, скажем, от Нидерландов, Англии, Франции. Компенсацией за это стал интеллектуальный радикализм, возвышавший дух до полного разрыва с земной реальностью. «Процесс отчуждения от действительности, — пишет Фест, — ещё усилился вследствие многочисленных разочарований, пережитых бюргерским Сознанием в XIX веке, в ходе его попыток достичь политической свободы, и следы этого процесса заметны на всех уровнях: в фиктивной политической мысли, в мифологизирующих идеологиях от Винкельмана[39] до Вагнера… Или же странно оторванном от реальности немецком представлении об образовании, решительно избравшем для себя призрачную стихию искусства и всего возвышенного. Политика лежала в стороне от этого пути, она не была частью национальной культуры». В тоже самое время «аффект аполитичности охотно рядился в одежды защитника морали от власти, человечного от социального, духа от политики… Своей блестящей кульминации, полной сложных признаний, этот аффект достигает в изданном в 1918 году произведении Томаса Манна „Размышления аполитичного“[40]. Они были задуманы как защита гордого своей культурой немецкого бюргерства от просветительского, западного «террора политики и содержали уже в самом названии указание на романтическую цель, сознательно игнорирующую действительность, на традиционный поиск аполитичной политики».

Неприятие политики для немецких интеллектуалов было элементом более широкой антитезы: культура — цивилизация. В вульгаризированной форме вся эта многообразная духовная проблематика вошла в идеологический багаж «фелькише», этих германских «почвенников», придавших ей крайне националистический, антисемитский и в конечном счёте

расистский характер.

Эстетически-интеллектуальное неприятие политики, отмечает Фест, породило мысль о спасении искусством, и она достигла своего высочайшего развития у Рихарда Вагнера, особенно в его рассуждениях об обновлённом театре, изложенных в «Грёзах культуры о „конце политики“ и начале человечности»: «Политика, — требовал он, — должна стать грандиозным зрелищем, государство — произведением искусства, а человек искусства должен занять место государственного деятеля». Между тем именно Вагнер был фактически единственным, чьё влияние на себя признавал Гитлер.

Кроме Вагнера были ещё властители душ конца XIX столетия, например П. Лагард или Ю. Лангбен, провозгласивший целью устранить политику и традиционных государственных мужей; право на господство в грядущем веке должно быть предоставлено благословенному свыше деятелю, «великому герою искусства», личности «цезаристско-артистического склада».

Конечно, не следует упрощать характер взаимосвязи этих изощрённых идей с образом мыслей венского недоросля. Он усваивал какие-то их фрагменты не из первоисточников, а как бы впитывая непосредственно из духовной атмосферы, преобразуя в соответствии с собственным интеллектуальным уровнем.

«То, что творилось вокруг него, — пишет Фест, — он воспринимал не столько умом, сколько своим настроением, а вследствие чрезвычайно субъективной окраски своего интереса к общественным делам, он принадлежал не столько политическому, сколько политизированному миру» (Разр. моя — П. Р.).

«Многое говорит за то, — читаем далее у Феста, — что политика долгое время была для него в первую очередь средством самооправдания, возможностью переложить вину с себя на мир, объяснить провалы в собственной судьбе несовершенством существующего строя и, наконец, просто найти козла отпущения и весьма характерно, что единственной организацией, в которую он вступил был союз антисемитов».

Как раз «аполитичный» подход к политике открывал великолепную возможность для политизации своих комплексов и эмоциональных состояний. В этом Фест видит и ключ к пониманию истоков гитлеровского антисемитизма: «Но если сегодня уже невозможно однозначно назвать мотив, который бы объяснил все подавляющую природу антиеврейского комплекса молодого Гитлера, все же, в общем и целом можно исходить из того, что речь тут идёт о политизации личной проблематики столь же честолюбивого, сколь и отчаявшегося аутсайдера»,

«вполне резонно полагать, что его антисемитизм является сфокусированной формой ненависти, бушевавшей до того впотьмах и нашедшей, наконец, свой объект в еврее».

Трактовка Феста, на наш взгляд, более убедительна по сравнению с «психоисторической» интерпретацией американского учёного Р. Биниона. В своей книге «Гитлер и немцы. Психоистория»[41] он использовал новые источники, в частности пациентские книжки матери Гитлера, лечившейся от рака у врача-еврея Э. Блоха, а также свидетельства другого врача — Э. Форстера из военного госпиталя в Пазевальке, где ефрейтор Гитлер проходил курс лечения после отравления газами.

Связывая оба эти источника воедино, американский психоисторик пытается ответить на вопрос о том, что же всё-таки вовлекло в политический водоворот такого отчуждённого и аполитичного субъекта, как Гитлер, и откуда у него столь фанатичный, зоологический антисемитизм? Выстраивается длинный ряд умозаключений, венчает который своего рода «комплекс Блоха». В подсознании Гитлера смерть любимой матери будто бы увязывалась с неудачным лечением врача-еврея. Из запасников подсознания эта мысль всплывает во время галлюцинаций, мучивших Гитлера в Пазевальке. Теперь его личная травма сливается с общенациональной — поражением 1918 г. Если виновником первой был один конкретный еврей, то вина за вторую в воспалённом мозгу Гитлера возлагалась на евреев вообще.

Правда, выводы Биниона нашли у его коллег довольно скептический приём. Во-первых, весьма сомнительна версия насчёт доктора Блоха. Если бы Гитлер считал его практику предосудительной, то вряд ли разрешил бы ему покинуть Германию живым в 1940 г.[42]. Относительно же показаний доктора Форстера другой американский психоисторик Р. Уэйт резонно замечает, что кажется весьма странным, как тот в многолюдье и сутолоке военного госпиталя мог уделять особое внимание какому-то ничтожному ефрейтору[43].

Фест отвергает легенду, созданную самим Гитлером, что будто бы решение стать политиком было принято в лазарете в Пазевальке как реакция «отчаявшегося, зарывшегося лицом в подушку, но не сломленного патриота на „ноябрьское предательство“. По мнению Феста, „выбор судьбы“ связан хронологически с первым публичным собранием Немецкой рабочей партии в октябре 1919 г., где Гитлер, выступив перед 111 слушателями, почувствовал свой ораторский дар. А между тем до того он подумывал о профессии агента по рекламе. Так что в политической деятельности он, по словам Феста, видит для себя

выход из дилеммы прахом пошедших жизненных ожиданий. Следовательно, на политическую стезю его толкнул не столько социальный, сколько сугубо личный мотив, а само политическое пробуждение Гитлера — по сути форма политизации, если понимать под нею перенесение в политическую сферу индивидуальных и социальных аффектов.

У ставшего профессиональным политиком Гитлера обнаруживаются «почти все известные риторические фигуры аполитичного аффекта: ненависть к партиям, к компромиссному характеру „системы“, отсутствию у неё „величия“. Для него политика — „понятие, близкое к понятию судьбы“. Заслуживает внимания и мысль Феста о том, что „в контексте духовной культуры он (Гитлер), несомненно ощущал большую близость к „великому герою искусства“, о котором писал Лангбен, чем, например, к Бисмарку, которым он… восхищался не столько как политиком, сколько как эстетическим феноменом великого человека“. Тем более, что взгляд Бисмарка на политику как искусство возможного, с точки зрения Гитлера был слишком ограниченным. Ведь сам Гитлер в конце концов „поддался соблазну увидеть своего рода закон своей жизни в возможности невозможного“.

Фест усматривает глубокий смысл в определении фашизма как «эстетизации политики», данном известным философом В. Беньямином. На самом деле, достаточно вспомнить эффектные постановки партийных съездов в Нюрнберге и прочие литургические действа, символическое и политическое значение которых великолепно раскрывает Дж. Моссе в своей книге «Национализация масс»[44], появившейся вскоре после фестовской биографии Гитлера. К этому можно добавить роль архитектуры, о чём из первых рук поведал в своих знаменитых мемуарах лейб-архитектор и министр Гитлера Альберт Шпеер.

Сразу же напрашивается объяснение, обусловленное личностной спецификой Гитлера: «его театральная натура невольно всякий раз прорывалась наружу и толкала его на то, чтобы подчинять политические категории соображениям эффектной постановки. В этой амальгаме эстетических и политических элементов ярко прослеживалось происхождение Гитлера из позднебуржуазной богемы и его долгая принадлежность к ней».

Естественно, фашистская эстетизация политики связана с потребностями манипулирования массовым сознанием и массовыми эмоциями. Это свойство присуще тоталитаризму вообще и как своего рода заменитель реального политического участия людей в жизни общества.

Но есть ещё один едва ли не самый важный момент. Самоощущение художника возникало у всевластного диктатора на вершине могущества, когда он чувствовал себя способным по своей прихоти перекраивать границы, переселять или уничтожать целые народы, создавать картину мира по собственным эскизам.

Гитлеру не довелось бы стать диктатором, не обладай он, в отличие от множества прочих политизированных аполитичных «практическим пониманием власти». Хотя его конечной целью были некие фантасмагорические видения, не складывавшиеся в более или менее связную утопию, но пути к их реализации он избирал вполне рациональные, даже изощрённо макиавеллистские. Присущее ему сочетание свойств фанатика и оппортуниста оборачивалось в его практической деятельности опаснейшим симбиозом авантюризма и прагматизма. С одной стороны, он показал себя, особенно в дипломатии, искусным тактиком, умеющим обратить в свою пользу любую предоставляющуюся возможность, использовать малейшую слабость противника. И вместе с тем его всегда влекла щекочущая нервы игра ва-банк. Ни один из его собратьев-диктаторов не позволял себе такой степени риска; и Муссолини, и Сталин предпочли бы синицу журавлю.

Неполитический, в сущности, характер политики Гитлера ярче всего проявляется в его взгляде на соотношение между политикой и войной. «Маниакальная фиксация на войне» вытекает из ключевой идеи гитлеровского мировоззрения о «вечной борьбе». Фест приводит слова Гитлера о том, что война является «конечной целью политики», и когда она началась, принося один триумф за другим, нацистский диктатор сбросил с себя тягостные вериги политика. «Характерно, — замечает Фест, — что с принятием решения о начале войны регулярно, иногда по нескольку раз в одной и той же речи, опять стали выдвигаться чуждые политике альтернативы: „победа или смерть“, „мировая держава или гибель“, он втайне всегда испытывал к ним симпатию». И все последующее развитие событий свидетельствовало, «что отход Гитлера от политики проистекал не из преходящего каприза, ибо по сути он никогда не возвращался в политику. Все попытки его окружения: настойчивые заклинания Геббельса, побуждения Риббентропа или Розенберга, даже высказывавшиеся порой рекомендации таких иностранных политиков, как Муссолини, Хорти и Лаваль, были напрасны». «Политика? Я политикой больше не занимаюсь. Она мне так противна», — ответил Гитлер одному из своих дипломатов, предлагавшему весной 1945 года в последний раз проявить политическую инициативу. Разрыв между видениями и

политикой, который какое-то время маскировался тактическим искусством Гитлера, привёл к крушению «тысячелетнего рейха». В этом одна из главных причин того, что Фест назвал «неспособностью к выживанию». Гитлер настолько тесно связал судьбу своего рейха со своей собственной, что созданная им империя не пережила его гибели.

Книга И. Феста с большим запозданием доходит до российского читателя, ей долго пришлось отлёживаться на полках спецхранов, как и большинству западных работ о фашизме. Тогда был опасен эффект узнавания. При всём своеобразии коричневого и красного тоталитаризма сходство структур и вождей было слишком очевидно. Теперь, двадцать лет спустя, и для многих граждан нашей страны это уже банальная истина, подтверждаемая повседневно органичным красно-коричневым синтезом, представляющим серьёзнейшую опасность для только ещё зарождающейся российской демократии.

В наши дни внимание читателей скорее привлекут поразительные аналогии и параллели между Веймарской Германией и современной Россией. Социально-экономический кризис, вакуум власти, коррупция, коллективное озлобление, политизация, утрата чувства безопасности — вот питательная почва для фашизма. Не нужно забывать, что и сам фашизм был мятежом ради «порядка».

Наш жестокий собственный опыт побуждает по-новому взглянуть на многие из книг и концепций, которые мы раньше подвергали высокомерной критике. И книга Иоахима Феста, без сомнения, относится к разряду тех трудов, знакомство с которыми необходимо для формирования нашего исторического самосознания, политической и духовной культуры, а следовательно, и для выработки иммунитета по отношению к фашистской и всякой тоталитарной инфекции.

«Теперь жизнь Гитлера действительно разгадана», — утверждалось в одной из популярных западногерманских газет в связи с выходом в свет книги И. Феста. Конечно, это преувеличение. Фест достиг многого, до сих пор написанная им биография нацистского фюрера остаётся непревзойдённой, превратившись, можно сказать, в классику. И всё же тема Гитлера остаётся одним из вечных сюжетов мировой историографии и, видимо, обречена оставаться таковой, поскольку все новые и новые её грани раскрываются только в ходе движения истории, в свете постоянно обновляющегося историко-политического и духовного опыта.

П. Ю. Рахшмир

ПРЕДВАРЯЮЩЕЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
ГИТЛЕР И ИСТОРИЧЕСКОЕ ВЕЛИЧИЕ

То, что губит людей и государства, это не слепота, не незнание. Не так уж долго остаются они в неведении относительно того, куда приведёт их начатый путь. Но есть в них поддерживаемый самой их природой, усиливаемый привычкой позыв, которому они не сопротивляются, который тащит их вперёд, пока есть ещё у них остаток сил. Божественен тот, кто сам усмиряет себя. Большинство же видит свою гибель, но погружается в неё.

Леопольд фон Ранке[45]

Эксцессивный характер Гитлера. — Презрение к духу времени. — Совпадение со всеобщей волей. — Сомнения в историческом величии Гитлера — Понятийная проблематика. — Возражения против создания его биографии. — Взаимосвязь индивидуальной и социальной психологии. — Решающая роль Гитлера.

Вся известная нам история не знает такого явления, как он, но следует ли называть его «великим»? Никто не вызывал столько восторга, истерии и благих ожиданий, как он, но никто и не вызывал столько ненависти. Нет другого такого, кто, как он, всего за несколько лет единолично придал бы ходу времени такие ускорения и так изменил бы состояние мира; нет другого такого, кто оставил бы за собой такой след из развалин. Лишь коалиция почти всех государств мира после почти шести лет войны устранила его с лица земли — говоря словами одного офицера немецкого Сопротивления, убила его «как бешеную собаку»[46].

Своеобразное величие Гитлера самым существенным образом связано с его эксцессивным характером — это был чудовищный, крушивший все существующие масштабы выброс энергии.

Конечно, исполинское — это ещё не значит исторически великое, ведь и тривиальное тоже обладает силой. Но в нём было не только исполинское и не только тривиальное. В извержении, вызванном им, проявляется почти в каждой стадии, вплоть до недель краха, его направляющая воля. В своих многочисленных выступлениях он с легко различаемым подтекстом вспоминал о временах своего начала, когда он «ничего не имел за собой, ни имени, ни состояния, ни печати, совсем ничего, вообще ничего», и о том, как он только благодаря самому себе стал из «доходяги» властителем Германии, а вскоре и части мира: «Произошло нечто волшебное!»[47] Действительно, пожалуй, в беспримерной степени он добился всего сам и благодаря себе — сам себе учитель, организатор партии и творец её идеологии, тактик и демагог-избавитель, государственный муж и на протяжении десятилетия эпицентр возбуждения в мире. Он опроверг то эмпирическое положение, что все революции пожирают своих детей, ибо был, как это подмечено, «Руссо, Мирабо, Робеспьером и Наполеоном революции, он был её Марксом, её Лениным, её Троцким и её Сталиным. Пусть по характеру и по сути своей он далеко уступал большинству из названных лиц, но, как бы то ни было, ему удалось то, что не удавалось никому из них, — он держал революцию в своих руках на каждом из её этапов, и даже в момент поражения. Это говорит об ощутимом понимании им того, какие силы он пробудил»[48].

Однако он обладал ещё и чрезвычайным чутьём относительно того, какие силы вообще могли быть мобилизованы, и не давал ввести себя в заблуждение господствующей тенденцией. Время его вступления в политику целиком и полностью находилось под знаком либеральной буржуазной системы. Но он нащупал скрытые точки сопротивления ей и, создав смелые и напряжённые конструкции, сделал именно их своей программой. Политическому рассудку его поведение представлялось противоречащим смыслу, и надменный дух времени годами не принимал его всерьёз. Но сколько бы насмешек ни вызывал сам его вид, экзальтированная риторика и театральность его выступлений, — он всегда каким-то трудно описуемым образом стоял выше банальных и плотских черт собственной личности. Его особая сила не в последнюю очередь и заключалась в том, что он умел строить воздушные замки с какой-то бесстрашной и резкой рациональностью — именно это подметил тот ранний биограф Гитлера, который выпустил о нём в 1935 году в Голландии книгу под названием «Дон-Кихот Мюнхенский»[49].

А за десять лет до того политик-неудачник местного, баварского масштаба по фамилии Гитлер сидел в убогой

меблированной комнате в Мюнхене и рисовал триумфальные арки и купольные залы, лелея свой казавшийся безумным план. Несмотря на крушение всех надежд после попытки путча в ноябре 1923 года он не отказался ни от одного из своих слов, не умерил своего боевого пыла и ни на йоту не отошёл от своих планов мирового господства. Буквально все, отмечал он потом, считали его просто фантазёром. «Они всё время говорили, что я безумец». Но спустя всего несколько лет все, чего он хотел, стало действительностью или же поддающимся реализации проектом, и уже рушились те силы, что претендовали на долговечность и нерушимость: демократия и многопартийное государство, профсоюзы, международная пролетарская солидарность, система европейских союзов и Лига наций. «Так кто же был прав, — торжествовал Гитлер, — фантазёр или другие? — Прав был я»[50].

В этой непоколебимой уверенности, что он-то и выражает глубокое соответствие духу и тенденции эпохи, а также в способности сделать эту тенденцию откровением и заложен, вероятно, элемент исторического величия. «Назначение величия представляется в том, — писал Якоб Буркхардт в своём знаменитом эссе из „Размышлений о всемирной истории“, — что оно исполняет волю, выходящую за рамки индивидуального», и тут автор говорит о «таинственном сопряжении» между эгоизмом выдающегося одиночки и всеобщей волей: и своими общими предпосылками, и на отдельных этапах, и особенностями его протекания, жизненный путь Гитлера представляет собой неукоснительную демонстрацию этой мысли, и в последующих главах читатель встретит неисчислимое множество свидетельств этому. Аналогичным образом обстоит дело и с остальными условиями, составляющими, по Буркхардту, суть исторического характера. Это — его незаменимость; то, что он переведёт народ из старого состояния в новое, которое уже невозможно представить без него самого; то, что он даёт выход фантазии века; что он олицетворяет собой не «только программу и раж какой-то одной партии», но и всеобщую потребность, а также выкажет умение «отважно ринуться через пропасть»; он должен будет обладать и способностью к упрощению, даром увидеть различия между подлинными силами и силами кажущимися, равно как, наконец, и аномальной, излучающей своего рода магическую мощь силой воли: «Сопротивление вблизи становится полностью невозможным — тот, кто хочет ещё оказывать сопротивление, должен жить вне сферы того, о ком идёт речь, жить вместе с его врагами, и может встретиться с ним только лишь на поле боя»[51].

И всё же не поворачивается язык назвать Гитлера «великим». Сомнения тут вызывают не только преступные черты

психопатологического облика человека. Ведь реальная всемирная история движется отнюдь не по той земле, на которой «произрастает одна лишь моральность», и Буркхардт как раз и говорит об «удивительном отпущении относительно принятого нравственного закона», характерном для сознания крупных личностей[52]. Конечно, можно задать вопрос, не является ли запланированное и совершенное Гитлером абсолютное преступление в плане массового истребления людей чем-то иным, тем, что переходит границы имевшейся в виду Гегелем и Буркхардтом нравственной обусловленности; но всё-таки сомнение в историческом величии Гитлера диктуется другим мотивом. Феномен великого человека имеет изначально эстетическую и лишь крайне редко и моральную природу, и если на первом поле он ещё может рассчитывать на отпущение, то на втором — не может. Ибо одно из старых положений эстетики гласит, что тот не подходит в герои, кто при всех своих выдающихся качествах является неприятным человеком. Нетрудно утверждать и найти массу доказательств тому, что Гитлер в высшей степени и был именно таким человеком, — множество мутных, коренящихся в инстинктах черт, ему свойственных, его нетерпимость и мстительность, отсутствие у него великодушия, его плоский и голый материализм, одержимый одним лишь мотивом власти и вновь и вновь высмеивавший в застольных беседах всё остальное как «вздор», да и вообще все явно заурядные черты его характера вносят элемент отталкивающей обыкновенности в этот образ, никак не отвечающий общепринятому понятию о величии. «Привлекательное земное, — писал в одном из своих писем Бисмарк, — всегда сродни падшему ангелу, который прекрасен в непокое, велик в своих планах и устремлениях, но лишён удачи, горд и скорбен»[53] — дистанция несоизмерима.

Но, может быть, стало проблематичным уже само понятие. В одном из своих проникнутых пессимистическим настроением эссе на политическую тему, написанном в эмиграции, Томас Манн хотя и говорил, имея в виду торжествовавшего Гитлера, о «величии» и «гениальности», но говорил он об «обезображенном величии» и гениальности на самой примитивной её ступени[54], а, столкнувшись с такого рода противоречиями, понятие расстаётся с самим собой. А, может быть, дело в том, что порождено оно историческим разумом эпохи, в значительно большей степени ориентировавшимся на действующих лиц и идеи исторического процесса и упускавшим из виду необозримые хитросплетения сил.

Действительно, такое мнение весьма распространено. Оно

утверждает второстепенность личности по сравнению с интересами, отношениями и материальными конфликтами внутри общества и усматривает неопровержимость этого своего тезиса именно на примере Гитлера: мол, будучи «наёмником» и «орудием» монополистического капитала, он организовал классовую борьбу сверху и в 1933 году овладел стремившимися к политическому и социальному самоопределению массами, а затем путём развязывания войны стал осуществлять экспансионистские цели своих хозяев. В этих по-разному варьировавшихся утверждениях Гитлер представал в качестве вполне заменимой, «заурядной жестяной фигуры», как писал один из авторов левого направления, занимавшийся анализом фашизма, ещё в 1929 году[55], и, во всяком случае, как лишь один из факторов в ряду других, но отнюдь не как определяющая причина.

В принципе это утверждение вообще отрицает возможность исторического познания путём биографического исследования. И обосновывается это тем, что никакая конкретная личность не в состоянии оказывать сколь-нибудь достоверным образом решающее воздействие на исторический процесс со всеми его хитросплетениями и противоречиями и на всех его многочисленных, непрерывно меняющихся уровнях напряжения. Ибо, как утверждается, историография персоналий по сути лишь продолжает традицию старой придворной и мадригальной литературы, и в 1945 году вместе с крушением режима она просто поменяла местами знаки, сохранив, в принципе, ту же методику. Гитлер остался все той же неотразимой силой, приводящей в движение все и вся, и лишь «сменил своё качество: спаситель-избавитель стал дьяволом-соблазнителем»[56]. В конечном же итоге, утверждается далее, любое биографическое исследование служит, вольно или невольно, потребностям в оправдании тех миллионов былых его приверженцев, кто перед лицом такого «величия» без труда может представлять себя жертвой или уж хотя бы переложить всю ответственность за случившееся на патологические капризы бесноватого фюрера, отдающего приказы откуда-то; короче говоря, биография — это скрытый оправдательный манёвр в ходе всеобъемлющей стратегии, направленной на снятие вины[57].

Это утверждение подкрепляется ещё и тем, что по своим индивидуальным параметрам Гитлер, действительно, лишь с трудом может привлечь к себе наш интерес — его личность на протяжении всех этих лет остаётся удивительно бледной и невыразительной. И только в контакте с эпохой она обретает свою напряжённость и притягательность. Гитлер обладал многим из

того, что Вальтер Беньямин назвал «социальным характером»: едва ли не показательное средоточие всех опасений, чувств протеста и надежд своего времени — и все это возведённое в высшую степень, изломанное и снабжённое какими-то необычными чертами, но тем не менее никогда не утрачивавшее своей связи с историческим фоном и входившее в него составной частью. Жизнь Гитлера не стоило бы ни описывать, ни интерпретировать, если бы в ней не проявились надличностные тенденции и взаимоотношения, если бы его биография не была на всём своём протяжении одновременно и сколком биографии эпохи. И то, что она именно таковым и является, определяет вопреки всем возражениям правомочность такого жизнеописания.

Однако это обстоятельство придаёт в то же время более явственные черты, нежели обычно, и заднему плану картины. Гитлер предстаёт тут на фоне густого узора тех объективных факторов, которые его формировали, ему способствовали, влекли его вперёд, а порой и останавливали. И важную роль играют здесь и романтическое немецкое восприятие истории, и своеобразная угрюмая «серость» Веймарской республики, и национальная деклассированность в результате Версальского договора, и двойная социальная деклассированность широких слоёв вследствие инфляции и мирового экономического кризиса, и слабость демократической традиции в Германии, и страх перед угрозой коммунистической революции, и опыт войны, и просчёты утративших уверенность консерваторов, и, наконец, широко распространённые опасения, связанные с переходом от привычного строя к строю новому, видевшемуся пока ещё весьма смутно. И все это пронизывалось необходимостью давать скрытым, максимально перепутанным причинам недовольства простые формулы выхода и, увязая во всей этой уготованной эпохой трясине, искать убежища у какого-то подавляющего авторитета.

Став точкой средоточия этих многочисленных чаяний, опасений и затаённых обид, Гитлер и оказался фигурой истории. То, что произошло, нельзя представить без него самого. В его лице конкретный человек в очередной раз продемонстрировал возможность насильственным путём изменять ход исторического процесса. В этой книге будет показано, сколь заразительными и мощными могут оказаться многообразнейшие пересекающиеся настроения времени, когда в каком-то конкретном человеке соединяются гений демагога, дар выдающегося тактика в политике и способность к тому самому «магическому совпадению», о котором говорилось выше: «История иной раз любит сосредотачиваться в каком-то одном человеке, которому

затем внимает весь мир»[58]. И тут никак нельзя упустить из виду, что взлёт Гитлера стал возможен только благодаря уникальному совпадению индивидуальных и всеобщих предпосылок, благодаря той с трудом поддающейся расшифровке связи, в которую вступил этот человек со временем, а время — с этим человеком.

Эта тесная взаимозависимость лишает в то же время почвы любого рода утверждения по поводу каких-то сверхъестественных способностей Гитлера. Не демонические, а типичные, так сказать, «нормальные» черты и облегчили главным образом ему путь. Описание этой жизни покажет, насколько сомнительными и идеологизированными представляются все теории, трактующие Гитлера с точки зрения его принципиального противопоставления эпохе и её людям. Он был не столько великим противоречием своего времени, сколько его отражением — то и дело сталкиваешься тут со следами некоей скрытой тождественности.

Но сознание всей важности объективных предпосылок — и настоящая работа пытается воздать им должное также и формально, в первую очередь в специально включённых в неё «Промежуточных размышлениях», — подводит и к вопросу о том, в чём же заключалось особое воздействие Гитлера на ход событий. Конечно, абсолютно верно утверждение, что совокупное движение «фелькише»[59], развернувшееся в двадцатые годы, нашло бы отклик и приверженцев и без его участия[60]. Но есть основания полагать, что оно было бы всего лишь одной из более или менее заметных политических групп в рамках системы. То же, что придал ему Гитлер, представило собой ту неподражаемую мешанину из фантастики и последовательности, которая, как увидит читатель, в высшей степени выражает сущность самого его творца. Радикализм Грегора Штрассера или Йозефа Геббельса был и оставался всего лишь нарушением действовавших правил игры, которые как раз таким нарушением и закрепляли свою легитимность. Радикализм же Гитлера, напротив, отменял все существующие условия и вносил в игру новый, неслыханный элемент. Многочисленные трудности бытия и комплексы недовольства того времени порождали бы, вероятно, периодические кризисы, но, не будь этого человека, не привели бы к тем обострениям и взрывам, свидетелями которых мы стали. От первого кризиса в партии летом 1921 года и до последних дней апреля 1945 года, когда он прогнал Геринга и Гиммлера, позиция его оставалась незыблемой; он не терпел над собой никаких авторитетов — даже авторитета идеи. И своим грандиозным произволом он тоже делал историю — способом, который уже в его время представлялся анахроничным и, надо надеяться, никогда больше не будет применён. Это была цепь

субъективных выдумок, неожиданных ударов и поворотов, поразительных по своему коварству поступков, идейных самоотречений, но всегда с упорно преследуемым фантомом на заднем плане. Что-то от его своеобразного характера, от того субъективного элемента, который навязывался им ходу истории, находит своё выражение в формулировке «гитлеровский фашизм», столь распространённой в тридцатые годы в марксистской теории; и в этом смысле национал-социализм вполне обоснованно определяется как гитлеризм[61].

Однако остаётся вопросом, был ли Гитлер последним политиком, который с таким пренебрежением мог игнорировать весь вес взаимоотношений и интересов, и не становится ли ныне давление объективных факторов намного сильнее, а одновременно тем самым исторические возможности преступника крупного масштаба намного слабее; ведь несомненным является то, что ранг в истории зависит от той свободы, которую историческое действующее лицо отвоёвывает себе у обстоятельств: «Нельзя действовать по принципу, — заявил Гитлер в своём секретном выступлении весной 1939 года, — уходя от решения проблем путём приспособления к обстоятельствам. Нет, следует приспосабливать обстоятельства к требованиям»[62]. С таким девизом, выразившим в очередной раз попытку соразмерить себя с образом великого человека, и прожил этот «фантазёр» свою авантюрную, доведённую до последней черты и в конечном счёте потерпевшую полное фиаско жизнь. Кое-что говорит, пожалуй, за то, что с ним, наряду со многим другим, завершилось и следующее: «Ни в Пекине, ни в Москве, ни в Вашингтоне не сидеть уже больше такому же одержимому безумными мечтами о переделке мира… У единоличного главы нет больше свободы действий для осуществления своего решения. Он умеряет аппетиты. Узоры ткутся длинной рукой. Гитлер, можно надеяться, был последним экзекутором „большой“ политики классического типа»[63].

Коль скоро мужи уже не делают историю или делают её в меньшей степени, нежели весьма долго считала просветительская литература, то этот человек, надо полагать, сделал больше, чем многие другие. Но одновременно, и в совершенно необычной степени, история сделала его. В эту «безликую личность», как называет его одна из последующих глав, не вошло ничего из того, чего бы ещё не было, но то, что в неё вошло, обрело тут небывалую динамику. Биография Гитлера — это история непрерывного и интенсивного процесса взаимообмена.

Таким образом, подведём итог сказанному, остаётся вопрос,

может ли историческое величие сочетаться с ничтожными или невзрачными пропорциями личности. И тут не лишено смысла вообразить себе судьбу Гитлера в случае, если бы история не представила в его распоряжение те обстоятельства, которые вообще пробудили его и сделали рупором захвативших миллионы людей комплексов возмущения и враждебности. Он влачил бы одинокое существование где-то на краю общества, существование ожесточившегося и преисполненного мизантропией человека, мечтающего о великой судьбе и не могущего простить жизни то, что она не посчиталась с ним и отказала ему в роли всепобеждающего героя: «Угнетало только полнейшее отсутствие какого-либо внимания, из-за чего я тогда страдал больше всего», — так вспоминал Гитлер о времени своего вступления в политику[64]. Крах существовавшего порядка и присущие эпохе страх и предчувствие перемен дали ему для начала шанс выйти из тени безвестности. Величие, считает Якоб Буркхардт, это — потребность страшных времён[65].

И это величие, добавим, может идти рука об руку и с индивидуальным убожеством — вот чему учит появление Гитлера, причём учит в мере, превосходящей весь имеющийся опыт. На протяжении целого ряда этапов эта личность представляется как бы растворившейся, исчезнувшей в ирреальном, и вот этот-то фиктивный характер, а не что иное, и был причиной того, что многие политики-консерваторы и историки-марксисты столь странным образом сходились во взгляде на Гитлера как на инструмент для достижения чьих-то целей. Будучи далёким от какого бы то ни было величия и любого рода политического, а уж тем более исторического ранга, он и казался идеальным олицетворением типа «агента». Но глубоко заблуждались и те, и другие — ведь одним из рецептов тактических успехов Гитлера как раз и было то, что он этим заблуждением, в котором проявлялась и проявляется классовая враждебность по отношению к мелкому буржуа, и делал политику. Его биография — это в то же время и история постоянной утраты иллюзий всеми сторонами; и, уж конечно же, в случае с Гитлером бьёт мимо цели та полная иронии недооценка, которая для очень многих все ещё диктуется его внешним видом и исчезает лишь тогда, когда речь заходит о его жертвах.

Все это будет продемонстрировано ниже ходом этой жизни, ходом самих событий. К скепсису же побуждает тут и вот какой мысленный эксперимент. Если бы в конце 1938 года Гитлер оказался жертвой покушения, то лишь немногие усомнились бы в том, что его следует назвать одним из величайших

государственных деятелей среди немцев, может быть, даже завершителем их истории. Его агрессивные речи и его «Майн кампф», его антисемитизм и его планы мирового господства канули бы, вероятно, в забытьё как творение фантазии его ранних лет и лишь от случая к случаю вспоминались бы, к негодованию нации, её критиками. Шесть с половиной лет отделяли Гитлера от этой славы. Разумеется, способствовать ему в этом мог бы только насильственный конец, ибо по самой своей сути он был настроен на разрушение и не исключал тут и собственную личность. Так или иначе, но та слава была столь близка к нему. Так можно ли называть его «великим»?

КНИГА ПЕРВАЯ
БЕСЦЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Глава I
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛО ПУТИ

Потребность в самовозвеличивании, вообще в самоумилении, присуща всем непризнанным.

Якоб Буркхардт

Попытка самозасекречивания. — Функция чужеродности. — Подоплёка. — Ненайденный предок. — Изменение фамилии. — Отец и мать. — Легенды. — Фиаско в учёбе. — «Ни друзей ни приятелей». — Искусство возвышает. — Лотерейный билет. — Первая встреча с Рихардом Вагнером. — Вена.

Маскировать свою личность, равно как и прославлять её, было одним из главных стараний его жизни. Едва ли есть в истории другое явление, которое бы столь же насильственно и столь же последовательно, прямо-таки педантично, подвергалось стилизации и скрывало свою личностную суть. То же, что отвечало его собственному представлению о себе, походило скорее на монумент, нежели на человеческий портрет. На протяжении всей своей жизни он старался прятаться за этим монументом. Позу он обрёл, когда уверовал в своё призвание, и уже в тридцать пять лет создал вокруг себя концентрированный, застывший вакуум одиночества великого вождя. А полутьма, в которой возникают легенды, и аура особой избранности лежат в предыстории его жизни. Но тут же — и источники всех страхов, загадок и удивительной характерности этой жизни.

Будучи фюрером рвущейся к власти НСДАП, он считал оскорбительным интерес к обстоятельствам его личной жизни, и, став рейхсканцлером, запретил любые публикации на эту тему[66]. В свидетельствах тех, кто когда-либо соприкасался с ним — от друга юности до участников ночных застольных бесед в узком кругу, — единодушно подчёркивается его стремление сохранять дистанцию и не раскрывать себя: «В течение всей его жизни в нём было нечто такое, что удерживало на дистанции»[67]. Несколько лет своей молодости он провёл в мужском общежитии, однако, среди тех многих людей, которые его там встречали, не

было, пожалуй, ни одного, кто бы мог о нём вспомнить, — чужим и незаметным проскользнул он мимо них, и все последующие разыскания не дали почти ничего. В начале своей политической карьеры он ревниво следил за тем, чтобы не печатали его фотографий, и иной раз в этом усматривался хорошо рассчитанный ход уверенного в своей силе пропагандиста — мол, будучи человеком, чьё лицо незнакомо, он тем самым становится и предметом самого жгучего интереса.

Однако не только «старым рецептом пророка», не только намерением внести в свою жизнь элемент харизматического колдовства диктовались его старания затушевать себя — в значительно большей мере тут проявлялись и опасения скрытной, зашоренной, подавленной собственной неполноценностью натуры. Он всё время был озабочен тем, чтобы заметать следы, не допускать опознаний, продолжать затуманивать и без того тёмную историю своего происхождения и своей семьи. Когда в 1942 году ему доложили, что в деревне Шпиталь обнаружена имеющая отношение к нему могильная плита, с ним случился один из его припадков безудержного гнева. Из своих предков он сделал «бедных безземельных крестьян», а из отца, бывшего таможенным чиновником, — «почтового служащего»; родственников, пытавшихся вступить с ним в контакт, он безжалостно гнал от себя, а свою младшую родную сестру Паулу, ведшую одно время хозяйство у него в Оберзальцберге, заставил взять другую фамилию[68]. Характерно, что он не вёл почти никакой личной переписки. Взбалмошному основателю расистской философии Йоргу Ланцу фон Либенфельсу, которому он был обязан кое-какими смутными ранними импульсами, после присоединения Австрии было запрещено писать ему; Рейнхольда Ханиша, своего прежнего приятеля по мужскому общежитию, он приказал убрать, и точно так же, как он не желал быть ничьим учеником, ибо уверял, что получил все познания благодаря собственному вдохновению, озарению и общению с духом, так не хотел он быть и чьим-то сыном — схематичный образ родителей появляется в автобиографических главах его книги «Майн кампф» лишь постольку, поскольку это поддерживает легенду его жизни.

Его стараниям по утаиванию истины способствовало то обстоятельство, что пришёл он с той стороны границы. Как многие революционеры и покорители эпохи, от Александра Македонского до Наполеона и Сталина, он был чужим среди своих. И, конечно же, та взаимосвязь, которая существует между этим чувством аутсайдера и готовностью использовать народ — вплоть до его гибели — в качестве материала для своих диких и скоропалительных прожектов, касается и его тоже. Когда в

переломный момент войны ему сообщили об огромных потерях среди только что произведённых офицеров в одной из кровавых битв на выживание, он коротко заметил: «На то они и молодые!»[69].

Однако мало того, что он был чужим. Его чувство порядка, нормы и буржуазности постоянно противоборствовало с его весьма тёмной генеалогией, и, судя по всему, его так никогда и не покинули сознание дистанции между происхождением и амбициями и страх перед собственным прошлым. Когда в 1930 году появились слухи о намерениях заняться поиском сведений о его семье, Гитлер был чрезвычайно обеспокоен. «Людям не надо знать, кто я. Людям не надо знать, откуда я и из какой семьи»[70].

И по отцовской, и по материнской линии родиной его семьи была бедная периферия австро-венгерской монархии — лесной массив между Дунаем и границей с Богемией. Её население было сплошь крестьянским, на протяжении поколений неоднократно породнённым между собой и пользовавшимся славой людей, живущих скученно и отстало. Проживали они в деревнях, чьи названия нередко всплывают уже на раннем периоде истории: Деллерсхайм, Штронес, Вайтра, Шпиталь, Вальтершлаг. Все это небольшие, разрозненные селения в скудной лесистой местности. Фамилия Гитлер, Гидлер или Гюттлер, надо полагать, чешского происхождения (Гидлар, Гидларчек) и прослеживается — в одном из вариантов — в этом лесном массиве до 30-х годов XV века[71]. Но на протяжении всех поколений фамилия эта принадлежит мелким крестьянам, ни один из которых не вырывается из заданных социальных рамок.

7 июня 1837 года в доме № 13 в Штронесе, принадлежавшем небогатому крестьянину Иоганну Трумельшлагеру, незамужняя служанка Мария Анна Шикльгрубер произвела на свет ребёнка, который в тот же день был окрещён под именем Алоис. В книге записи рождений общины Деллерсхайм рубрика, сообщающая о личности отца ребёнка, осталась незаполненной. Ничего не изменилось и тогда, когда пять лет спустя мать вышла замуж за безработного — «безместного» — подручного мельника Иоганна Георга Гидлера. Более того, она в том же году отдала своего сына брату мужа крестьянину Иоганну Непомуку Гюттлеру из Шпиталя, вероятно, по той причине, что боялась не справиться с воспитанием ребёнка. Так или иначе, Гидлеры, если верить преданию, потом настолько обеднели, что у них «в конце концов не было даже кровати, и спали они в корыте, из которого кормили скот»[72].

Оба брата — подручный мельника Иоганн Георг Гидлер и

крестьянин Иоганн Непомук Гюттлер — это двое из предполагаемых отцов Алоиса Шикльгрубера. Третьим же называют — и это скорее всего авантюрная, хотя и пришедшая из ближайшего окружения Гитлера история — еврея из Граца по фамилии Франкенбергер, в чьём доме, как говорят, и служила Анна Мария Шикльгрубер, когда забеременела. Во всяком случае, Ханс Франк, много лет бывший адвокатом Гитлера и ставший впоследствии генерал-губернатором Польши, давая показания в Нюрнберге, сообщил, что в 1930 году Гитлер получил от сына своего сводного брата Алоиса написанное, возможно, с целью шантажа письмо, в котором его автор в туманных выражениях намекал на «весьма определённые обстоятельства» в семейной истории Гитлеров. Франк получил задание конфиденциально расследовать это дело и обнаружил кое-какие отправные точки для предположения, что дедом Гитлера был именно Франкенбергер. Правда, отсутствие документальных доказательств делает это утверждение весьма и весьма сомнительным, хотя у Франка в Нюрнберге, вроде бы, не было никакого повода приписывать Гитлеру предка-еврея. Последние расследования ещё больше подорвали достоверность его заявления, так что это утверждение едва ли следует анализировать всерьёз. Но его истинная суть и значение не столько в его объективной достоверности, сколько — и с психологической точки зрения, и по существу — в том, что Гитлер был вынужден в результате расследований Франка усомниться в своём происхождении. Новая следственная акция, предпринятая в августе 1942 года по инициативе Генриха Гиммлера, ощутимым успехом не увенчалась. Не является достаточно убедительной по сравнению со всеми другими предположениями насчёт того, кто же был дедом Гитлера, и свидетельствующая об определённом комбинационном тщеславии версия, называющая «с граничащей с абсолютной уверенностью вероятностью» отцом Алоиса Шикльгрубера Иоганна Непомука Гюттлера[73]. В конечном итоге, как одно, так и другое утверждение уходят во тьму запутанной и отмеченной нуждой, некультурностью и ханжеством сельской жизни. И сам Адольф Гитлер не знал, кто был его дедом.

Двадцать девять лет спустя, после того как Анна Мария Шикльгрубер умерла «от изнурения, вызванного мятной настойкой» в Кляйн-Моттене близ Штронеса, и через девятнадцать лет после смерти её мужа, его брат Иоганн Непомук с тремя знакомыми явился в дом пастора Цанширма в Деллерсхайме и заявил о желании официально усыновить своего «приёмного сына», которому было уже около сорока лет, —

таможенного чиновника Алоиса Шикльгрубера, хотя, как сказал заявитель, отцом ребёнка был не он сам, а его покойный брат Иоганн Георг, сознавшийся в этом, что и могут подтвердить сопровождающие заявителя люди.

На деле же пастора либо обманули, либо уговорили. И он заменил в старой книге актов гражданского состояния пометку в записи от 7 июня 1837 года «вне брака» на «в браке», заполнил рубрику об отцовстве так, как от него хотели, и на полях сделал такую далёкую от правды пометку: «Записанный отцом Георг Гитлер, хорошо известный нижеподписавшимся свидетелям, будучи названным матерью ребёнка Анной Шикльгрубер, признал себя отцом ребёнка Алоиса и ходатайствовал о внесении его имени в сию метрическую книгу, что и подтверждается нижеподписавшимися… + + + Йозеф Ромедер, свидетель; + + + Иоганн Брайтенедер, свидетель; + + + Энгельберт Паук». Поскольку все три свидетеля не умели писать, они поставили вместо подписей по три креста, а их имена пастор вписал сам. Однако он позабыл указать дату, отсутствуют тут и его подпись, равно как и подписи родителей (к тому времени уже давно умерших). И всё же, хоть и вопреки законным нормам, усыновление произошло, и с января 1877 года Алоис Шикльгрубер стал Алоисом Гитлером.

Толчок к этой деревенской интриге, несомненно, был дан Иоганном Непомуком Гюттлером — ведь он воспитал Алоиса и, понятным образом, гордился им. Как бы заново родившийся Алоис женился и добился большего, нежели кто-либо из Гюттлеров или Гидлеров до того, так что вполне понятно, что Иоганн Непомук испытывал потребность обрести собственное имя в имени своего приёмного сына. Но и Алоис тоже был заинтересован в перемене фамилии — как бы то ни было, но, будучи энергичным и осознавшим свой долг человеком, он сделал за это время заметную карьеру, так что понятна и его потребность в приобретении «честной» фамилии — это ведь давало гарантию и твёрдую почву его карьере. Ему было только тринадцать лет, когда он отправился в Вену, чтобы учиться сапожному ремеслу, но затем он решительно отказался от доли сапожника и поступил на службу в австрийское таможенное управление. Продвижение его по службе шло довольно быстро, и в конечном итоге он дослужился до поста старшего таможенного чиновника — учитывая его образование, это вообще было для него потолком… Он любил показываться в обществе, любил, чтобы его считали начальством, и придавал немалое значение тому, чтобы, обращаясь к нему, его величали «господином старшим чиновником». Один из его сослуживцев, вспоминая,

называл его «строгим, точным, даже педантичным», а сам же он как-то заявил одному из родственников, попросившему у него совета при выборе профессии для своего сына, что таможенная служба требует абсолютного послушания и чувства долга и тут нечего делать «пьяницам, любителям брать взаймы, картёжникам и иным людям, ведущим аморальный образ жизни»[74]. Его фотографии, а снимался он чаще всего по случаю очередного продвижения по службе, неизменно показывают статного мужчину с профессионально недоверчивым выражением лица, за которым скрывается суровая буржуазная добропорядочность и всегдашнее мещанское желание подать себя — не без достоинства и самодовольства, в мундире с блестящими пуговицами демонстрирует он себя постороннему наблюдателю.

Однако за этой внешней порядочностью и строгостью скрывался, несомненно, весьма переменчивый темперамент, находивший своё выражение в явной склонности к принятию импульсивных решений. Уже одна только страсть к перемене места жительства говорит о его беспокойном характере, не получавшем простора в рамках размеренной таможенной службы, — известны по меньшей мере одиннадцать переездов в течение менее чем двадцати пяти лет, правда, некоторые из этих переездов были связаны с перемещениями по службе. Алоис Гитлер был трижды женат, причём его первая жена ещё была жива, когда он уже ожидал ребёнка от будущей второй жены, а при жизни второй — ребёнка от третьей. Его первая жена Анна Глассль была на четырнадцать лет старше него, а третья — Клара Пелцль — на двадцать три года моложе. Сначала она служила у него в доме, была родом как и все Гидлеры и Гюттлеры — из Шпиталя и до перемены фамилии считалась — по меньшей мере, официально его племянницей, так что для заключения брака потребовалось особое разрешение со стороны церкви. На вопрос о том, находилась ли она с ним в кровном родстве, так же невозможно ответить, как и на вопрос, кто был отцом Алоиса Гитлера. Свои обязанности по дому Клара исполняла незаметно и добросовестно, она регулярно, повинуясь пожеланию супруга, посещала церковь и даже уже после вступления в брак так и не смогла полностью преодолеть прежнего статуса служанки и содержанки, каковой она и пришла в этот дом. И годы спустя она с трудом видела себя супругой «господина старшего чиновника» и, обращаясь к мужу, называла его «дядя Алоис»[75]. На сохранившихся фотографиях у неё лицо скромной деревенской девушки — серьёзное, застывшее и с признаками подавленности.

Адольф Гитлер родился 20 апреля 1889 года в пригороде Браунау на Инне, в доме № 219, в семье он был четвёртым

ребёнком Клары. Трое до него (1885, 1886 и 1887 годов рождения) умерли в младенческом возрасте, а из двух родившихся после него в живых осталась только его сестра Паула. Кроме того, в семье были и дети от второго брака — Алоис и Ангела. На развитие Гитлера этот маленький приграничный городок не оказал совершенно никакого влияния. Уже в следующем году отца перевели в Гросс-Шенау в Нижней Австрии. Когда Адольфу было три года, семья переехала в Пассау, а когда ему исполнилось пять, отец был переведён в Линц. Там, вблизи местечка Ламбах, где в старом прославленном бенедиктинском монастыре шестилетний Адольф пел в хоре, прислуживал во время мессы и, по его собственному признанию, «так часто очаровывался величавой роскошью необычайно торжественных церковных праздников»[76], отец приобрёл в 1895 году имение размером около четырех гектаров, но вскоре был вынужден его продать. Два года спустя, уйдя досрочно на пенсию, он купил дом в Леондинге, местечке у самого Линца, где и прожил до конца своей жизни.

В противоположность этой картине, где, вопреки всем элементам нервозности, преобладают последовательность и размеренность, буржуазная солидность и чувство уверенности, легенда, созданная самим Гитлером, повествует о бедности, нужде и скудности в родительском доме и о том, как победоносная воля отмеченного печатью избранности юноши сумела преодолеть все это, равно как и деспотические амбиции бесчувственного отца-изгоя. Чтобы привнести в эту картину ещё больше эффектной чёрной краски, сын впоследствии даже сделал отца пьяницей, которого ему приходилось, ругая и умоляя, со сценами «ужасающего стыда», уводить домой из «вонючих, прокуренных пивных». Как и подобает рано проявившемуся гению, он не только был удачливым заводилой среди сверстников в их похождениях на деревенском лугу и у старой крепостной башни, но и своими хорошо продуманными планами игр в приключения рыцарей и смелыми проектами экскурсий по окрестностям показал себя прирождённым руководителем-Фюрером. Инспирированный этими невинными играми интерес к войне и солдатскому ремеслу наложил на его формирующийся характер первый отпечаток, говорящий о его будущей ориентации — ему, писал, вспоминая, автор «Майн кампф», «ещё не было и одиннадцати», когда он открыл, что «особое значение тут имеют два бросающиеся в глаза факта»: он стал националистом и «научился понимать и воспринимать смысл истории»[77]. Эффектным и трогательным продолжением этого сюжета явились кончина отца, лишения, болезнь и смерть любимой матери, а

также уход из родного дома сироты, «которому пришлось в свой семнадцать лет отправиться в чужие края и зарабатывать себе на хлеб».

На самом же деле Гитлер был бойким, живым и, несомненно, способным учеником, на чьи задатки, однако, уже с раннего возраста отрицательно влияла его очевидная неспособность к упорядоченному труду. А явная тяга к тому, что было бы ему удобно, подкреплявшаяся и поддерживавшаяся темпераментом упрямца, заставляла его чаще всего следовать своему собственному настроению и потребности в красоте, чему он и отдавался со всем пылом. И хотя табели его успеваемости из разных народных школ, в которых он учился, постоянно свидетельствуют о том, что он был неплохим учеником, а на классной фотографии 1899 года он позирует в самом верхнем ряду с выражением своего очевидного превосходства, но вот когда родители отдали его после народной школы в реальное училище в Линце, он, как это ни удивительно, потерпел тут полный провал. Его дважды оставляют на второй год, а ещё раз переводят в следующий класс только после переэкзаменовки. В табеле его прилежание чуть ли не регулярно оценивается «двойкой» («невыдержанное»), и только по поведению, рисованию и гимнастике он получал удовлетворительные или хорошие оценки, а по всем остальным предметам его отметки были либо неудовлетворительными, либо с трудом дотягивали до «тройки». Табель за сентябрь 1905 года демонстрирует «неуды» по немецкому, математике и стенографии; даже по географии и истории, его «любимым предметам», как он сам потом говорил, где он «шёл впереди всего класса»[78], отметки тоже были весьма низкими, а его успехи в целом были столь неудовлетворительными, что ему пришлось уйти из училища.

Этот явный провал объясняется целым комплексом причин и мотивов. Кое-что свидетельствует о том, что не в последнюю очередь сыграло здесь свою роль то обстоятельство, что, будучи сыном чиновника, он в сельском Леондинге был заводилой в играх своих сверстников и это, конечно же, льстило его самолюбию, в то время как попав в Линц, в городскую среду детей учителей, коммерсантов и чиновников, он остался приехавшим из деревни, третируемым ими аутсайдером. И хотя Линц на рубеже веков, несмотря на свои 50 000 жителей, оперный театр и трамвай, символизировавшие собой статус современного города, не утратил ещё окончательно черт сельской глуши и заспанности, этот город, несомненно, уже дал Гитлеру представление о социальной субординации. Во всяком случае, в реальном училище у него не было «ни друзей, ни приятелей», и в

принадлежавшем злой хозяйке фрау Зекира пансионате, где он жил вместе с пятью своими ровесниками, он тоже оставался чужим, замкнутым и сторонившимся остальных: «Ни один из пяти остальных обитателей пансионата, — вспоминал один из его бывших однокашников, — с ним так и не подружился. В то время как все мы, воспитанники учебного заведения, говорили друг другу „ты“, он обращался к нам на „вы“, и мы тоже говорили ему „вы“ и даже не видели в этом ничего странного»[79]. Характерным представляется тут то, что именно в это время впервые можно было услышать из уст самого Гитлера высказывание о его происхождении из хорошего дома, что и наложило в дальнейшем столь заметный отпечаток на его стиль и поведение, ибо это привило ему, стильному подростку в Линце и пролетарию в Вене, «классовое сознание» и стремление держаться любой ценой.

Впоследствии Гитлер представлял своё фиаско в реальном училище как реакцию протеста на попытку отца навязать ему карьеру чиновника, которую сам отец проделал и завершил столь успешно. Но и описание этого якобы продолжительного противоборства, которое Гитлер представит потом как ожесточённую борьбу двух мужчин с несгибаемой волей, является, как это выяснено, во многом его чистой воды выдумкой. А с какой наглядностью он много лет спустя описывал сцену в Главном таможенном управлении Линца, когда отец пытался уговорить его избрать ту же профессию, в то время как сын, «преисполненный отвращения и ненависти», видел тут одну только «государственную клетку», в которой «старые господа сидели друг на друге так плотно, как обезьяны»[80].

В действительности же следует скорее исходить из того, что отец едва ли прореагировал столь резко и раздражённо относительно будущего выбора профессии сыном, как это постарался сочинить Гитлер, дабы объяснить свой крах в учёбе и придать уже своим юным годам черты железной решимости. Конечно, отец хотел бы видеть сына чиновником на самых высоких должностях и при званиях, которые ему самому были заказаны из-за его низкого образования. Но вполне правдоподобна тем не менее описанная Гитлером атмосфера продолжительной напряжённости, причиной которой было частью несходство темпераментов, а частью и решение отца осуществить давно лелеемую (и странным образом проявившуюся потом и у сына) мечту и уже в 1895 году, в пятьдесят восемь лет, уйти на пенсию, чтобы, освободившись, наконец, от груза служебных обязанностей, отдаться безделью и собственным наклонностям. Для сына такая перемена означала самое непосредственное ограничение свободы в доме — вдруг он повсюду стал натыкаться

на крупную фигуру отца, постоянно требовавшего уважения и дисциплины и воплощавшего свою гордость за достигнутое в претензии на безоговорочное послушание ему, так что именно в этом, а не в конкретных разногласиях по поводу выбора профессии, и скрывались, по всей вероятности, причины конфликта.

Впрочем, отец застал только начальный период учёбы сына в реальном училище. В начале 1903 года на постоялом дворе «Визингер» в Леондинге он едва отхлебнул из бокала первый глоток вина, как повалился в сторону и, отнесённый в соседнее помещение, скончался ещё до того, как успели прийти врач и священник. Выходившая в Линце либеральная газета «Тагеспост» поместила о нём многословный некролог, где говорилось о прогрессивных взглядах покойного, его грубоватом юморе, а также о его ярко выраженной гражданственности; газета называла его «другом пения» и авторитетом в области пчеловодства, равно как и воздавала должное его скромности и бережливости. Когда же сын из нежелания учиться и перепадов настроения бросил училище, Алоис Гитлер уже два с половиной года лежал в могиле, а мнимая угроза карьерой чиновника уж никак не могла исходить от постоянно болевшей матери. Она, правда, кажется, какое-то время сопротивлялась упорным домогательствам сына насчёт того, чтобы бросить учёбу, но скоро у неё уже не осталось сил на борьбу с его эгоистическим и не терпевшим возражений характером: потеряв столько детей, она обратила всю свою заботу на последних двоих, забота же эта обычно проявлялась в материнской слабости и податливости, и сын вскоре научился хорошо этим пользоваться. Когда в сентябре 1904 года его перевели в следующий класс только при условии, что он уйдёт из училища, мать предприняла последнюю попытку и отправила его в реальное училище в Штейре. Но и там его успехи выли весьма неудовлетворительными; первый его табель пестрел столькими «неудами», что Гитлер, как он сам рассказывал, напился и использовал этот документ в качестве туалетной бумаги, так что потом ему пришлось писать заявление о выдаче дубликата. Когда же и табель 1905 года оказался не лучше предыдущего, мать окончательно сложила оружие и разрешила сыну бросить училище. Правда, как он не без иезуитства признается в «Майн кампф», тут ему «неожиданно на помощь пришла болезнь»[81], которая, впрочем, документально нигде не засвидетельствована; куда более важной представляется иная причина — его опять оставили на второй год.

Это была одна из тех катастрофических побед, которые

Гитлер одержит ещё не раз и не два: своими табелями об успеваемости, кишмя кишащими «неудами», он доказал своему могущественному отцу, уже лежащему в могиле, что путь в чиновничье сословие с его рангами и должностями, где отец желал бы его видеть, ему заказан навсегда. Одновременно он «со стихийной ненавистью»[82] бросил школу, — она так и осталась в его жизни темой, пробуждавшей у него колоссальное ожесточение, — и все его непрестанные попытки унять беспокойство, порождённое этим фиаско, ссылками на призвание художника, так и не вытеснили до конца его жизни свойственного неудачнику чувства зависти и вражды. И вот, улизнув от требований нормального учебного процесса, он решил «целиком посвятить себя искусству». Он хочет стать художником. Этот выбор определяется, с одной стороны, производившим впечатление талантом к срисовыванию, который у него был, а с другой — весьма смелыми представлениями, которые сын провинциального чиновника вкладывал в понятие о свободной, ничем не скованной жизни художника. Очень рано у него проявилась, склонность к эксцентричному стилю жизни; один из жильцов пансионата, который держала его мать, рассказывал впоследствии, что порой Гитлер начинал вдруг рисовать во время обеда, нанося, как одержимый, на бумагу наброски зданий, арок и колонн. Конечно, в этом сказывалась вполне законная потребность вырваться с помощью искусства из тисков и рамок узкого буржуазного мирка, к которому он принадлежал от рождения, уйти в идеальные сферы, и тот, собственно говоря, маниакальный пыл, с которым он, забывая и презирая всё остальное, отдаётся теперь своим упражнениям в живописи, музыке и мечтам, бросает некий обманчивый свет на эту его страсть. Ведь с каким-нибудь определённым трудом, «профессией ради хлеба насущного», как он презрительно говорил, Гитлер связывать себя никак не желает[83].

Дело в том, что возвышения через искусство он явно ищет и в социальном плане. Как за всеми наклонностями и выборами в годы его формирования явственно прослеживается огромная потребность быть или стать чем-то «более высоким», так и в его эксцентрической страсти к занятию искусством во многом проявляется представление о том, будто оно является привилегией «более избранного общества». После смерти отца мать продаёт их дом в Леондинге и перебирается в Линц. Гитлеру уже шестнадцать лет, у него нет никакого иного дела, как слоняться по дому; благодаря тому, что мать получает за отца приличную пенсию, он может не забивать себе, голову планами на будущее, а предаваться видимости привилегированного

ничегонеделания, которое ему так нравится. Ежедневно он совершает променад по принятым для прогулок местам города, регулярно бывает на представлениях местного театра, вступает в музыкальный кружок и становится читателем библиотеки Общества народного просвещения. Растущий интерес к сексуальным вопросам влечёт его, как он потом рассказывал, в отделение для взрослых кабинета восковых фигур, и примерно в то же время в маленьком кинотеатре близ Южного вокзала он смотрит первый раз в жизни фильм[84]. Согласно описаниям, которыми мы располагаем, Гитлер был долговязым, бледным, робким и всегда тщательно одетым юношей, обычно он ходил, помахивая тросточкой с набалдашником из слоновой кости, и по внешнему виду и поведению казался студентом.

Социальное честолюбие подстёгивало и его отца, однако тот добился лишь того, что в глазах сына выглядело не бог весть какой карьерой; снисходительные слова, которые были посвящены им впоследствии жизненному пути «старого господина», показывают, что самому себе он поставил цель куда более высокую — в мире мечтаний, созданном им наряду с реальностью и над нею, взращивались ожидания и самосознание гения.

Теперь, впервые провалившись на поставленном ему жизнью экзамене, он все чаще и глубже уходит в мир своих фантазий; здесь находил он убежище от того бессилия, которое с ранних лет испытывал перед отцом и учителями, здесь праздновал он свои одинокие победы над миром, населённым чужими ему людьми, и отсюда слал он свои первые проклятия и приговоры этому настроенному против него окружающему миру. Все, кто позднее будет вспоминать о нём, не преминут отметить его серьёзность, замкнутость и «испуганность». Поскольку у него не было конкретного занятия, то его занимало все, весь мир, который, как он считал, следует «изменить основательно и во всех его деталях»[85]. До поздней ночи сидит он над своими беспомощными проектами градостроительной переделки Линца, лихорадочно чертя планы театральных зданий, роскошных вилл, музеев и того моста через Дунай, который тридцать пять лет спустя он со злорадным удовлетворением заставит построить именно по планам, нарисованным им ещё подростком.

Он по-прежнему не способен к какому-либо систематическому труду и постоянно нуждается во все новых и новых занятиях, раздражителях, целях. Уступив его настояниям, мать покупает ему рояль, и какое-то время он берет уроки музыки. Но проходит всего четыре месяца, ему это надоедает, и занятия прекращаются. Единственным, кто более или менее долго

оставался другом его юности, был сын декоратора в Линце Август Кубицек, с которым Гитлера связывали мечты о музыке. На день рождения Гитлер «дарит» ему дом в стиле итальянского Ренессанса из мира своих мечтаний: «Он не видел разницы, говоря о чём-то готовом или о том, что ещё только планировал»[86]. Куплен лотерейный билет — и вот он уже на какое-то время переселяется в ирреальный мир и проживает там на третьем этаже барского дома (Линц-Урфар, Кирхенгассе, 2) с видом на другой берег Дуная. До тиража остаются ещё недели, а он уже подбирает обстановку, ищет мебель и обивку, рисует образцы и разворачивает перед другом планы своей жизни в гордом одиночестве и щедрой любви к искусству, такой жизни, которая должна будет опекаться «немолодой, уже немного поседевшей, но необыкновенно благородной дамой», и он уже видит, как она «на празднично освещённой лестнице» встречает гостей, «принадлежащих к одухотворённому, избранному кругу друзей». А потом наступит день тиража и развеет чуть или уже не осуществившуюся мечту, и Гитлер в припадке дикой ярости будет осыпать проклятиями не только собственное невезение, но и — что весьма характерно — ещё в большей степени легковерие людей, систему государственных лотерей и, наконец, само обманувшее его государство.

Говоря об этом времени, он даёт себе очень точное определение — «не от мира сего»[87], и, действительно, вся его жизнь концентрируется для него исключительно на себе самом. Кроме матери и наивно-восхищённого друга «Густля», служившего ему первым слушателем, сцена в эти важнейшие годы его юности остаётся пустой — оставив школу, он покинул, собственно говоря, и общество. Когда во время своих ежедневных прогулок по центру города Гитлер стал встречать девушку, постоянно проходившую в сопровождении своей матери в одно и то же время мимо кофейни «Шмидторэк», он воспылал, как вспоминает его друг, страстью, которая перешла вскоре в интенсивное романтическое переживание, сохранившееся на годы. И несмотря на это, он так и не заговорил с девушкой и не открыл ей своих чувств. Кое-что говорит за то, что дело тут было не только в природной застенчивости, но и в желании защитить мечту от действительности, не допустить низкую тьму реальности в царство фантазии. Если верить словам его друга, Гитлер адресовал своему идеалу «бесчисленные любовные стихи», в одном из этих стихотворений она предстала «девушкой из замка, скакавшей в развевающемся бархатном платье на белом иноходце по лугам, усеянным цветами. Распущенные волосы лились золотым потоком с её плеч. Ясное голубое небо любовалось ею. И

всё это было истинным, сияющим счастьем»[88].

И музыка Рихарда Вагнера, её патетическая возбуждённость, её режущий, ранящий тон, обладающий такой завораживающей силой, тоже, судя по всему, с тех пор, как он попал под её власть и чуть ли не каждый вечер бывал в опере, служила для него прежде всего средством гипнотического самоискушения, ибо ничто не отвечало так его стремлению бежать от действительности, ничто не способствовало так его желанию подняться над реальностью, как эта музыка. Характерно, что в это время он и в живописи любит как раз то, что было сродни этой музыке, — пышность Рубенса и его эпигона-декадента Ханса Макарта. Кубицек описывает экстатическую реакцию Гитлера после того, как они побывали на представлении оперы Вагнера «Риенци». Поражённый блестящей, полной драматизма музыкальностью этого произведения, равно как и захваченный судьбой Кола ди Риенцо — мятежника и народного трибуна из эпохи позднего Средневековья, одиноко и трагически гибнущего из-за того, что окружающий мир не понимает его, Гитлер уводит своего друга на гору Фрайнберг и, стоя над ночным тёмным Линцем, говорит и говорит. «Как скопившийся поток рвётся через трещание плотины, так и из него вырывались слова. В колоссальных, захватывающих картинах развивал он передо мной своё будущее и будущее своего народа». Когда друзья юности вновь встретятся спустя тридцать с лишним лет в Байрейте, Гитлер скажет: «В тот час это и началось!»[89].

В мае 1906 года Гитлер в первый, раз отправился в Вену, где он пробыл две недели. Его ослепил столичный блеск, великолепие Рингштрассе, подействовавшее на него «как волшебство из тысячи и одной ночи», музеи и, как написал он в одной из своих открыток, «могучее величие» Оперного театра. Он побывал в «Бургтеатре», а также на представлениях «Тристана» и «Летучего голландца». «Когда могучие волны звуков, — а завывание ветра уступают (!) ужасному рокоту волнующихся звуков, — то в этом ощущается возвышенное» — так писал он Кубицеку[90].

Неясным однако остаётся, почему, вернувшись из Вены, он ждал ещё полтора года, прежде чем снова отправился туда, чтобы попытаться поступить в академию изобразительных искусств. Может быть, сыграло свою роль сопротивление озабоченной и с января 1907 года уже очень тяжело больной матери, но главным тут было, пожалуй, то обстоятельство, что он сам боялся сделать шаг, который положит конец его беззаботному времяпрепровождению и вновь подчинит его учебному процессу. Ведь так он мог изо дня в день предаваться тому, чему хотел, —

мечтать, рисовать, гулять, читать глубоко за полночь или же, судя по звукам, доносившимся из его комнаты, часами без остановки ходить по ней туда-сюда. Не раз и не два назовёт он годы в Линце самым счастливым временем своей жизни, «прекрасным сном», картину которого лишь слегка замутняло сознание краха, случившегося в училище. В «Майн кампф» он описывает, как его отец когда-то отправился в город и поклялся «до тех пор не возвращаться в родную деревню, пока из него чего-нибудь не выйдет»[91].

С тем же девизом отправляется в путь в сентябре 1907 года и он. И как далеко бы не приходилось ему в последующие годы удаляться от его прежних планов и надежд, но желание вернуться в Линц победившим и оправданным, увидеть город в страхе, стыде и изумлении у своих ног и воплотить в действительность вчерашний «прекрасный сон» осталось у него на всю жизнь. Уже во время войны он будет нередко говорить, устало и нетерпеливо, о своём намерении удалиться на покой в Линц, создать там музей, слушать музыку, читать, писать, предаваться размышлениям. И всё это было не что иное, как всё та же его прежняя мечта о барском доме с необыкновенно благородной дамой и одухотворённым кругом друзей; эта мечта никуда не делась и продолжала волновать его. В марте 1945 года, когда Красная Армия уже стояла у ворот Берлина, Гитлер велел принести в бункер под имперской канцелярией планы перестройки Линца и, как рассказывают, долго стоял над ними с мечтательным выражением на лице[92].

Глава II
КРУШЕНИЕ МЕЧТЫ

Вы — идиот! Если бы я никогда в моей жизни не был фантазёром, то, где были бы Вы и где были бы все мы сегодня?

Адольф Гитлер

Вена в конце своей эпохи. — Кризис многонационального государства. — Оборонительные идеологии. — Страх немцев перед чужим засильем. — Антисемитизм. — Академия отказывает. — Смерть матери. — «Господин опекун, я отправляюсь в Вену!» — Прожекты, прожекты… — Новое фиаско. — Поворот спиной к буржуазному миру и потребность к кому-то прислониться.

Вена начала века — это европейская столица, сохранившая вековую славу и наследие веков. Блистая, возвышалась она над империей, раскинувшейся от нынешней России до самого края Балкан. Пятьдесят миллионов человек, представителей десятка разных народов и рас, — немцы, мадьяры, поляки, евреи, словенцы, хорваты, сербы, итальянцы, чехи, словаки, румыны и русины — были подвластны ей и объединялись ею. «Гениальностью этого города» было его умение смягчать противоречия, использовать очаги напряжённости, свойственные многонациональному государству, друг против друга и извлекать из этого свои дивиденды.

Все казалось тут долговечным. Император Франц Иосиф отметил в 1908 году шестидесятилетие своего правления и был как бы символом самого государства — его достоинства, его последовательности и его запоздалости. Позиция высшего дворянства, державшего в своих руках как политику, так и все общество в этой стране, также казалась непоколебимой, в то время как буржуазия, добившись богатства, так и не приобрела тут сколько-нибудь значительного влияния. Ещё не пришло время всеобщего, равного избирательного права, но мелкая буржуазия и рабочий класс этого бурно растущего промышленного и торгового центра испытывали уже все более возрастающий нажим

со стороны охаживающих их партий и демагогов.

И всё же, при всём своём современном виде и цветении, это был уже мир вчерашнего дня — мир сомнений, надломленности и глубоко засевшего в нём неверия в самого себя. Блеску, с которым в очередной раз расцвела Вена в начале века, были уже присущи краски заката, и все дорогостоящие празднества, без которых не обходилось ничто, даже литература, несли в своей основе ощущение того, что эпоха уже израсходовала всю свою жизненную силу и продолжает жить только внешне. Усталость, поражения и страхи, все более ужесточившиеся межнациональные свары и близорукость правящих кругов постепенно раскачивали это одряхлевшее, наполненное богатыми воспоминаниями здание. Да, внешне оно стояло ещё во всей своей мощи. Но нигде больше атмосфера прощания и изнурённости не ощущалась столь явственно, как здесь, в Вене. Другого, более блестящего и печального заката буржуазной эпохи история не знает.

Противоречия многонационального государства стали проявляться со все возрастающей остротой уже в конце XIX века, особенно же, когда в 1867 году Венгрия добилась значительных привилегий в результате знаменитого «уравнения прав». Обычно говорили, что австро-венгерская монархия — это горшок с многочисленными трещинами, перевязанный на скорую руку старой верёвкой. Вот и чехи уже требуют для своего языка равных прав с немцами, не утихают конфликты в Хорватии и Словении, а в год рождения Гитлера кронпринц Рудольф в Майерлинге, запутавшись в сетях политических и личных интриг, находит выход из ситуации в расчёте с жизнью; в начале века во Львове губернатора Галиции убивают прямо на улице, год от года растёт число уклоняющихся от военной службы; в Венском университете проходят студенческие демонстрации национальных меньшинств, на Ринге собираются под грязно-красными знамёнами колонны рабочих и проводят в городе мощные манифестации — все это были симптомы брожения и обессиливания во всех уголках империи, явственно говорившие о том, что Австрия вот-вот развалится. В 1905 году в немецкой и российской печати муссируются многочисленные слухи об имевших якобы место контактах между Берлином и Петербургом на предмет того, не пора ли уже заключать соглашения о территориальных приобретениях, на которые соседи и заинтересованные стороны могут рассчитывать после конца австрийской империи Эти слухи были столь интенсивными, что министерство иностранных дел в Берлине было вынуждено 29 ноября специально пригласить австрийского посла и успокаивать его[93].

Совершенно очевидно, что все позывы времени —

национализм и расовая избранность, социализм и парламентаризм — проявляли свою чреватую взрывом силу в этом с трудом балансировавшем государственном образовании особенно интенсивно. В парламенте страны давно уже не принималось ни одного закона без того, чтобы правительство не шло — во вред делу — на уступки отдельным группам. Немцы, составлявшие четверть всего населения, хотя и превосходили по своему образованию, уровню жизни и стандарту цивилизованности остальные народы империи, но их влияние, сколь бы сильным оно ни являлось, все же не было решающим. Политика одинаковых подачек ущемляла их как раз вследствие лояльности, которой от них ожидали, в той же степени, в коей она, эта политика, рассчитывала ублаготворить ненадёжные национальности.

К этому же добавлялось и то, что воспламенявшийся национализм отдельных народностей уже не встречал на своём пути традиционного хладнокровия уверенного в себе немецкого руководящего слоя. Напротив, нараставший, словно эпидемия, национализм охватил с особой силой сам этот слой, когда Австрия в 1866 году была удалена из германской политики. Битва при Кениггреце отвернула лицо Австрии от Германии, обратила его в сторону Балкан и свела роль немцев в их «собственном» государстве до положения меньшинства. И вот тут их отчаянное стремление к самоутверждению вылилось, с одной стороны, в упрёки по адресу монархии, которая, как они считали, в своей преимущественно славянофильской политике недооценивала опасностей враждебного немецкому народу засилья, а с другой — в становившееся все более безудержным возвеличивание своей породы: «немецкое» превращается уже в понятие с ярко выраженным этическим содержанием и с высокомерной претенциозностью противопоставляется всему чужому.

Конечно, проявившийся на почве реакций такого рода страх можно объяснить во всём его объёме только на фоне общего кризиса приспособления. В ходе безмолвной революции гибла старая, космополитическая, феодальная и крестьянская Европа, пережившая сама себя особенно анахронистическим образом как раз на территории австро-венгерской монархии, и связанные с этой гибелью потрясения и конфликты не пощадили никого. В первую же очередь угрозу себе ощущали буржуазные и мелкобуржуазные слои. Угроза эта исходила со всех сторон — от прогресса, от кошмарного роста городов, от техники, массового производства и концентрации в экономике. Грядущее, так долго бывшее сферой обнадёживающих личных и общественных утопий, становится, начиная с этого времени, для все более широких

слоёв категорией страха. В одной только Вене после отмены в 1859 году цехового устава за тридцать лет пошли с молотка около 40 000 ремесленных мастерских.

Такого рода тревоги порождали, разумеется, и многочисленные ответные движения, отражавшие потребность в бегстве от реальности. Главным образом это были защитные идеологии «фелькише» («народного») и расового толка, которые выдавали себя за учения, направленные на спасение гибнущего мира, и в которых с трудом осязаемое чувство страха концентрировалось в картинах, доступных любому и каждому.

В обострённой форме этот защитный комплекс проявился в антисемитизме, в котором сходились многие конкурировавшие между собой по другим вопросам партии и союзы, начиная от «пангерманцев» барона Георга фон Шенерера и «христианских социалистов» Карла Люгера. Уже в ходе экономического кризиса начала 70-х годов наблюдается всплеск антиеврейских настроений, проявлявшихся вновь и позднее, в связи с широким потоком переселенцев из Галиции, Венгрии и Буковины. И хотя эмансипация евреев шла весьма интенсивно, чему немало способствовало умиротворяющее и нивелирующее воздействие столицы Габсбургов, но именно по этой причине они и устремлялись во все большем количестве в эти либеральные зоны. Всего за какие-то полвека, с 1857 по 1910 год, их доля в населении Вены с двух с небольшим процентов возросла вчетверо и составила уже более восьми с половиной процентов — выше, чем в любом другом городе Центральной Европы. В отдельных районах Вены, например, в Леопольдштадте, они составляли до трети населения. Наряду с другими традициями быта, многие из них сохранили и свои одеяния. Фигуры в долгополых чёрных кафтанах и в высоких шляпах бросались в глаза на улице на каждом шагу и казались чужестранцами, пришедшими из какого-то таинственного мира и принёсшими с собой его ужасы.

Исторические обстоятельства отвели евреям определённые роли и занятия в экономике, что одновременно имело своим следствием отсутствие у них предрассудков и их мобильность. Ощущение угрозы и засилья вызывалось не только тем, что они непропорционально своему количеству вторгались в учёные профессии, оказывали доминирующее воздействие на прессу и завладели почти всеми крупными банками Вены и значительной частью её промышленности[94], — дело было ещё и в том, что их тип более точно отвечал свойственному крупным городам рационалистическому стилю времени, нежели тип представителей старой буржуазной Европы со всеми их традициями, сантиментами и отчаяниями, встречавших будущее

куда с большей робостью. Это ощущение угрозы особенно находило своё выражение в утверждении, будто евреи лишены корней в жизни, оказывают разлагающее, революционное влияние и для них нет ничего святого; при этом их «холодный разум» полемически противопоставлялся немецкой сердечности и немецкой духовности. Это представление подкреплялось ещё и тем обстоятельством, что многие евреи-интеллигенты со склонным к бунту и утопии темпераментом поколениями преследуемого меньшинства встали во главе рабочего движения, в результате чего и стала вскоре вырисовываться фатальная картина великого заговора с разделением ролей: как грядущий капитализм, так и грядущая революция пробуждали в среде перепуганных мелких ремесленников опасение, что евреи атакуют их мастерские и их буржуазный статус одновременно с двух сторон; к этому присоединялся ещё и расовый фактор. Книга Германа Альвардта с характерным названием «Отчаянная борьба арийских народов с еврейством», хотя и черпавшая материал своих «документальных данных» из немецких исторических и современных источников, была встречена в Берлине 90-х годов, несмотря на все модные антисемитские течения того времени, всего лишь как болезненная выходка какого-то аутсайдера; в Вене же эта фантазия захватила широкие слои.

Вот в этом городе и на этом фоне и провёл Гитлер свои последующие годы. Он приехал в Вену с самыми радужными надеждами, с жаждой грандиозных впечатлений и намерением благодаря финансовым средствам матери продолжать вести жизнь в том же изнеженном стиле последних лет, но уже в более изысканной, столичной обстановке. Не сомневался он и в своём призваний художника, более того, как он сам писал, в этом плане он испытывал «гордую уверенность»[95]. В октябре 1907 года он записывается на испытания по рисованию в академии на Шиллерплац, по всей вероятности даже не имея понятия, насколько высоки требования в этом прославленном учебном заведении. Правда, экзамен первого дня, когда отсеялись тридцать три из ста двенадцати претендентов, он выдерживает, но классификационный список следующего дня, содержащий общий результат, свидетельствует: «Не выдержали испытания по пробному рисунку и не допускаются к экзамену следующие господа: …Адольф Гитлер, Браунау/Инн, 20 апреля 1889 г., немец, католик, отец — старш. чиновник, 4 кл. реального уч-ща. Мало голов, пробный рис. неудовл.»

Удар был неожиданным и жестоким. Расстроенный до глубины души. Гитлер идёт на приём к директору академии, который советует ему заняться архитектурой, но в то же время

уверяет, что его рисунки свидетельствуют «безоговорочно о том, что он не способен стать художникам». Потом Гитлер назовёт все это «страшным ударом», «яркой молнией»[96], и, пожалуй, на самом деле, ему уже не придётся больше пережить такого резкого столкновения мечты и действительности. Отомстило за себя и то, что он бросил реальное училище — для изучения архитектуры требовалось получить аттестат зрелости. Но его неприязнь к школе и строгому учебному распорядку была столь велика, что ему даже не пришло в голову вернуться в школу. Уже взрослым человеком он назовёт такое условие получения образования «неслыханно тяжёлым», а экзамен на аттестат зрелости — непреодолимым барьером: «Так что по человеческим меркам моей мечте стать художником осуществиться было не суждено»[97].

Однако более вероятным представляется, что, потерпев столь сокрушительный провал, он просто боялся унизительного возвращения в Линц и особенно в своё прежнее училище, бывшее свидетелем его предыдущего, первого краха. Поэтому он в растерянности продолжает пребывать в Вене и даже, очевидно, не сообщает о том, что не выдержал вступительного экзамена. Однако он отнюдь не собирается менять свою жизнь в пансионе с прогулками по городу, посещением оперы и сидением над бесчисленными дилетантскими прожектами, высокопарно называемом им «штудированием», на какую-либо серьёзную деятельность. Даже когда болезнь матери резко обострилась и дело явно шло к её кончине, он так и не рискнул вернуться домой. Мать не без горечи говорила в те дни, что Адольф будет идти своим путём, невзирая ни на что, «как будто он один на всём свете». И только лишь узнав о её смерти, 21 декабря 1907 года, сын возвращается в Линц. Врач семьи, лечивший мать до последнего дня, говорил потом, что ему «не доводилось видеть когда-либо молодого человека, так увитого горем и печалью Сам же Гитлер говорит, что он плакал[98].

Теперь он и впрямь не только потерпел неожиданный провал, но и лишился какого бы то ни было прибежища, оказался предоставленным самому себе. И без того доминировавшая в нём склонность к индивидуализму и эгоизму получила теперь ещё больший импульс. Со смертью матери умерло и то, что как-то связывало его родственными узами с другими людьми (правда, однажды у него ещё оживёт чувство, которое — и это очень показательно — вновь будет обращено на одного из членов семьи).

Возможно, этот двойной шок только укрепил его в намерении вернуться назад в Вену. Но, наверное, тут сыграло свою роль и

желание скрыться от вопрошающих взглядов и непрошенных советов линцской родни. Кроме того, чтобы претендовать на выплату ему страховой пенсии как сироте, ему нужно было создать впечатление, будто он учится. Поэтому, как только были урегулированы все формальности и вопросы по наследству, он заявился к своему опекуну, бургомистру Майрхоферу, и, по свидетельству последнего, «чуть ли не угрожающе» и не вдаваясь в долгие разговоры, объявил: «Господин опекун, я отправляюсь в Вену!» И несколько дней спустя, в середине февраля 1908 года, он навсегда покидает Линц.

Свою новую надежду он возлагает на рекомендательное письмо. Магдалена Ханиш, владелица дома, в котором до самой своей смерти жила его мать, была знакома с Альфредом Роллером, одним из известнейших художников сцены того времени, заведовавшим декорациями в Придворной опере и преподававшим в Венском художественно-промышленном училище. В своём письме от 4 февраля 1908 года живущей в Вене матери Магдалена Ханиш просит её помочь Гитлеру попасть к Роллеру. «Это серьёзный, старательный молодой человек, — пишет она. — Ему 19 лет, он зрелый для своего возраста юноша, милый и стеснительный, из очень приличной семьи… У него твёрдое намерение научиться чему-то настоящему! Насколько я его сейчас знаю, он не „промотается“, потому что у него есть серьёзная цель перед глазами; я надеюсь, твои хлопоты будут ради достойного человека! Может быть, ты сделаешь доброе дело». Уже несколько дней спустя был получен ответ, что Роллер готов принять Гитлера, и домовладелица из Линца пишет благодарственное письмо своей матери: «Твои старания были бы вознаграждены, если бы ты увидела счастливое лицо этого молодого человека, когда я велела позвать его… Я дала ему твою открытку и разрешила прочитать письмо директора Роллера! Медленно, слово за словом, словно желая выучить письмо наизусть, с благоговением и счастливой улыбкой на устах, так читал он это письмо, молча, про себя. Потом он снова рассыпался в сердечных благодарностях передо мной. Он спросил меня, может ли он написать тебе, чтобы поблагодарить тебя».

Сохранилось и датированное двумя днями позже письмо Гитлера, написанное вымученным языком подражания витиеватому стилю чиновников имперских канцелярий: «Настоящим выражаю Вам, глубокоуважаемая милостивая государыня, за Ваши хлопоты по посредничеству в завязывании знакомства с великим мастером сценической декорации проф. Роллером, мою самую искреннюю благодарность. Возможно, это было несколько дерзко с моей стороны столь злоупотреблять

Вашей, милостивая государыня, добротой, ибо Вы были вынуждены делать это для совершенно незнакомого Вам человека. Но тем паче прошу Вас соблаговолить принять мою сердечнейшую благодарность за Ваши шаги, увенчанные успехом, равно как и за открытку, которая была передана мне столь любезно милостивой государыней. Я не премину сразу же использовать столь счастливую возможность. Примите ещё раз мою исполненную глубочайшего чувства благодарность, с почтением целую Вашу руку и подписуюсь — Адольф Гитлер»[99].

Ему казалось, что рекомендательное письмо уже открывает путь в мир его мечтаний — к жизни свободного художника, где, как в грандиозном призрачном мире оперы, соединяются музыка и живопись. Однако нет никаких сведений о том, как прошла его встреча с Роллером. Сам Гитлер об этом никогда не упоминал. Скорее всего, объект его восхищения просто посоветовал ему работать, учиться и осенью ещё раз попытаться поступить в академию. Последующие пять лет Гитлер потом назовёт самым печальным временем» своей жизни[100]. Но в определённом смысле это было и важнейшее для него время, ибо кризис, в котором он оказался, сформировал его характер и заставил его обрести те оставшиеся с ним навсегда, как бы окаменевшие формулы преодоления, которые и придали его постоянно мятущейся жизни одновременно черты оцепенелости. Одной из составных частей продолжающей ещё оказывать своё воздействие легенды, возведённой самим Гитлером над тщательно заметёнными им следами своей прошлой жизни, остаётся то, что главным и незабываемым испытанием тех лет явились для него «нужда и горькая действительность»: «Пять лет нужды и горя были уготованы мне этим городом-сибаритом. Пять лет, в течение которых мне пришлось зарабатывать себе на кусок хлеба, — сперва разнорабочим, а затем маленьким художником; это был поистине скудный кусок, и его никогда не хватало, чтобы утолить хотя бы привычный голод. А голод был тогда моим верным стражем, единственным, кто почти никогда не покидал меня»[101]. Однако точный подсчёт его доходов доказывает, что в начальный период его пребывания в Вене из причитавшейся ему части отцовского наследства, а также из наследства, оставленного матерью, и из страховой пенсии по сиротству, не считая его собственных заработков, складывалась ежемесячно сумма в 80-100 крон[102]. Это равнялось жалованию юриста в чине асессора, а то и превышало его.

Во второй половине февраля, поддавшись уговорам Гитлера, в Вену приезжает и Август Кубицек, который собирается поступить в консерваторию. Теперь они вместе снимают у старой

полячки Марии Закрейс «тоскливую и убогую» комнату в заднем строении дома № 29 на Штумпергассе. Но если Кубицек всецело отдаётся учёбе, то Гитлер продолжает вести бесцельную, неупорядоченную жизнь, к которой он уже так привык: «Я сам распоряжаюсь своим временем», — так высокомерно заявлял он. Спал он обычно до полудня, потом шёл гулять по улицам или по Шенбруннскому парку, заходил в музеи, а вечером отправлялся в оперный театр, где, как говорил впоследствии, с замиранием сердца слушал «Тристана и Изольду» — оперу, на которой он побывал в те годы раз тридцать или сорок, — либо какую-нибудь другую постановку. Затем его страстью становятся публичные библиотеки, где он с неразборчивостью самоучки читает то, что подсказывает ему настроение или сиюминутное желание, или же он стоит, погрузившись в свои мысли, перед роскошными строениями на Рингштрассе и мечтает о ещё более грандиозных постройках, которые когда-нибудь будет возводить он сам.

Своим фантазиям он предаётся с чуть ли не маниакальным интересом. До поздней ночи сидит он над прожектами, в которых его деловая некомпетентность соперничает с не терпящим возражений самомнением и нетерпимостью. «Если его что-то занимало, то он уже не мог оставить это в покое», — читаем мы. Решив, что кирпичи «для монументальных построек материал несолидный», он планирует снести и построить заново дворец Хофбург, проектирует театры, замки, выставочные залы, разрабатывает идею создания безалкогольного напитка для народа, ищет замену табакокурению, а то, вместе с планами реформы школьного обучения и нападками на домовладельцев и чиновников, составляет наброски некоего «немецкого идеального государства», где находят отражение его собственные печали, обиды и мелочные видения. Ничему не научившись и ничего не добившись, он тем не менее не терпит советов и ненавидит поучения. Не имея представления о ремесле композитора, он принимается осуществлять оставленную Рихардом Вагнером идею оперы «Виланд-кузнец», отдающей запахом крови и душком кровосмешения. Пробует он свои силы и как драматург — работает над пьесой на материале германских саг, а сам не может без ошибок написать слова «театр» и «идея». Иной раз он и рисует, но его маленькие, с тщательно прописанными деталями акварели совершенно не дают представления о том, что обуревает его на деле. И его товарищ по комнате тоже не знает, что в академию он так и не поступил. А на заданный как-то вопрос о том, чем он иной раз с таким увлечением занимается целыми днями, был получен ответ:»я работаю над разрешением проблемы нехватки жилья в Вене и провожу в этих целях кое-какие

исследования»[103].

Несомненно, в этом поведении, несмотря на все элементы причудливого напряжения и голого фантазирования, скорее даже именно благодаря им, уже распознается будущий Гитлер. Есть его собственное замечание, указывающее на взаимосвязь, существующую между его жаждой исправить мир и его взлётом; точно так же и в своеобразном сочетании летаргии и напряжения, флегмы и сходной с припадками активности проглядывают его будущие черты. Не без обеспокоенности отмечал Кубицек. у Гитлера внезапные приступы ярости и отчаяния, множественность и интенсивность проявлений агрессии, равно как и его поистине безграничной способности ненавидеть. Кубицек неудачно замечает, что в Вене его друг «совсем вышел из равновесия». Зачастую состояние экзальтированной возбуждённости резко сменяется у Гитлера приступами глубокой депрессии, когда он видит «только несправедливость, ненависть и вражду» и выступает «сиротливо и одиноко против всего человечества, которое его не поняло и не Оценило, обманывало и преследовало» и повсюду расставило «силки» «с одной лишь единственной целью — помешать его восхождению вверх»[104].

В сентябре 1908 года Гитлер ещё раз предпринимает попытку поступить в академию в класс живописи. Но на этот раз, как это отмечается в списке претендентов под номером 24, он уже просто «не допущен к экзамену», поскольку поданные предварительно работы не соответствовали экзаменационным требованиям[105].

Этот новый, совсем уже недвусмысленный отказ, думается, ещё больше углубил и усилил прошлогоднюю обиду. О том, насколько глубока была эта ноющая рана, свидетельствует сохранившаяся у него на всю жизнь ненависть к училищам и академиям, которые не сумели оценить «Бисмарка и Вагнера тоже» и не приняли Ансельма Фейербаха, и в которых учатся одни лишь «сосиски» и всё устроено так, «чтобы убить любого гения», — такого рода пышущие злобой тирады можно будет услышать от него тридцать пять лет спустя в его ставке; в них он, фюрер и полководец, не щадил даже бедных сельских учителей прошлого с их «грязной» внешностью, «засаленными воротничками, неопрятными бородами и т. п.»[106]. В своей потребности самооправдания он неустанно ищет всякого рода смягчающие обстоятельства для этой «никогда не заживающей раны»: «Я ведь не был ребёнком зажиточных родителей, — напишет он, например, в „Открытом письме“ по поводу кризиса в партии в начале 30-х годов, словно у него были все причины сетовать на несправедливую судьбу, — не кончал университетов, а прошёл суровейшую школу жизни, нужду и нищету. Ведь

поверхностный мир никогда не спрашивает о том, чему человек учился…. а, к сожалению, чаще всего о том, что он может удостоверить аттестатом. На то, что я научился большему, нежели десятки тысяч наших интеллигентов, никогда не обращали внимания, а видели только, что у меня не было аттестатов»[107].

Униженный и, несомненно, уязвлённый до глубины души, Гитлер после этого нового своего крушения как бы отвернулся от всех людей. Его сводная сестра Ангела, вышедшая замуж за жителя Вены, больше о нём ничего не слышала, а опекун получил как-то от него одну-единственную немногословную открытку; в это же время оборвалась и его дружба с Кубицеком — Гитлер воспользовался его недолгим отсутствием в Вене и, недолго думая и не оставив даже никакой записки, съехал с их общей квартиры, чтобы затеряться в этом городе, в темноте его ночлежек и мужских общежитий. Кубицек встретится с ним только тридцать лет спустя.

Поначалу Гитлер снимал жильё неподалёку от Штумпергассе, в 15-м городском районе, на Фельберштрассе, 22, квартира 16; и именно отсюда началось его первое более близкое знакомство с миром тех идей и представлений, которые сформировали тёмные стороны его существа и придали общее направление его пути. Это потом он будет интерпретировать своё крушение прежде всего как доказательство силы своего характера, раннее проявление непонятой миром гениальности, сейчас же, чтобы оправдаться в собственных глазах, ему нужно было увидеть конкретные причины и осязаемых противников.

Спонтанно чувство Гитлера обратилось против буржуазного мира, о чьи нормы оценок, о чью суровость и взыскательность он споткнулся, хотя и ощущал по своим склонностям и общему сознанию свою принадлежность к нему. И та ожесточённость, с которой он теперь стал относиться к этому миру и которая потом найдёт своё выражение в поистине необозримом множестве его высказываний, составляет один из парадоксов его жизни. Она одновременно и питалась и ограничивалась страхом перед социальной деградацией, перед отчетливейшим образом воспринимавшейся угрозой пролетаризации. С откровенностью, которую трудно было от него ожидать, напишет он в «Майн кампф» об обусловленной повседневной жизнью «враждебности мелкого буржуа по отношению к рабочему классу», захватившей и его самого и оправдывавшейся боязнью «снова опуститься назад в это прежнее, малопочтенное сословие или, по меньшей мере, быть причисленным к нему»[108]. Правда, он ещё располагал кое-

какими средствами из родительского наследства и получал к тому же ежемесячные вспомоществования, но неопределённость его личного будущего все же угнетала его. Он по-прежнему тщательно одевался, посещал оперу, городские театры и кофейни и, как он потом сам скажет, благодаря своей речи и корректному виду умел произвести в глазах привилегированного сословия впечатление человека из буржуазных кругов. Одной из его соседок, как и многим, кто встречался с ним в те дни и вспоминал об этом впоследствии, бросалось в глаза его вежливое и в то же время необыкновенно застенчивое поведение. Если верить другому, правда, довольно сомнительному источнику о годах его жизни в Вене, он носил в кармане конверт с фотографиями отца в парадном мундире и, показывая их, гордо говорил, что «покойный батюшка ушёл на пенсию с поста старшего чиновника таможни его императорского и королевского величества»[109].

Вопреки всей поздней мятежной риторике такое поведение раскрывало его подлинную сущность, состоявшую в потребности в самоутверждении и принадлежности к определённому кругу, что и является главной потребностью буржуа. В этом свете следует рассматривать и его утверждение, будто бы уже с ранних лет он был «революционером в искусстве и политике»[110]. В действительности же этот двадцатилетний молодой человек не только никогда не ставил под сомнение мир буржуазии с его ценностными представлениями, но и с нескрываемым почтением и восторгом перед его блеском и его богатством впитывал его в себя — мечтательный сын чиновника из Линца жаждал восхищаться этим миром, а не низвергать его, и искал скорее своей сопричастности к нему, нежели его отрицания.

Это была его неотложная потребность. И одной из примечательнейших особенностей на протяжении всей этой во многом странной жизни было то, что у Гитлера, вопреки всем его горьким обидам, остракизм буржуазного мира, напротив, усилил его тягу к тому, чтобы этот мир признал его. Ожесточённые обличения показного буржуазного мира, эхом отзывавшиеся в Европе в течение почти двух десятков лет, предоставляли ему не единожды повод дать выход пережитому им унижению, подвергнув этот строй социальной критике, и отомстить ему, устроив над ним суд, — однако, вместо этого, он, отринутый им, но сохранивший ему преданность, молча держался в стороне. Свойственное времени настроение тотального срывания всех и всяческих масок, превратившееся даже в чём-то в моду, не захватило его, и вообще в нём погибли вся художественная эмоциональность и весь идейный спор эпохи, равно как и её

интеллектуальный авантюризм.

Австрийская столица первых лет нашего столетия была одним из центров этого порыва, но Гитлер не осознал его. Эмоциональный и принуждаемый обстоятельствами к протесту, этот молодой человек, для которого музыка в годы его юности служила великим средством освобождения, не имел ни малейшего представления о Шёнберге и «величайшем в истории человечества мятеже… в концертных залах Вены», устроенном этим композитором вместе с его учениками Антоном фон Веберном и Альбаном Бергом во время пребывания в Вене, и даже о Густаве Малере или Рихарде Штраусе, чьи произведения показались в 1907 году одному из критиков «эпицентром урагана в музыкальном мире», — вместо этого он, упиваясь Вагнером и Брукнером, шёл по стопам поколения отцов. Кубицек пишет, что такие имена, как Рильке, чей «Часослов» вышел в 1905 году, или Хофмансталь, до них «не дошли»[111]. И хотя Гитлер поступал в академию живописи, его нисколько не затронуло то, что было связано с сецессионистами[112], равно как и сенсации, произведённые Густавом Климтом, Эгоном Шиле или Оскаром Кокошкой, — его художественный вкус вдохновлялся теми же именами, что и у прошлого поколения, и он восхищался Ансельмом Фейербахом, Фердинандом Вальдмюллером» Карлом Ротманом, Рудольфом фон Альтом… Будущий архитектор с заносчивыми планами, он, по его собственному признанию, мог, как зачарованный, часами простаивать перед зданиями на Рингштрассе с их фасадами стиля классицизма или нового барокко и даже не подозревал о соседстве с революционными творцами новой архитектуры — Отто Вагнером, Йозефом Хофманом, а также Адольфом Лоосом, который своим гладким, лишённым каких-либо украшений фасадом делового здания на Михаелерплац, прямо напротив одного из барочных порталов Хофбурга, вызвал в 1911 году ожесточеннейшие споры и в своей скандально известной статье заявил о существовании внутренней связи между «орнаментом и преступлением». Нет, столь же наивный, сколь и непоколебимый энтузиазм Гитлера вызывал стиль почтенный, принятый в венских салонах и гостиных. Спокойно проходил он мимо симптомов беспокойства и поиска в искусстве, гул эпохи, переживавшей, как никогда прежде, «такую плотную череду художественных революций», до него не доносился. Скорее ему даже казалось, будто ощущается какая-то тенденция к умалению величественного, прорыв, как он писал, чего-то чуждого и неизвестного, что заставляло вздрагивать его всеми фибрами души буржуа[113].

Нечто схожее — и это тоже весьма характерно — можно

сказать и об одной из его первых встреч с политической реальностью. И опять, несмотря на все его чувства протеста, революционные идеи не оказывали на него никакого притягательного воздействия, опять он в большей степени проявлял себя парадоксальным сторонником апробированного, человеком, защищавшим тот строй, который он одновременно хулил. В то время как изгой посвящает себя делу изгоев, он как бы утаил унижение — за этой психологической механикой и скрыта одна из линий излома в характере Гитлера. Сам он рассказывал, будто, работая на стройке, он во время обеденного перерыва «в стороне от всех» выпивал свою бутылку молока, закусывая куском хлеба, и его «чрезвычайно» раздражали негативные критические настроения рабочих: «Они отрицали буквально все: нацию — как выдумку „капиталистических“… классов, отечество — как инструмент буржуазии в деле эксплуатации рабочего класса, авторитет закона — как средство подавления пролетариата, школу — как институт выращивания рабов, равно как и рабовладельцев, религию — как средство оглупления приговорённого к эксплуатации народа, мораль — как символ тупого бараньего терпения, и т. д. Тут не было ну абсолютно ничего, что не засасывало бы так в грязь этой страшной трясины»[114].

Весьма примечательно, что защищавшийся им от рабочих-строителей понятийный ряд — нация, отечество, авторитет закона, школа, религия и мораль — содержат почти полный набор норм буржуазного общества, по отношению к которому сам он как раз в это время испытывает первые враждебные чувства; вот эта раздвоенность отношения и будет проявляться вновь и вновь в ходе его жизни на самых разных уровнях — в политической тактике постоянного поиска союза с презираемой буржуазией, точно так же как и в не лишённом, конечно, комических черт формальном ритуале, вынуждавшем его, к примеру, здороваясь, целовать ручки у своих секретарш или угощать их в час послеполуденного чая в ставке пирожными с кремом, — при всех своих антибуржуазных выпадах он, словно король-провинциал, демонстрировал черты человека «старой школы». Эти черты являлись средством продемонстрировать свою столь желанную социальную принадлежность, и если что-то вообще выдавало в облике молодого Гитлера собственно австрийские черты, так это было именно то иерархическое сознание, с которым он защищал свою привилегию быть буржуа. Живя внутри общества с утрированным чинопочитанием, выдававшим стремление придать любому человеку и любому занятию определённый социальный ранг, он желал, вопреки всей

скудности существования в мире меблированных комнат, все же оставаться «барином» — именно этот мотив, и никакой иной, и был причиной того, что он не нашёл пути к оппозиционным силам ни в искусстве, ни в политике. И не одно только его внешнее поведение — скажем, речь или одежда, — но и все его идеологические и эстетические взгляды объясняются стремлением и самому соответствовать этому безоговорочно принимаемому буржуазному миру, даже со всеми теневыми сторонами последнего. Социальное неуважение было для Гитлера намного тягостнее, нежели социальная нищета, и если он и впадал в отчаяние, то страдал он не из-за отсутствия порядка в этом мире, а из-за той недостаточной роли, которая выпала в нём на его долю.

Потому-то он страшился любых антагонизмов и искал, к чему бы ему прислониться и с чем согласиться. Словно ослеплённый величием и чарами столицы, отчаянно стучась в запертые ворота, он не был революционером, он был только одиноким человеком. И казалось, что никто так мало не соответствовал роли мятежника и так плохо подходил на неё, как он.

Глава III
ГРАНИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Фанатизм — это и есть та единственная «сила воли», которую можно придать слабым и неуверенным в себе.

Фридрих Ницше

Ланц фон Либенфельс. — Идейная среда ранних лет. — Два года душевных борений. — Поворот к «фанатическому антисемитизму». — Барон Георг фон Шенерер и Карл Люгер. — Богемский национал-социализм. — Мужское общежитие. — В компании с Ханишем. — Гитлер и Рихард Вагнер. — Романтическая «Королевская дорога». — «Братец Гитлер». — Театральное отношение к миру. — Ссора с Ханишем. — Социал-дарвинизм. — Гобино и Чемберлен. — И снова Рихард Вагнер. — Мечты и реальность.

На Фельберштрассе, неподалёку от того места, где он жил, находилась, как это было потом установлено, табачная фабрика, на которой распространяли некий журнал, посвящённый расовым проблемам. Журнал имел тираж, доходивший до ста тысяч экземпляров, и распространялся преимущественно среди студентов и лиц с высшим образованием. «Вы блондин? Значит, вы творец и защитник культуры! Вы блондин? Значит, вам грозят опасности! Поэтому читайте „Библиотеку защитников прав белокурого человека!“ — такая реклама кричала огромными буквами с обложки. Издавался этот журнал бывшим монахом с претенциозной дворянской фамилией Йорг Ланц фон Либенфельс, назывался по имени германской богини весны Остары и проповедовал столь же причудливое, сколь убийственное учение о борьбе „азингов“ (или „хельдлингов“) с „аффлингами“ (или „шреттлингами“). Из своего замка Верфенштайн в Нижней Австрии, приобрести который ему помогли его покровители из среды промышленников, Ланц призывал учредить и организовать ариогероический мужской орден — передовой отряд белокурой и голубоглазой расы господ в грядущем кровавом противоборстве с неполноценными

смешанными расами. Подняв над замком уже в 1907 году знамя с изображением свастики, он обещал ответить на социалистическую классовую борьбу расовой борьбой „вплоть до применения ножа для кастрирования“ и призывал „во имя уничтожения человека-зверя и развития более высокого типа нового человека“ возвести в систему методы отбора и истребления. Делу планомерного искусственного отбора и расовой гигиены служила программа мер по стерилизации, депортированию в „обезьяний лес“, а также по ликвидации путём принудительного труда и убийства: «Принесите жертву Фрейру[115], о сыны богов, — возглашал Ланц в трансе. — Вперёд же, и принесите ему в жертву детей шреттлингов!» В целях популяризации арийского идеала он предлагал проводить расовые конкурсы красоты. Гитлер побывал как-то у Ланца, потому что у него, как объяснял потом этот визит Ланц, отсутствовали кое-какие старые номера журнала. Оставшееся от него впечатление — молодой, бледный, скромный[116].

Анализ имеющегося материала не позволяет сделать вывод о том, что Ланц оказал на Гитлера сколь-нибудь значительное влияние, не говоря уже о том, что якобы именно он «дал ему идеи». Значение этого скорее шутоватого «основателя ордена» состоит вообще не столько в каких-то конкретных импульсах с его стороны или же в его посреднических акциях, сколько в симптоматическом ранге его как явления — он был одним из наиболее ярких выразителей невротического духа времени и внёс в гнетущую, насыщенную самыми причудливыми фантазиями атмосферу Вены тех лет определённую характерную окраску. Этим и объясняется, и одновременно ограничивается оказанное им влияние на Гитлера — он не столько содействовал формированию идеологии последнего, сколько той патологии, что легла в её основу.

Из этих и иных влияний, из газетных писаний и бульварных брошюрок, которые сам Гитлер назовёт потом источниками своих познаний в молодые годы, делается вывод о том, что его картина мира явилась якобы продуктом некой извращённой субкультуры, антагонистичной культуре буржуазной. Действительно, в его идеологии то и дело проступает плебейское расхождение с буржуазной нравственностью, буржуазным гуманизмом. Однако дилемма тут состояла в том, что эта культура уже была изъедена ржавчиной своей субкультуры и давно уже пришла к оболганию и отрицанию всего того, на чём она держалась, или, если сформулировать иначе, та субкультура, которую встретил Гитлер в лице Ланца фон Либенфельса и других явлений в Вене на грани

прошлого и нынешнего веков, не была, строго говоря, в понятийном смысле отрицанием господствовавшей системы ценностей, а являлась лишь её деградировавшим отражением. Куда бы ни бросался он в своём стремлении прорваться в мир буржуазии, он повсюду натыкался на те же самые представления, комплексы и панические настроения, что и в грошовых брошюрах, только в более сублимированной и более претенциозной форме. Ему не нужно было отказываться ни от одной из тех тривиальных мыслей, что с самого начала помогали ему ориентироваться в мире, ничто из того, о чём он с благоговейным изумлением узнавал из речей влиятельных столичных политиков, не было для него новым, и, слушая на балконе оперного театра произведения самых прославленных и наиболее часто исполняемых композиторов своей эпохи, он встречался лишь с артистическим выражением заурядно привычного. А Ланц, номера «Остары» и пошлые наукообразные трактаты всего лишь приоткрывали ему чёрный ход в то общество, куда он так стремился. Но так или иначе, это был все же вход.

Потребность в легитимации и закреплении своей принадлежности к обществу лежала и в основе его первых, пока ещё делавшихся ощупью попыток придать своим чувствам неприязни и зависти некие идеологические очертания. С болезненно утрированным, эгоистическим ощущением того, что ему вот-вот угрожает сползание на социальное дно, он жадно перенимает предрассудки, лозунги, страхи и амбиции венского светского общества, в том числе и антисемитизм, и те расовые теории, в коих, как в зеркале, отражались и все беспокойства зажатого в рамки немецкого народного духа, и враждебное отношение к социалистам, и взгляды так называемого социал-дарвинизма — и все это снизу доверху было пронизано духом обострённого национализма. Это были мысли, действительно, имевшие власть, и, усваивая их, он стремился приблизиться к мыслям власть имущих.

Вопреки этому Гитлер потом всегда старался представить своё миропонимание как результат своего личного опыта и раздумий, своей проницательности и активной работы мысли. Пытаясь отрицать наличие каких-либо влияний на себя, он потом даже будет утверждать, будто изначально был лишён каких бы то ни было предрассудков, и обрисует, например, то отвращение, которое вызывали у него ещё в годы жизни в Линце «неблагоприятные высказывания» о евреях. Однако более вероятным представляется — и это подтверждается различными свидетельствами, — что уже хотя бы начало и ориентиры его миропонимания были заложены в идеологической среде этой

столицы земли Верхняя Австрия.

Дело в том, что на перекрёстке веков Линц не только был одним из центров националистических групп и настроений, но и средоточием — и это имело место и в реальном училище, где учился Гитлер, — насыщенной национальным духом атмосферы. Ученики демонстративно носили в петлицах голубые васильки, как немецкий народный символ, любили использовать черно-красно-золотые цвета движения за немецкое национальное единство, приветствовали друг друга немецким «Хайль!» и вместо габсбургского имперского гимна пели звучавшую на ту же мелодию «Песню о Германии»; их оппозиционный национализм обращался главным образом против династии и даже выражался в сопротивлении школьным богослужениям и процессиям в день праздника тела Христова, чем они демонстрировали свою солидарность с «протестантским» рейхом. Под аплодисменты соучеников Гитлер, как расскажет он потом за столом уже во время войны, доводил своими вольнодумными высказываниями преподавателя закона божия Залеся Шварца порой «до такого отчаяния, что тот часто не знал, что и делать»[117].

Выразителем этих настроений был проникнутый немецко-национальным духом муниципальный советник и преподаватель истории д-р Леопольд Печ. По-видимому, он произвёл на Гитлера большое впечатление как своим красноречием, так и олеографиями старых времён, которыми он иллюстрировал свои уроки и давал направления фантазии своих воспитанников. Правда, посвящённые ему страницы в «Майн кампф» не свободны от позднейших измышлений, поскольку известно, что последней оценкой Гитлера по истории было «удовлетворительно», но вот страхи жителя приграничной области, недовольство дунайской монархией с её мешаниной народов и рас, как и основополагающая антисемитская ориентация, несомненно, родом именно оттуда. Вероятно, доводилось ему и читать сатирический по своей направленности журнал движения Шенерера «Дер Шерер[118]. Иллюстрированный тирольский ежемесячник политики и настроений в искусстве и жизни», как раз в те годы выходивший в Линце. Журнал этот своими статьями и злыми карикатурами выступал против «римлян» (т. е. католиков — ред.), евреев и парламента, эмансипации женщин, упадка нравов и алкоголизма. Уже в самом первом номере в мае 1899 года в нём появляется репродукция свастики, на глазах превратившейся в культовый символ пронемецких настроений (правда, здесь она описывается как тот «возбудитель огня», который, согласно германской мифологии, взболтал первичную материю при сотворении мира). Представляется, далее,

доказанным, что молодой Гитлер и в свои школьные, и в последующие, лишённые цели годы читал и «Алльдойчес тагеблатт», и популярный в среде национально настроенной немецкой буржуазии «Бисмарковский календарь», равно как и общенемецкие и агрессивно-антисемитские «Линцер флигенде блеттер»; таким образом, будучи одним из побочных феноменов политических и социальных изменений, антисемитизм отнюдь не был присущ, как это хотел было представить автор «Майн кампф», одной только Вене — с неменьшей силой он проявлялся и в провинции[119].

То, что Гитлер опишет потом как продолжавшуюся в течение двух лет «душевную борьбу», как его, пожалуй, «самый трудный перелом вообще», в ходе которого его чувство якобы «ещё тысячи раз» противилось неумолимому разуму, прежде чем произошёл поворот «от хилого космополита к фанатичному антисемиту», было всего лишь переходом от неясно ощущавшейся неприязни к сознательной вражде, от инстинктивного настроения к идеологии. И бывший до того скорее идиллическим, готовым к соседским компромиссам антисемитизм линцского окружения обрёл при этом принципиальную остроту, универсальный размах, равно как и наглядность образа конкретного врага. И домашний врач его родителей еврей д-р Эдуард Блох, которому Гитлер сперва передавал из Вены приветы с «преданнейшей благодарностью», и адвокат д-р Йозеф Файнгольд, и изготовлявший рамки для картин столяр Моргенштерн, которые не раз покупали у него его маленькие акварели с напоминавшими почтовые открытки видами и тем самым стимулировали в нём художника, и, например, бывший одно время его соседом по мужскому общежитию еврей Нойман, которому, как высокопарно говорил Гитлер, он был так многим обязан, — все эти люди, чьи очертания, порой довольно схематичные, появляются на обочине его начального пути, начинают в ходе этого многолетнего процесса уходить в глубину сцены. На их месте появляется, все более материализуясь, та вырастающая в мифологический призрак «фигура в длинном кафтане и с пейсами», которая бросилась ему в глаза своим уродством, когда он «однажды вот так брёл по центру города». Вспоминая об этом, он говорил, что эта случайная встреча врезалась в его память, «перевернула» что-то в его мозгах и постепенно стала превращаться в идею фикс, подчинившую себе всё остальное:

> «С тех пор, как я начал заниматься этим вопросом и впервые обратил внимание на еврея, и Вена предстала передо мной совсем в ином свете, нежели прежде. Куда

> бы я ни шёл, я всюду видел теперь евреев, и чем больше я их видел, тем острее глаз выделял их из остальных людей. Центр города и районы севернее Дунайского канала буквально кишмя кишели народом, который уже по внешнему виду не имел никакого сходства с немецким… Все это уже никак не могло выглядеть привлекательным; но надо было стать изгоем, чтобы помимо физической нечистоплотности открыть и нравственные грязные пятна этого избранного народа. Была ли хоть одна гнусность, хоть одно бесстыдство в любой форме, и прежде всего в культурной жизни, в которой не был бы замешан по меньшей мере хоть один еврей? Как только со всей осторожностью вскрывали такую опухоль, то находили в гниющей плоти, как личинку, что начинает корчиться на свету, какого-нибудь жиденка… Постепенно я начинал ненавидеть их»[120].

Наверное, определяющей причины поворота от житейского антисемитизма линцских годов к маниакально умножавшейся, безудержной и сохранившейся буквально до последнего часа его жизни ненависти выявить уже невозможно. Один из сомнительных приятелей Гитлера тех лет объяснял эту ненависть обострённой сексуальной завистью опустившегося сына буржуазных родителей и сообщал подробности, в которых некая белокурая женщина, его соперник, наполовину еврей, и предпринятая Гитлером попытка изнасилования натурщицы играют столь же гротесковую, сколь и банально убедительную роль[121]. И не только изначальное, удивительно непостоянное и колеблющееся между идеальной возвышенностью и тёмными чувствами страха представление Гитлера об отношениях полов придаёт кое-какой вес предположению о наличии тут сексуально-патологических отклонений — его подкрепляет так же и способ выражения аргументации, когда впоследствии в поле зрения Гитлера будет оказываться фигура еврея. Сам дух обнажённой непристойности, неизменно идущий с тех страниц его книги «Майн кампф», на которых он пытается облечь в слова своё отвращение, не является, разумеется, каким-то случайным внешним признаком, всего лишь воспоминанием о тоне и стиле журнала «Остара» или бульварных брошюрок, которым он обязан озарениями своей молодости, — в значительно большей мере тут выражается специфическая природа его неосознанной зависти.

После войны был опубликован исходивший от окружения Гитлера обширный список его любовниц, где — что весьма показательно — есть и красавица-еврейка из одной зажиточной

семьи. И всё же более правдоподобным представляется утверждение, что ни в Линце, ни в Вене у него не было «настоящей встречи с какой-нибудь девушкой» и уж, во всяком случае, ему не довелось пережить страсть, которая могла бы освободить его от его театральной зацикленности на самом себе.

Об этом дефиците наглядно свидетельствуют и его сны, наполненные, по его собственному признанию, «кошмарными видениями совращения сотен и тысяч девушек омерзительными, кривоногими еврейскими выродками». Ещё Ланца мучила постоянно представавшая перед его глазами страшная картина благородных белокурых женщин в руках косматых, темноволосых совратителей. Его расовая теория была, пронизана комплексами сексуальной зависти и подспудным антифеминизмом: женщина, утверждает он, принесла грех в этот мир, и её податливость сладострастным уловкам недочеловеков есть главная причина заражения нордической крови. Подобное маниакальное представление, в котором проявились все беды запоздалой и заторможенной мужской сексуальности, будут запечатлены и Гитлером в точно такой же картине: «Черноволосый молодой еврей часами поджидает с сатанинской радостью на своём лице ничего не подозревающую девушку, которую он осквернит своей кровью и похитит у её народа», — тут, как и там, возникает душный, пошлый мир представлений неудовлетворённого мечтателя наяву, и кое-что говорит за то, что на удивление ядовитые испарения, столь обильно испускаемые почвой национал-социалистического мировоззрения, можно объяснить феноменом подавляемой сексуальности внутри буржуазного мира[122].

Друг юности Кубицек и другие сотоварищи Гитлера из тусклой полутьмы венского дна свидетельствуют, что он уже с раннего утра бывал на ножах со всеми и испытывал ненависть ко всему, что его окружало. Поэтому вполне резонно полагать, что его антисемитизм явился сфокусированной формой ненависти, бушевавшей до того впотьмах и нашедшей, наконец, свой объект в еврее. В «Майн кампф» Гитлер напишет, что нельзя указывать массе больше, чем на одного врага, потому что перед лицом нескольких врагов она теряется, и точно подмечено, что этот принцип более всего относился к нему самому: он всегда с максимальной интенсивностью концентрировал всю свою ярость именно на том одном явлении, в котором изначально сосредоточивалось для него вселенское зло, и всегда это была какая-то конкретно представляемая фигура, на которую его ярость и изливалась, но никогда — трудно распутываемый клубок причин[123].

Однако, если сегодня уже невозможно однозначно назвать мотив, который бы объяснил всеподавляющую природу антиеврейского комплекса молодого Гитлера, все же, в общем и целом, можно исходить из того, что речь тут идёт о политизации личной проблематики столь же честолюбивого, сколь и отчаявшегося аутсайдера — ведь шаг за шагом он опускался все ниже и ниже и поэтому был вынужден идти на поводу своих страхов перед угрозой превращения в люмпена. И при виде еврея он, «бедолага», старался убеждать себя, что законы истории, как и природы, на его стороне. Между прочим, по собственному признанию Гитлера, его поворот к антисемитской идеологии произошёл тогда, когда от родительского наследства уже ничего не осталось и он оказался не то, чтобы в беспросветной нужде, но всё же в достаточно стеснённых обстоятельствах и опустился в социальном плане куда ниже, чем когда-либо мог это предполагать в своих страстных мечтах о художественном творчестве, гениальности и восторгах публики.

А Вена, та немецкая буржуазная Вена начала века, к которой обращался он, требуя признания своего социального статуса, жила под знаком трех доминировавших явлений: в политическом отношении на неё оказывали влияние барон Георг фон Шенерер и Карл Люгер, а в причудливо разукрашенном политическом и художественном промежутке между ними, получившем столь определяющее значение для пути Гитлера, самодержавно царил Рихард Вагнер. Вот эти три фигуры и были ключевыми в годы его формирования.

Рассказывают, что в Вене Гитлер был «сторонником и поклонником» барона Георга фон Шенерера, и над его постелью висели в рамках афоризмы этого деятеля: «Без иудейской и римской мании поднимайся, собор Германии! Хайль!» — так звучал один из них, в то время как другой выражал сокровенное желание австрийских немцев воссоединиться с Отечеством по ту сторону границы[124], и эти две максимы уже формулировали в общедоступном виде главнейшие элементы Пангерманского движения фон Шенерера, которое, в отличие от одноимённого союза в самой Германии, не преследовало целей империалистической экспансии под лозунгом «германской мировой политики», а работало на объединение немцев в едином государственном альянсе. Подчёркнуто расходясь с Пангерманским союзом, Пангерманское движение выступало за отказ от не населённых немцами областей дунайской монархии, как и вообще против существования многонационального государства.

Основатель и вождь этого движения, барон Георг фон Шенерер, владелец поместья в том самом покрытом лесом районе, откуда была родом и семья Гитлера, начинал свою карьеру демократом-радикалом, но затем все в большей степени стал подчинять идеи социальных реформ крайнему национализму. Словно будучи одержимым комплексом инородческого засилья, он во всём и повсюду видел угрозу проповедуемому им немецкому духу — как со стороны евреев, так и со стороны католического Рима, со стороны габсбургской монархии и со стороны любой формы интернационализма. Свои письма он заканчивал фразой «С немецким приветом!», предпринимал все, что только было возможно, для возрождения немецких обычаев и рекомендовал начинать германское летоисчисление со 113-го года до Рождества Христова — с битвы у Норейи, в которой кимвры и тевтоны разгромили римские легионы.

Шенерер был отчаянным, принципиальным и ожесточённым человеком. В ответ на терпимое отношение к другим национальностям со стороны низшего славянского клира он организовал движение «Прочь от Рима!», восстановив тем самым против себя католическую церковь, и впервые придал вражде к евреям, носившей до того в Европе преимущественно религиозный или экономический характер, сознательный поворот к политико-социальному и находившему уже преимущественно биологическое обоснование антисемитизму. Демагог с ярко выраженным чутьём к бесподобно воздействующему примитивному, он организовал сопротивление любым тенденциям ассимиляции под девизом «На помощь веру не зови, когда порок в самой крови». И не вследствие мономании своего взгляда на евреев как на движущую силу всех бед и страхов этого мира, а именно вследствие радикальности своего вызова он и стал одним из примеров для Гитлера. В индифферентной и терпимой атмосфере жизни старой Австрии он первым продемонстрировал возможности, вытекавшие из сознательно организуемых расовых и национальных опасений. С глубоким беспокойством ощущалось им приближение того дня, когда немецкое меньшинство, как он считал, будет повержено и «прирезано». И вот он уже требует принятия чрезвычайных антиеврейских законов, а его приверженцы носят на цепочках для часов антисемитский брелок, изображавший повешенного еврея, и не останавливаются в парламенте Вены перед требованием установления награды за каждого приконченного еврея — либо деньгами, либо из имущества убитого[125].

Но, очевидно, ещё большее впечатление произвёл на Гитлера

другой апологет мелкобуржуазного антисемитизма — д-р Карл Люгер. Именно ему, бургомистру Вены, умелому оратору и вождю Христианско-социальной партии, посвящены в «Майн кампф», как никому другому, слова восхищения автора, называющего его не только «поистине гениальным» и «самым сильным немецким бургомистром всех времён», но даже «последним великим немцем в Восточной марке[126]»[127]. И хотя Гитлер подвергает программу Люгера, и главным образом его вялое и оппортунистическое обоснование антисемитизма, а также его веру в силу выживания уже одряхлевшего и прогнившего к тому времени многонационального государства, неприкрытой критике, тем не менее — а вернее, тем более — его восхищает демагогическая виртуозность Люгера и та тактическая изворотливость, с помощью которой тот так умело манипулировал в своих целях доминировавшими социальными, религиозными и антиеврейскими настроениями.

В противоположность Шенереру, который своей заносчивой принципиальностью приобрёл огромное количество врагов и тем самым обрёк себя в результате на полную потерю влияния, Люгер был человеком обходительным, ловким и пользовавшимся популярностью. Идеологическое оружие он просто использовал, втайне же презирал его; он мыслил как тактик и прагматик, и вещи были для него важнее идей. Зате почти пятнадцать лет, что он был бургомистром, в Вене была модернизирована транспортная сеть, расширена система образования, улучшено социальное обеспечение, заложены зелёные районы и создано около миллиона рабочих мест. Идя вверх, Люгер опирался на рабочих-католиков, а также на мелкую буржуазию — служащих и чиновников низшего звена, владельцев маленьких магазинов, мелких домовладельцев и домовых священников, тех, кому несли угрозу новые времена с их индустриализацией, социальными крахами и нищетой. И Люгер, подобно Шенереру, тоже извлекал пользу из широко распространённого чувства страха, но обращал он его против конкретных и доступных противников. К тому же он не расписывал это чувство в мрачных красках, а противопоставлял ему те безотказно действовавшие человеколюбивые банальности, которые находили своё наглядное выражение в его излюбленном призыве: «Нужно помочь маленькому человеку!»

Очевидно, однако, что столь продолжительное восхищение вызывал у Гитлера не один лишь изощрённый макиавеллизм хозяина венской ратуши — главная причина тут в совпадениях личного плана: Гитлер считал, что в этом человеке он открыл не только поучительные, но и родственные ему черты. Как и сам

Гитлер, Люгер был выходцем из простых слоёв и добился признания в обществе, к чему так настойчиво стремился Гитлер, вопреки всем препонам и социальному пренебрежению, в конце концов, даже вопреки сопротивлению императора, который трижды противился утверждению его бургомистром. В отличие от Шенерера, безрассудно, да и бессмысленно наживавшего себе врагов, Люгер проделал свой путь наверх в беспрестанном поиске и организации союза с господствующими группами, будучи преисполнен решимости, как напишет Гитлер, превознося этот навсегда усвоенный им урок, «воспользоваться всеми уже наличествовавшими рычагами власти, подчинить себе имеющиеся могучие учреждения, чтобы извлечь из этих старых источников максимальную пользу для своего движения».

Сформированная Люгером с помощью эмоционально сконцентрированных лозунгов массовая партия продемонстрировала, что идея страха — как и за сто лет до этого идея счастья — обрела в Европе мощь, способную превозмочь даже классовый интерес.

В том же направлении действовала и идея национального социализма. Немецкие рабочие в быстро расширявшихся промышленных районах богемской и моравской областей дунайской империи объединились в 1904 году в Траутенау в Немецкую рабочую партию (ДАП), чтобы защищать свои интересы перед натиском чешской дешёвой рабочей силы, поступавшей на фабрики и заводы из деревень и зачастую игравшей штрейкбрехерскую роль. Это было началом вполне объяснимой и вскоре охватившей — под самыми разными обличьями — всю Европу попытки решить дилемму социализма марксистского толка, который никогда не пробовал по-настоящему преодолеть национальные антагонизмы и придать своим обращённым ко всему человечеству лозунгам какую-то эмоционально наглядную убедительность, ибо в теории классовой борьбы не было места для особого национального сознания немецкого рабочего в Богемии или Моравии. Приверженцы новой партии рекрутировались в значительной массе из числа бывших социал-демократов, отошедших от своих прежних убеждений, обеспокоенно полагая, что политика пролетарской солидарности играет на руку только чешскому большинству в этой области; программа же ДАП считала эту политику «ошибочной и наносящей неисчислимый вред немцам Центральной Европы».

Этим немцам казалось, что идентичность их национальных и социальных интересов и есть та самая непосредственная, явственная и всеобщая истина, которую они могу противопоставить марксистскому интернационализму — идее

народного сообщества выражалась их попытка примирить социализм и национальное чувство. И программа и партии соединила то, что отвечало их возбуждённой потребности в защите и самоутверждении. Эта программа преследовала преимущественно антикапиталистические революционно-свободолюбивые и демократические цели, но содержала, однако, с самого начала и авторитарные и иррациональные формулы, связанные с агрессивным поведением по отношению к чехам, евреям и так называемым «инофелькише». Её первыми приверженцами стали рабочие мелки предприятий горнодобывающей и текстильной промышленности, железнодорожники, ремесленники, профсоюзные функционеры. Эмоционально они ощущали свою большую близость к немецкой буржуазии, будь то аптекарь, промышленник, крупный чиновник или купец, нежели к чехам-разнорабочим. И вскоре они стали называть себя национал-социалистами.

Потом Гитлер будет весьма неохотно вспоминать о своих предшественниках, хотя связи с этими «доисторическими организациями» национал-социализма были — особенно сразу же после первой мировой войны — порою очень тесными. Но получалось, что из-за этих единомышленников в Богемии ставилось под сомнение то, на что вождь НСДАП со все большим самомнением претендовал как на свою собственную, единоличную идею, оказавшую определяющее влияние на эпоху. В «Майн кампф» он пытался представить эту идею как результат сравнительного анализа взглядов Люгера и Шенерера и как бы сочетание элементов из тех и других в его собственной оригинальной концепции:

> «Если бы у Христианско-социальной партии вдобавок к её отличному знанию широких масс было ещё и правильное представление о значении расовой проблемы, как понимало её Пангерманское движение, и если бы она была окончательно националистической, или если бы Пангерманское движение вдобавок к его верному пониманию цели еврейского вопроса и значения национальной идеи восприняло ещё и практическую смётку Христианско-социальной партии, в частности, её позицию по отношению к социализму, то в результате возникло бы такое движение, которое, по моему убеждению, уже тогда могло бы с успехом воздействовать на судьбы немцев»[128].

В этих словах содержится и обоснование, почему он не присоединился ни к той, ни к другой партии. Однако скорее всего

дело было в том, что почти на всём протяжении его жизни в Вене у него просто не было никакой продуманной политической концепции, а были самые общие, ориентировавшиеся на Шенерера чувства национальной ненависти и вражды. К этому добавлялись и пара-другая подспудно тлевших предрассудков по отношению в первую очередь к евреям и другим «низшим расам», а также импульсивная потребность сказать своё слово, порождённая несбывшимися надеждами. То, что творилось вокруг него, он воспринимал не столько умом, сколько своим настроением, а вследствие чрезвычайно субъективной окраски своего интереса к общественным делам он принадлежал не столько к политическому, сколько к политизированному миру. После он сам признается, что первоначально, будучи целиком поглощён честолюбивыми мыслями, связанными с искусством, он интересовался политикой лишь «между прочим», и только «кулак Судьбы», как он картинно выразится, раскрыл ему затем глаза. И даже в вошедшем потом во все школьные хрестоматии и ставшем неотъемлемой частью легенды о Гитлере эпизоде с молодым рабочим-строителем, с которым он был на ножах, Гитлер мотивировал свой отказ вступить в профсоюз весьма показательным аргументом, что он, мол, «в этих делах ничего не понимает». Многое говорит за то, что политика долгое время была для него в первую очередь средством самооправдания, возможностью переложить вину с себя на мир, объяснить провалы в собственной судьбе несовершенством существующего строя и, наконец, просто найти козла отпущения. И весьма характерно, что единственной организацией, в которую он вступил, был союз антисемитов[129].

Квартиру на Фельберштрассе, куда Гитлер перебрался, расставшись с Кубицеком, ему вскоре тоже пришлось покинуть, и до ноября 1909 года он неоднократно меняет место жительства и, прописываясь, называет себя ничтоже сумняшеся «художником с академическим образованием», а один раз — «писателем». Есть основания предполагать, что ему хотелось уклониться от «прописки», чтобы избежать службы в армии и таким образом скрыться от бдительного ока властей. Возможно, однако, что в этих переездах сказались отцовская страсть к перемене мест и его собственная бесцельная неугомонность. Из описаний тех лет он предстаёт человеком с бледным, запавшим лицом, низко спадающими на лоб волосами и нервными движениями. Впоследствии он сам говорил, что был в то время очень робким, боялся обратиться к любому человеку, который представлялся ему стоящим на социальной лестнице выше него, и не рискнул бы

выступить даже перед пятью слушателями[130].

Средства на жизнь ему как и прежде, давала сиротская пенсия, которую он получал обманным путём, как якобы учащийся в академии. Причитавшаяся ему часть отцовского наследства, а также его доля от продажи родительского дома, так долго обеспечивавшие ему беззаботное и независимое существование, к концу 1908 года были, надо полагать, уже израсходованы. Во всяком случае, в ноябре он съезжает из комнаты на Симон-Денкштрассе, которую снимал с сентября. Конрад Хайден, автор первой значительной биографии Гитлера, установил, что в это время Гитлер жил в «горькой нужде», вынужден был несколько ночей провести без крыши над головой, спать на скамейках в парке и в летних кафе, пока его не выгнали и оттуда наступившие холода. Ноябрь 1909 года был необычайно холодным, часто шли дожди, нередко с мокрым снегом[131]. И вот Гитлер уже стоит в очереди, скапливавшейся каждый вечер перед ночлежкой в венском пригороде Майдлинг. Здесь он знакомится с бродягой, которого зовут Рейнхольд Ханиш и который потом оставит написанные от руки показания о том, как «я после долгих скитаний по дорогам Германии и Австрии попал в ночлежку для бездомных в Майдлинге. Слева от меня на пружинных нарах был худощавый молодой человек со сбитыми до крови ступнями. Поскольку у меня был хлеп (!) выпрошенный у крестьян я поделился с ним. Я тогда говорил с сильным берлинским акцентом, а он бредил Германией. Его радные (!) места Браунау на Инне я исходил вдоль и поперёк, так что мне было легко следить за его рассказами».

Время до лета 1910 года, почти целых семь месяцев, Гитлер и Ханиш провели вместе, их связывали тесная дружба и поиски заработков. Конечно, и этому свидетелю, как и всем остальным свидетелям того раннего периода жизни Гитлера, едва ли можно во всём верить, но, по меньшей мере, отнюдь не лишено психологической достоверности его утверждение о склонности Гитлера к меланхолическому бездельничанию и о безуспешных попытках побудить его вместе искать работу. Пропасть между страстным стремлением Гитлера к жизни буржуа и реальностью и впрямь никогда не была столь глубокой, как в эти месяцы в ночлежке, бок о бок с потерпевшими крушение, достаточно сомнительными личностями и с таким примитивным другом-проходимцем как Рейнхольд Ханиш, которого он потом, заполучив в 1938 году, и прикажет убить. Однако, будучи уже в апогее своей жизни и оглядываясь назад, Гитлер, словно настаивая на своей правоте перед лицом удручающей реальности тех лет, будет утверждать: «Но в мечтах я жил во дворцах»[132].

Предприимчивый и обладавший жизненной смекалкой Ханиш, хорошо знавший нужды, уловки и шансы своего класса, как-то спросил Гитлера, какой профессии он обучался, на что тот ответил ему, что он живописец. Поняв это слово как «мазила», Ханиш сказал, что с такой профессией можно легко зарабатывать деньги. И сколь бы ненадёжными ни считались свидетельства Ханиша, из его дальнейшего рассказа встаёт живой молодой Гитлер: «Он оскорбился и ответил, что он не маляр, а художник с академическим образованием». Надо думать, именно по инициативе Ханиша они начинают теперь действовать вместе. Незадолго до рождества они перебираются в своего рода дешёвую гостиницу — мужское общежитие на Мельдеманштрассе в 20-м городском районе. Днём, когда в каморках для ночлега идёт уборка, Гитлер отправляется в читальный зал, где сидит над разложенными на столах газетами, читает научно-популярные журналы и брошюрки или перерисовывает почтовые открытки, преимущественно с видами Вены, и эти тщательно выполненные акварели Ханиш продаёт торговцам картинами, столярам, изготовлявшим рамки, а то и просто обойщикам, которые, по тогдашней моде, «вставляли их в высокие спинки кресел и диванов». Выручку они делят пополам. Гитлер считал, что сам он не в состоянии продавать свои работы, потому что «в своей поношенной одежде он не смотрится». Ханишу же, по его уверениям, «иногда удавалось получить очень даже неплохой заказ. Так что худо ли бедно ли, но мы жили… Так и текли нидели (!)»[133].

Обитателями мужского общежития были люди всех слоёв, больше всего было молодых рабочих и служащих, трудившихся на близрасположенных фабриках и заводах. Наряду с ними встречались и отдельные представители довольно солидных мелких ремёсел; Ханиш упоминает в своих показаниях переписчиков нот, рисовальщиков вывесок и резчиков монограмм. Однако картину и весь быт общежития определяли люди, потерявшие свой путь в жизни, — какие-то авантюристы, обанкротившиеся торговцы, игроки, нищие, ростовщики, отставные офицеры — словом, дрейфующий материал из всех уголков этого многонационального государства, ну и, наконец, так называемые «торгаши» — евреи из восточных областей дунайской монархии, пытавшиеся с помощью торговли старьём или вразнос поправить своё социальное положение. То, что их объединяло, была их общая нищета, а то, что разъединяло, — жадное желание вырваться из неё, совершить прыжки наверх, чего бы это ни стоило: «Отсутствие солидарности — это главная и основная черта огромного класса деклассированных»[134].

Если не считать Ханиша, у Гитлера друзей в мужском общежитии не было. Те, кто его знал, подчёркивают его нетерпимость, а сам он, напротив, говорил о своей антипатии к тому типу венца, от которого его «с души воротило»[135]. Во всяком случае, можно думать, что дружбы он ни с кем не искал; с тех пор как ему с помощью Ханиша удалось покинуть ночлежку, какие-либо задушевные отношения его только раздражали и отпугивали. Зато он узнал, что такое приятельские отношения среди простых людей, обеспечивающие одновременно контакт и анонимность и создающие ту лояльность, которая может в любой момент трансформироваться; и этот приобретённый опыт Гитлер уже никогда потом не забудет, а станет постоянно обновлять его на самых различных социальных уровнях с почти тем же окружением: в окопах войны, среди своих ординарцев и шофёров, чьё общество он предпочитал, уже будучи вождём партии, а затем и рейхсканцлером, и, наконец, в бункерном мире своей ставки — постоянно казалось, что Гитлер воспроизводит образ жизни мужского общежития, знавший одни лишь отрешённые формы совместного проживания и довольно точно отвечавший его представлению о человеческих связях вообще. Руководство дома его не терпело, считало вызывающе «политизированным»; «бывало жарковато», свидетельствует, вспоминая, Ханиш, «такие проскальзывали враждебные взоры, что бывало порою не по себе».

Свои убеждения Гитлер отстаивал, очевидно, остро и непримиримо. Радикальные альтернативы, утрирование любого утверждения принадлежали к подосновам его мышления, его склонное к ужасам и отвращению сознание преувеличивало все до гигантских размеров и превращало события скромного масштаба в метафизические катастрофы. С юных лет его привлекали только великие мотивы. Тут лежит одна из причин его столь же наивной, сколь и художественно обращённой в прошлое любви к героическому, возвышенно-декоративному. Боги, герои, гигантские проекты и высокопарные слова служили ему стимулами и заслоняли для него банальность его собственной жизни. «В музыки (!) его приводил в телячий восторг Рихард Вагнер», — беспомощно и убедительно пишет Ханиш, а сам Гитлер потом скажет, что уже тогда он набрасывал первые планы по перестройке Берлина. Действительно, тяга ко все новым прожектам не оставляла его. Мы узнаем, что поступление на работу в машбюро одной строительной конторы тут же пробудило в нём архитектурные мечтания, а после экспериментов с авиамоделями он уже видел себя владельцем крупного авиационного завода и «богатым, очень богатым»[136].

А пока он рисует — кажется, это устроил ему Грайнер, —

плакаты, рекламирующие бриллиантин для волос, магазин мягкой мебели в переулке Шмальцхофгассе и, наконец, присыпку от пота, имевшую рыночное наименование «Тедди». Последнюю работу с однозначно идентифицированной подписью Гитлера удалось найти. Это довольно беспомощный по манере, сухой и школярский рисунок, изображающий двух почтальонов, один из которых в изнеможении опустился на землю, и по его чулку текут жирные, синие капли пота, в то время как другой поучает своего «дорогого братца», что и десять тысяч ступенек в день «с присыпкой „Тедди“ проделать не лень». На другом сохранившемся плакате башня Святого Штефана горделиво возвышается над горою из кусков мыла. Сам Гитлер считал тот этап своей жизни достойным воспоминания постольку, поскольку он мог, наконец, распоряжаться своим собственным временем. Часами просиживает он в маленьких, дешёвых пригородных кафе над газетами, отдавая особое предпочтение антисемитскому листку «Дойчес фольксблатт».

Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что в образе этого двадцатилетнего человека наиболее явственными и характерными являются черты странности, бегства от реальности и, строго говоря, аполитичности. Он сам скажет, что в это время он был чудаком[137]. По всей вероятности, его обоготворяемым идолом тех лет был Рихард Вагнер, причём не только «в музыки» (!), скорее всего, Гитлер усматривал в этой наполненной ранними разочарованиями и неукротимой верой в своё призвание и в конечном итоге «увенчанной всемирной славой жизни»[138] образец для своих собственных жизненных представлений. Преемственность эта выражалась в искушении романтическим понятием о гениальности, которое нашло в Мастере из Байрейта своё воплощение и одновременно в нём же и своё крушение. Ведь благодаря ему было сбито с толку, подавлено и отчуждено от буржуазного мира целое поколение.

Восхищение Рихардом Вагнером дополняет полотно, получившее свои первые очертания в результате бегства юного Гитлера из училища и его тяги к манящему, соблазняющему грандиозными ожиданиями столичному городу. Это был путь, на который вступали многие из его сверстников со сходными высокими надеждами, своего рода «королевская дорога» одарённых и ущемлённых аутсайдеров. И серый, подавленный лик сына таможенника из Линца невольно всплывает вдруг в ряду романтической галереи беглых школьников, где видишь Томаса и Генриха Маннов, Герхарта Гауптмана и Германа Гессе; в литературном плане этот тип эскапирующего юноши встречается во многих произведениях, созданных на переломе веков: у Эмиля

Штрауса в его повести «Друг Хайн» (1901), у Рильке в «Уроке гимнастики» (1902), у Роберта Музиля в «Молодом Терлессе» (1906), у Германа Гессе в романе «Под колёсами» (1906), у Франка Ведекинда в «Пробуждении весны» (1906) или в вышедшем годом позже «Мао» Фридриха Хуха. Общая для всех них причина их бегства или гибели заключалась в том, что они эстетизировали свои страдания, связанные с буржуазным мирком и противопоставляли тривиальному миру своих отцов с его будничным набором непременных обязанностей идеал социально эластичной «жизни художника». На этом фоне постоянно демонстрировалась противоположность художника и буржуа — то, что в буржуазном сознании, терзаемом сомнениями в самом себе, породило со времён Карла Моора и прочих ему подобных предводителей разбойничьих шаек и меланхолических мятежников своих идеализируемых антигероев. Как таковая буржуазность выступает тут лишь как упорядоченность, обязанность и постоянство — эти качества, конечно же, служат залогом дельности, но неслыханные самопроявления и взлёты духа, его подвиги свершаются, по мнению авторов, только на крайней от неё человеческой и социальной дистанции. Творец, гений, вообще сложный характер по сути своей глубоко чужд буржуазному миру, и его социальное место находится вне этого мира, далеко на окраинах общества, откуда, как патетически заметил тот, кто первым проанализировал этот тип, равно удалены и морг с трупами самоубийц, и пантеон бессмертия[139]. И поэтому, какими бы смешными и беспомощными ни казались все старания молодого Гитлера по осуществлению своих амбициозных творческих надежд, каким бы сомнительным ни был его талант, да и вообще, каким бы пошлейшим авантюризмом, банальнейшим паразитированием и асоциальностью ни характеризовалась его жизнь в мужском общежитии, — все это в позднебуржуазном представлении о гениальности находило своё тайное оправдание, а в Рихарде Вагнере — свой образцовый, неопровержимый пример.

И, действительно, сам Гитлер потом уверял, что у него «не было предшественников», за исключением Рихарда Вагнера, и ссылался на того не только как на музыканта и драматурга, но и как на сильную личность, «величайшую фигуру пророка немецкого народа»; он любил указывать на выдающееся значение Вагнера «для развития немецкого человека», восхищался мужеством и энергией его политических действий, «хотя тот, собственно, не хотел иметь дела с политикой» и как-то раз сказал, что, когда он осознал своё внутреннее родство с этим великим человеком, его охватило «прямо-таки истерическое

возбуждение»[140].

Совпадения тут, и вправду, проследить весьма нетрудно — соприкосновение темпераментов, усугублённое восторженной подражательностью молодого рисовальщика почтовых открыток, вытекает из удивительного и несомненного сходства взаимоотношений в семье и даёт тот сбивающий с толку портрет «братца Гитлера», который впервые был идентифицирован Томасом Манном. «Не следует ли, — писал тот в 1938 году, когда Гитлер был в апогее своих побед, — хотим мы этого или нет, узнать в этом феномене некую форму проявления художественного творчества? Каким-то постыдным образом тут есть все: „тяготы“, лень и жалкая неопределённость юных лет, неустроенность, неясность в плане „чего же ты хочешь?“, полуидиотское животное существование на самом дне социальной и духовной богемы, принципиально высокомерное, принципиально считающее себя стоящим выше всего этого отрицание любой разумной и достойной уважения деятельности — а на какой же принципиальной основе? На основе случайного ощущения своей предназначенности для чего-то совершенно неопределённого, название чему, если бы можно было найти этому название, повергло бы людей в хохот. К тому же ещё угрызения совести, чувство вины, злость на весь мир, революционный инстинкт, подсознательное накапливание взрывоопасных желаний компенсировать себя, сознание, упорно работающее на то, чтобы самооправдаться, чтобы доказать… Достаточно неприятное родство. И всё же я не хочу закрывать на это глаза»[141].

Помимо этих, есть и совпадения куда более очевидные: и тут, и там так и оставшаяся неясной история с генеалогией, крах в учёбе, уклонение от воинской службы, патологическая ненависть к евреям, равно как и вегетарианство, развившееся у Вагнера в конечном счёте в навязчивую идею, будто растительная пища должна принести спасение человечеству. Общим для того и другого является и проявление ими экстремальности во всём, постоянные метания из крайности в крайность, когда состояния подавленности и подъёма, триумфы и катастрофы сменяют друг друга самым неожиданным образом. Во многих операх Рихарда Вагнера содержится классический конфликт одиночки, повинующегося установленному им самим закону, с унаследованными, закостеневшими порядками. И во всех этих героях — будь это Риенцо или Лоэнгрин, Штольцинг или Тангейзер — несостоявшийся студент академии художеств, сидя перед баночкой с тушью в читальном зале мужского общежития, видел, словно в телескопическом изображении, проявления

своего собственного противоборства с миром, и порою прямо-таки кажется, что и свою жизнь он прожил, подражая своему кумиру или хотя бы стилизуя её под него. И тому, и другому была свойственна повышенная жажда власти, собственно говоря, склонность к деспотизму; искусство Вагнера никогда не позволяло забывать о том, что в своей основе оно есть инструмент неудержимого и далеко идущего стремления покорять себе. Эта столь же непреодолимая, сколь и двусмысленная тяга к массовости, внушительности, к ошеломляющим масштабам объясняет, почему первой крупной композицией после «Риенци» и «Летучего голландца» стало его произведение для хора из тысячи двухсот мужских голосов и оркестра из ста музыкантов; трезвый и непредвзятый взгляд на приёмы, характерные для музыки Вагнера как ни для какой другой, обнаруживает неизменное самоискушение величественным эффектом завывания волынок, когда в сопровождении резкого визга смычковых разворачивается действо, где все вперемешку — Вальхалла[142], ревю и храмовые обряды. С Вагнером в искусстве начинается эпоха неразборчивого околдовывания масс. И просто невозможно представить стиль зрелищ в «третьем рейхе» без этой оперной традиции, без демагогического по своей сути художественного творчества Рихарда Вагнера.

Однако в то же время и того, и другого объединяет и высокоразвитое чувство психологической изощрённости, примечательным образом совпадающее с невосприимчивостью к тому, где она переходит в пошлость. И это придаёт им ту черту плебейской претенциозности, которая отразилась на протяжении десятилетий в поразительно равнозначных оценках. Как-то Готфрид Келлер назвал этого композитора-драматурга «парикмахером и шарлатаном», в то время как один из современников с проницательностью ненавидящего окрестил Гитлера «типичным оберкельнером», а другой — красноречивым убийцей-садистом[143]. И впрямь, элемент вульгарности, одиозности, содержащийся в этих определениях, одинаково присущ и тому, и другому — это есть черта и гениального мистификаторства, и, в той же мере, вдохновенного мошенничества. И как Рихард Вагнер совмещал роль революционера с амплуа друга короля[144] — «государственного музыканта», как с издёвкой писал Карл Маркс, — то точно так же молодой Гитлер лелеял расплывчатые мечты о таком восхождении, которое бы примирило его ненависть к обществу с его оппортунистическими инстинктами. Вагнер устранил все очевидные жизненные противоречия, провозгласив искусство

целью и назначением бытия, а творца-художника — его высшей инстанцией, которая неизменно вступается и приносит спасение там, где «отчаивается государственный муж, опускает руки политик, мучится с бесплодными системами специалист и даже философ только нащупывает, но ещё не возвещает». То, что он прокламировал, было абсолютной эстетизацией жизни под руководством искусства[145]. В результате, по его мысли, государство должно было быть поднято на уровень художественного произведения, а политика — обновлена и доведена до совершенства духом искусства. В театрализации общественной жизни «третьего рейха», в страсти режима к инсценировкам и в драматургии его политической практики, которая нередко, казалось, и становилась самой целью политики, нетрудно уловить элементы именно этих программных воззрений.

Кроме того, есть и другие совпадения. Та прирождённая тяга к «дилетантизации», которую Фридрих Ницше в своём знаменитом «Четвёртом несвоевременном размышлении» подметил за своим тогда ещё идеализировавшемся им другом, была присуща и его юному адепту. Оба они демонстрируют одинаковое, бросающееся в глаза стремление своенравно вторгаться в любую сферу, своё мучительное честолюбивое желание показать себя, ослепить, понравиться, превзойти быстро улетучивающуюся славу вчерашнего дня шумом сегодняшнего; и тут, и там натыкаешься на сбивающие с толку мелкие человеческие отношения в непосредственной близости, а то даже и в неразрывной связи с вдохновением, и кажется, что именно это параллельное существование и составляет суть их таланта. То же, что их разделяло, было полное отсутствие у Гитлера самодисциплины и творческих мук, его почти наркотическая летаргия. Но помимо этого и в самой первооснове тут наталкиваешься ещё и на ожесточённое, отчаянное сопротивление опасности пролетаризации — в этом сказывается его внушающая уважение сила воли, подстёгиваемая вспыхивающим предчувствием, что когда-нибудь случится нечто неслыханное и все испытанное им унижение, вся боль этих лет страшно отомстят за себя.

По сути своей аполитичное, театральное и находившееся под влиянием Рихарда Вагнера отношение Гитлера к миру проявляется в разных аспектах. Однажды, после нескольких дней «размышлений и раздумий», как он сам пишет, бродя бесцельно по городу, он оказывается свидетелем многолюдной демонстрации венских рабочих. Когда он даже пятнадцать лет спустя будет вспоминать об этом событии, то и тогда можно

будет почувствовать, какое неизгладимое впечатление произвёл на него в тот день вид тех «бесконечных шеренг по четыре человека в каждой». Почти в течение двух часов, рассказывает Гитлер, простоял он на тротуаре Рингштрассе и, «затаив дыхание», смотрел на «эту похожую на исполинского змея процессию, медленно тянувшуюся мимо», пока, наконец, «в жуткой подавленности» не оторвался от зрелища и не поспешил домой, глубоко потрясённый, вероятно, в первую очередь тем сценическим эффектом, который произвела на него эта демонстрация. Во всяком случае, он не упоминает ни её политического повода, ни причины — они явно волновали его куда меньше, нежели вопрос о том, каких эффектов можно добиться с помощью людской массы. Ибо его занимали театральные проблемы, а перед политиком, как он это понимал, в первую очередь вставали постановочные задачи. Ещё Кубицек обратил внимание на то, какое значение придавал его друг в своих случайных драматических опусах «как можно более грандиозной постановке», и насколько этот первый наивный почитатель Гитлера успел забыть содержание его пьес, настолько незабываемыми остались в его памяти те, по его словам, «гигантские затраты», которые замышлялись автором и даже «совершенно затмевали» все, что когда-либо требовал для сцены Рихард Вагнер[146].

Оглядываясь назад, Гитлер будет рекламировать свои «университеты» и скажет, что за эти почти пять лет жизни в Вене он «бесконечно много и весьма основательно» читал. Кроме архитектуры и посещения оперы, его «единственной радостью» было «только побольше бы книг». Но, пожалуй, более правильным было бы искать наиболее характерные впечатления этого периода не столько в интеллектуальной плоскости, сколько в плоскости демагогии и политической тактики. Когда рабочие-строители будто бы вздумали как-то раз столкнуть этого постоянно державшегося в стороне от них, как по причине своего высокомерия, так и по причине боязни общества, буржуйского сынка с лесов, то из той коллизии он усвоил, что существует метод чрезвычайно простого обхождения с аргументами: «проломить череп каждому, кто рискнул возражать», — замечает он не без восхищения этим методом[147]. Во всяком случае, на страницах «Майн кампф», посвящённых его политическому пробуждению, нет, по причине их теоретической убогости, и следа того критического и творческого изучения идей времени, которое он ставит себе в заслугу; правильнее было бы сказать, что скорее он безоговорочно следовал распространённой идеологии немецкой буржуазии. А вот вопросы организации идей, их

пригодности для мобилизации масс пробуждали в нём почти ненасытный интерес и приносили неожиданные озарения.

Так, есть свидетельства, что уже в Венский период ему было присуще то, что будет составлять потом многие характерные пассажи в его речах и заявлениях, — настойчивый и не считающийся ни с какими возражениями вопрос об «инспираторах», «тёмных подстрекателях», якобы навязывающих массам свою волю»[148]. В уже упоминавшихся показаниях Ханиша рассказывается, как Гитлер однажды пришёл домой «совершенно обалдевший» после фильма, поставленного по роману Бернгарда Келлермана «Туннель», где главная роль принадлежит оратору-агитатору: «Пламеные (!) речи бывали и у нас в мужском общежитии», — утверждает автор. А Йозеф Грайнер вспоминает, как Гитлер рассказывал ему о некой Анне Чилаг, которая с помощью подделанных рекомендательных писем и фальсифицированных справок рекламировала средство для роста волос по своему тайному рецепту. Почти целый час, как утверждается в этом явно правдоподобном свидетельстве, Гитлер восхищался ловкостью той женщины и говорил о колоссальных возможностях психологического воздействия. «Пропаганда, пропаганда, — упоённо повторял он, — так долго, пока она не превратиться в веру, когда уже и не знаешь, что выдумка, а что быль», ибо пропаганда — это «квинтэссенция любой религии…. идёт ли речь о небе или о мази для волос»[149].

И ещё более прочная почва появляется под ногами, когда читаешь выводы, которые Гитлер, по его собственным словам, сделал из наблюдения за социал-демократической пропагандой — её печатью, демонстрациями и устными выступлениями. Они в решающей степени наложили свой отпечаток и на его собственную практику:

> «Психология широкой массы невосприимчива ко всему половинчатому и слабому.
>
> Подобно женщине, душевное восприятие которой определяется не столько доводами абстрактного разума, сколько доводами неопределимой, эмоциональной тоски по недостающей силе, и которая поэтому предпочитает подчиняться сильному, нежели повелевать слабым, так и масса больше любит повелителя, чем просителя, и в душе чувствует себя более удовлетворённой учением, которое не терпит рядом с собой никакого другого, нежели разрешённой либеральной свободой; да она и не знает, что с нею делать, и даже чувствует себя какой-то потерянной. То, что её бесстыдно терроризируют

духовно, не доходит до её сознания в той же мере, как и возмутительное злоупотребление её человеческой свободой, ибо она никак не ощущает внутреннего безумия учения в целом. Так что она видит только безудержную силу и жестокость его целеустремлений, которым она в конечном итоге всегда покоряется… Не менее понятным стало для меня и значение террора по отношению к личности и к массе. И здесь тоже точно рассчитанный психологический эффект.

Террор на рабочем месте, на фабрике, в помещении для собраний и по случаю массовой демонстрации всегда увенчивается успехом, пока ему не противостоит столь же мощный террор»[150].

В начале августа 1910 года между Гитлером и Ханишем происходит разрыв. Гитлер в течение нескольких дней рисует здание венского парламента; восторг от этого классического храмового строения, которое он назовёт потом «чудесным эллинским шедевром на немецкой земле», по всей вероятности, заставил его трудиться с максимальным прилежанием. Так или иначе, но он полагал, что его картина стоит пятидесяти крон, а Ханиш продал её якобы всего за десять. Когда же приятель сразу после этой ссоры куда-то исчез, Гитлер с помощью одного из жильцов мужского общежития устроил так, что его задержали, а дело передали в суд. 11 августа Ханиша приговорили к семи дням заключения; потом он говорил, что он не очень протестовал, желая расположить к себе судей, поскольку проживал в мужском общежитии под вымышленным именем Фриц Вальтер. И вдова покупателя заявит после, что её муж, действительно, заплатил за картину около десяти крон, но Ханиш почему-то не назвал его в качестве свидетеля[151]. Какое-то время продажу картин Гитлера берет на себя еврей по фамилии Нойман, тоже живший в том мужском общежитии, а иной раз тот и сам отбрасывает свои предубеждения и охотится за покупателями.

Эти три с половиной года и стали «университетами» Гитлера, навсегда сформировавшими и его представление о человеке, и его картину общества. И нетрудно понять те комплексы ненависти и неприятия, которые должны были возникнуть у него в результате столкновения его заоблачных амбиций с этим окружением. Даже годы спустя он содрогался от отвращения, вспоминая эти «мрачные картины гадости, омерзительной грязи и злости», с которыми он чаще всего встречался в том районе, где жил. Но, что интересно, чувства сострадания он при этом не испытывал.

Этот опыт и жизненные обстоятельства заложили во многом и основы той философии борьбы, которая стала центральной мыслью в его миропонимании, его «гранитным фундаментом». И где бы потом он не выражал свою приверженность к идее «жесточайшей борьбы», «безжалостного самоутверждения», уничтожения, твёрдости, свирепости, к праву на выживание более сильного — будь это в его бесчисленных речах или дебатах, на страницах его книги или в застольных беседах в ставке фюрера, — тут всё время проявляло себя миропонимание обитателя мужского общежития, незабываемые уроки той школы низости.

И всё же элементы социал-дарвинизма в мышлении Гитлера нельзя объяснить, как это часто делается, одним лишь его личным опытом, усвоенном в период жизни в мужском общежитии. Скорее тут следует видеть проявление тенденции эпохи, непререкаемым авторитетом для которой были естественные науки. Открытые Спенсером и Дарвином законы развития и отбора являлись апелляционной инстанцией для многочисленных псевдонаучных публикаций, умело популяризировавших «борьбу за существование» в качестве основного принципа, а «право более сильного» в качестве основного закона общежития людей и народов. И весьма примечательно, что эта так называемая теория социального дарвинизма служила — во всяком случае, какое-то время — во второй половине XIX века всем лагерям, направлениям и партиям, ибо она была, — главным образом поначалу, прежде чем начать смещаться вправо и использоваться уже ради доказательства якобы противоестественности идей демократии и гуманизма, — элементом левого вульгарного просвещения.

Исходной мыслью тут служило утверждение, будто бы судьбы народов и общественные процессы определяются, как и на звериной тропе в природе, биологическими предпосылками. Только строгий естественный отбор, одновременно требующий и уничтожения, и селекции, препятствует неправильному развитию и даёт одному народу превосходство перед другими. В многочисленных «трудах» таких, к примеру, авторов как Жорж Ваше де Лапуж, Мэдисон Грант, Людвиг Гумплович или Отто Аммон, широко пропагандировавшихся бойкими газетчиками, содержался целый арсенал этих столь пагубных понятий и представлений: уничтожение неполноценной жизни, техника целевой демографической политики, принудительное заключение в резервации и стерилизация негодных, а также попытка определять наследственную пригодность к борьбе за

существование по величине черепа, форме ушей или длине носа. Нередко эти воззрения были связаны с решительным отрицанием христианской морали, терпимости и прогресса цивилизации, ибо эти последние якобы потворствовали слабости и, следовательно, шли наперекор процессу отбора. Тот факт, что социал-дарвинизм так и не стал стройной системой и даже отвергался порою кое-кем из его былых адептов, нисколько не повредил, однако, его успешному распространению. В общем и целом он представлял собой одну из классических идеологий буржуазной эпохи, стремившейся оправдать свою империалистическую практику, равно как и свою неуклюжую капиталистическую прямолинейность формулами некоего объективного закона природы.

Однако особенно пагубным было соединение в одно нерасторжимое целое этих мыслей и антидемократических тенденций эпохи. И либерализм, и парламентаризм, и идея равенства, и интернационализм рассматривались тут как нарушение закона природы и объяснялись смешением рас. Ещё граф Гобино, первый крупный идеолог расизма, автор труда «О неравенстве человеческих рас» («Essai sur l'inegalite des races humaines», 1853), будучи закоренелым аристократом-консерватором, выступал противником демократии, народной революции и всего того, что он презрительно называл «общинным духом». Но ещё большее распространение, во всяком случае, в широких кругах немецкой буржуазии, получили произведения англичанина Стюарта Хьюстона Чемберлена, сменившего свою родину на Германию. Отпрыск известного рода потомственных военных, образованный, но человек нервный и хилого телосложения, он по учебным и писательским делам и из интереса к творчеству Рихарда Вагнера попал в Вену в год рождения Гитлера, рассчитывая задержаться там всего на несколько недель, и застрял в этом городе на целых двадцать лет. И не в последнюю очередь благодаря встрече с этой многонациональной державой Габсбургов, одновременно восхищавшей и отталкивавшей его, он создал свою концепцию расовой теории истории. Его известный труд «Основы XIX века» (1899) подвёл фундамент под пространные конструкции Гобино своей конкретизацией материала и чрезвычайно смелой интерпретацией европейской истории как истории расовых войн. В гибели Римской империи Чемберлен углядел классическую модель исторической деградации вследствие процессов кровосмешения. Как когда-то гибнущий Рим, так и австро-венгерская монархия, по его мнению, находились в эпицентре бурно наступавшего процесса заполонения восточной расой.

Здесь, как и там, писал он, «не какая-то определённая нация, какой-то народ, какая-то раса» принесли своим проникновением гибель и разложение, а некий «пёстрый агломерат» явлений, подвергшихся, со своей стороны, многократному смешению. «Лёгкое дарование, а нередко и своеобразная красота, то, что французы называют un charme troublant (волнующий шарм), зачастую свойственны гибридам; в наши дни это можно наблюдать в городах, где, как в Вене, сталкиваются самые разные народы; но в то же время можно увидеть и своеобразную неустойчивость, плохую жизнестойкость, отсутствие характера, короче говоря, моральное вырождение таких людей»[152]. Чемберлен проводит параллель ещё дальше, сравнивая стоявшие у ворот Рима германские племена с благородной в расовом отношении Пруссией, по праву одержавшей победу в противоборстве с многонациональной державой. Но всё же в целом у этого чистой воды индивидуалиста перевешивает чувство страха и обороны. В своих постоянно повторяющихся видениях он зрит германцев вовлечёнными «на краю расовой пропасти в безмолвную борьбу не на жизнь, а на смерть» и мучится кошмарами вырождения: «Ещё утро, но силы тьмы продолжают тянуть свои руки-присоски, впиваются в нас в тысячах мест и пытаются утащить нас… назад в темноту».

Поэтому социал-дарвинистские воззрения Гитлера были, если смотреть на них в совокупности, не просто «философией ночлежки для бездомных»[153], — скорее, тут проявляется более глубокое совпадение между ним и буржуазной эпохой, чьим законным сыном и разрушителем он был. Собственно говоря, он подхватил только то, что встречалось ему в газетах, разложенных на столиках пригородных кафе, в грошовых брошюрках, операх, а также в речах политиков. Вынесенный из мужского общежития опыт отражает лишь специфически извращённый характер его миропонимания — не больше и не меньше, как, впрочем, и тот убогий лексикон, который потом будет вынуждать его, государственного деятеля и хозяина целого континента, употреблять такие выражения как «это восточное дерьмо», «свинячьи попы», «навоз убогого искусства», называть Черчилля «тупой квадратной рожей», а евреев — «совершеннейшими свиньями», которых «следует бить нещадно»[154].

Гитлер воспринял весь комплекс представлений, придававших настроение и своеобразную окраску этому времени, с той обострённой чувствительностью, которая, собственно, и являет то единственное, что было у него от художника; идеи же были даны ему не конкретно кем-то, а самой эпохой. Наряду с антисемитизмом и социал-дарвинизмом сюда же относится в

первую очередь националистически окрашенная вера в призвание, бывшая другой стороной всех пессимистических кошмаров. Кроме того, в его поначалу чрезвычайно смутной и спорадически аранжированной картине мира имели место и более общие осколки идей, характеризующиеся влиянием модных интеллектуальных течений на рубеже двух веков: философия жизни, скепсис по отношению к разуму и гуманности, а также романтическое прославление инстинкта, зова крови и влечения. Ницше, чья доведённая до тривиальности проповедь силы и бьющая в глаза аморальность сверхчеловека тоже входит в этот идейный арсенал, как-то заметил, что XIX век не взял у Шопенгауэра фактическое содержание его идей — стремление к свету и разуму, а норовил «по-варварски пленяться и соблазняться» бездоказательным учением о воле, отрицанием личности, мечтами о гении, учением о сострадании, ненавистью к евреям и к науке[155].

И здесь опять появляется на сцене Вагнер, на чьём примере Ницше разбирал этот парадокс. Ведь Вагнер не только был для молодого Гитлера великим примером, но и учителем, чьи идеологические аффекты тот перенял очень широко; именно через него шла связь с коррумпированным духом времени. Широко распространённые на рубеже веков политические сочинения Вагнера были любимым чтивом Гитлера, а напыщенное многословие его стиля оказало, несомненно, влияние и на грамматические вкусы Гитлера. Вместе с операми они содержат всю идейную подоплёку той картины мира, которую тот скомпоновал для себя из упомянутых элементов: тут и дарвинизм, и антисемитизм («Ибо я считаю еврейскую расу заклятым врагом чистого человечества и всего благородного в нём»), и представление о германской силе и освободительном варварстве, и мистицизм кровоочищения «Парсифаля», да и вообще весь мир драматического искусства этого театрального композитора, мир, в котором на резко дуалистических позициях враждебно противостоят друг другу добро и зло, чистота и испорченность, властитель и подневольный. Проклятие золота, копошащаяся под землёй низшая раса, конфликт между Зигфридом и Хагеном, трагический гений Вотана[156] — весь этот необычайно многозначный мир с его запахом крови, истреблением дракона, страстью к господству, предательством, сексуальностью, язычеством и со спасением и колокольным звоном в театральную страстную пятницу и был той идейной средой, которая максимально отвечала и страхам Гитлера, и его потребностям в триумфе. Стремление самоучки к общепринятым воззрениям и обрело для себя в этом творчестве и в том, что его

сопровождало и выплёскивалось за его рамки, скомпонованную картину мира, и теперь это уже были истины, «гранитные фундаменты».

Годы в Вене Гитлер назовёт потом «труднейшей, хотя и основательнейшей школой» своей жизни и заметит, что он стал тогда «серьёзным и тихим». И всю жизнь будет ненавидеть этот город за отпор и обиду, испытанные им в те годы. И в этом он тоже похож на своего кумира Рихарда Вагнера: тот так и не простил Парижу разочарований своей молодости и со злорадством предавался видениям, в которых этот город погибал в дыму и пламени[157]. Нетрудно предположить, что чудовищные, превосходящие все природные возможности планы Гитлера по превращению Линца в дунайскую культурную столицу были продиктованы его так и не утихшей ненавистью к Вене, и если он и не предавался, чтобы доставить себе задним числом удовольствие, планам сожжения этого города, то все же в декабре 1944 года отклонил просьбу об отправке туда дополнительных зенитных частей замечанием, пусть, мол, и Вена узнает, что такое бомбардировки с воздуха.

Явно угнетала его и неопределённость в отношении собственного будущего. В конце 1910 — начале 1911 года, он, судя по всему, получает значительную сумму денег от своей тётки Йоханны Пелцль[158], однако и эти деньги не подвигли его на какую бы то ни было инициативу, на сколь-нибудь серьёзное новое дело. Он продолжал бесцельную жизнь: «Так и текли нидели (!)». Перед посторонними он по-прежнему выдавал себя за студента, художника или писателя. И, вместе с тем, как и раньше, лелеял смутные мечты о карьере архитектора. Но не предпринимал ничего, чтобы осуществить их.

Только мечтами и жили его амбиции, честолюбие и надежда на великую судьбу. Та настойчивость, с которой он противопоставлял мечты реальности, придаёт этому отрезку его жизни, вопреки всей её флегме и пассивной бесцельности, видимость чрезвычайной внутренней последовательности. Он упорно избегал любых определённостей и застывал во временном, преходящем. Подобно тому, как отказ вступить в профсоюз и признать тем самым свою принадлежность к рабочему сословию сберёг ему его претензию на буржуазность, так и в мужском общежитии, пока не минула пора его формирования, у него сохранялась вера в свою гениальность и грядущую славу.

Больше всего его беспокоило, как бы обстоятельства времени не загубили его притязания на великую судьбу. Он боялся бедной

событиями жизни. Ещё подростком, как он напишет потом, он «часто с горечью задумывался над тем, что слишком поздно пришёл на эту землю» и «в предстоящих временах покоя и порядка видел незаслуженную издёвку судьбы»[159]. И только хаотичное будущее, по его собственному признанию, столпотворение и рушащиеся порядки смогли излечить этот разрыв с реальностью. Совращённый своими экзальтированными мечтаниями, он был одним из тех, кто предпочитает жизни, наполненной разочарованиями, жизнь, наполненную катастрофами.

Глава IV
БЕГСТВО В МЮНХЕН

Я стремился туда, в великий рейх, страну моих снов и моей страстной мечты!

Адольф Гитлер

Мюнхен или Берлин? — Опять одиночество. — Школа страха. — Причина бегства. — Новонайденные воинские документы. — Арест Гитлера. — Письмо магистрату города Линца. — Негоден к строевой. — Предчувствия. — Благодарность эпохе. — Просьба принять добровольцем.

24 мая 1913 года Гитлер покинул Вену и перебрался в Мюнхен. Ему уже исполнилось двадцать четыре года, и он, меланхолический молодой человек, равно с надеждой и горечью взирал на не понимавший его мира Разочарования минувших лет ещё более усугубили в его характере склонность к мечтаниям и замкнутости. Вену он покидал, не оставляя в ней друзей. В соответствии с его тяготевшим к ирреальности темпераментом, Гитлера влекло скорее к общению с каким-нибудь персонажем из недосягаемого мира: Рихардом Вагнером, бароном фон Шенерером, Люгером. «Костяк личных взглядов», сложившийся у него под «напором судьбы», состоял из нескольких неосознанных чувств категорического неприятия, находивших время от времени, после периодов их смутного брожения и вызревания, выход в бурных приступах; как он позднее заметит, Вену он покинул «абсолютным антисемитом, смертным врагом всего марксистского мировоззрения, пангерманцем»[160].

Конечно, этому определению, как и всем его высказываниям, касающимся его биографии, явно присуще желание показать, что он уже с ранних лет отличался категоричностью оценок, а именно это желание и руководило им, когда он писал «Майн кампф». Однако, уже само обстоятельство, что перебрался он всё же в Мюнхен, а не в Берлин — столицу рейха, служит скорее недвусмысленным доказательством того, что в его естестве весьма долго преобладала аполитичность, или, скажем так, художественно-романтические мотивы главенствовали над

политическими. А Мюнхен перед первой мировой войной имел славу города муз, приветливого, чувственно-гуманного центра искусства и науки, и «образ жизни художника» признавался тут самым что ни на есть законным: Мюнхен светился, как гласит одно незабываемое определение[161]. Такое обычно подчёркивавшееся и явно рекламировавшееся своеобразие этого города охотно обосновывалось как раз его противоположностью громыхающе-современному, вавилонообразному Берлину, где социальное одерживало верх над эстетическим, идеологическое — над культурно-бюргерским, короче говоря, политика главенствовала над искусством. Тот довод, что Мюнхен находился намного ближе к Вене и сюда доносились испарения австрийской столицы, и это, мол, и определило выбор Гитлера, как раз и подтверждает то, что тот пытался опровергнуть: он руководствовался мотивами самого что ни на есть общего жизнеощущения, а отнюдь не побуждениями делового характера, мотивами доносившихся испарений, т. е. культурной сферой, — именно они заставили его выбрать Мюнхен и отказаться от Берлина, если вообще шла речь о каком-то сознательном выборе. В «Имперском справочнике германского общества» за 1931 год он укажет, что переселился в Мюнхен, дабы «найти более широкое поле для своей политической деятельности», но ведь, имей он такое желание, условия для этого в столице рейха были куда более широкими.

Внутренняя инерция и отсутствие контактов, определявшие его жизнь в Вене, характерны и для его пребывания в Мюнхене — порой кажется, что всю свою молодость он прожил в огромном пустом пространстве. Совершенно очевидно, что он не вступал в какие-либо контакты с партиями или политическими группами, да и в смысле идеологии он был одинок. Даже в этом интеллектуально столь беспокойном городе с его аурой, связывавшей людей друг с другом, где любая навязчивая идея являлась свидетельством оригинальности, он так и остался в одиночестве. И это при том, что идейный арсенал «фелькише», даже в самых эксцентричных его вариантах, находил в этом городе своих сторонников, равно как и антисемитизм, особенно распространённый среди мелкой буржуазии с её предощущением экономической угрозы; и в то же время тут попадались самые разнообразные радикальные учения левого толка — правда, все это смягчалось климатом Мюнхена и получало компанейский, риторический и соседский вид. В мюнхенском пригороде Швабинг собирались анархисты, дети богемы, утописты, стремящиеся улучшить мир, художники и витийствующие апостолы новых ценностей. Бедные юные гении мечтали об

элитарном обновлении мира, об избавлениях, кровавых зарницах, очистительных катастрофах и варварских процедурах по омоложению дегенерировавшего человечества. Центральной фигурой одного из значительнейших кружков, образовывавшихся нередко за столиками кафе вокруг лиц или идей, был поэт Стефан Георге, собравший вокруг себя кучку талантливейших учеников. Они подражали ему не только в его презрении к нормам буржуазной морали, в восславлении молодости, инстинкта, сверхчеловека и в строгости художественного изображения жизненного идеала, но и во всём своём поведении, вплоть до стилизации выражения лица. Один из его апостолов, некий Альфред Шулер, открыл заново для немцев позабытую свастику, в то время как Людвиг Клагес, тоже одно время бывший с ним рядом, пришёл к такому разоблачительному выводу: «Дух — антагонист души»[162]. Примерно в то же время Освальд Шпенглер занялся выявлением скрытых от глаз настроений распада и апелляцией к образам цезарей, которые призывались, дабы в очередной раз отвести неизбежную гибель западной цивилизации. В Швабинге, на Зигфридштрассе, жил Ленин, и всего в паре кварталов оттуда, в доме № 34 по Шляйсхаймерштрассе, снял теперь комнату у портного Поппа Адольф Гитлер.

Как интеллектуальное беспокойство, так и переломное настроение времени в искусстве, ощущавшееся в Мюнхене столь же заметно, как и в Вене, прошли мимо Гитлера незамеченными. Имена Василия Кандинского, Франца Марка или Пауля Клее, тоже живших по соседству в Швабинге и открывших новые измерения в живописи, ничего не говорили ни его уму, ни сердцу начинающего художника. На протяжении всех этих месяцев пребывания в Мюнхене он остаётся скромным копировальщиком почтовых открыток со своими видениями, кошмарами и страхами, неспособным, однако, перевести их на язык искусства. А та педантичная тщательность кисти, с которой он превращал свой населённый призраками комплексов и агрессивности внутренний мир в рейнские идиллии, свидетельствовала о его тайной тяге к неприкосновенности и идеализируемой красоте.

Чем явственнее крепнет в нём, в его внутренней глубине, осознание своего творческого неумения, да и вообще своей беспомощности, тем настоятельнее ощущает он потребность находить оправдания для собственного превосходства. Поэтому цинизм, с которым он поздравлял себя по поводу открытия «зачастую бесконечно примитивных воззрений» людей, был родом оттуда же, что и его склонность повсюду видеть лишь проявления самых низких побуждений — коррупцию, заговорщицкую жажду

власти, беспощадность, зависть, ненависть, — то есть, из стремления компенсировать свои собственные беды за счёт всего мира. И в случае с расовой принадлежностью это тоже служило ему в первую очередь в качестве зацепки для его потребности в индивидуальном превосходстве, т. е. как подтверждение того, что он другой и выше, нежели все эти пролетарии, бродяги, евреи и чехи, что встречались ему на его пути.

И всё-таки тяжёлым камнем, как и прежде, на него давил страх, что он может опуститься до уровня люмпенов, обитателей домов для бедных или пролетариев. Те бесчисленные фигуры, которые прошли мимо него в мужском общежитии, те лица из читального зала и тёмных коридоров, которые, как зеркало, отразили крушения столь многих надежд и личных судеб, наложили на него свой несмываемый отпечаток. И фоном тут была Вена рубежа веков, город с настроением эпилога и запахом тления — эта школа жизни и впрямь научила его мыслить преимущественно категориями заката. И не что иное, как страх, был главным содержанием лет его формирования, а в конце даже, как это окажется, импульсом головокружительной динамики всей его жизни вообще. Его столь компактно выглядевшая картина мира и человека, его чёрствость и бесчеловечность были преимущественно защитным жестом и рационализацией того «испуганного существа», каким видели его немногие свидетели тех лет его молодости[163]. Куда бы ни бросил он свой взор, всюду виделись ему лишь симптомы изнурённости, распада, расставания, признаки отравления крови, расового торжества, упадок и катастрофа. И этот обертон, в который он вслушивался, был связан с тем пессимистическим жизнеощущением, которое принадлежит к глубинным чертам XIX века, заметно заглушая и всю веру в прогресс, и всю оптимистическую науку эпохи. Но радикальность этого ощущения, и та бездеятельность, с которой он отдался страху, стали такими индивидуальными и неповторимыми, что это сделало их присущими именно ему.

Как раз этот комплекс ощущений и распознается за его объяснением, почему же он, после нескольких лет бездеятельности, эксцентричных снов наяву, постоянных побегов в гротесковые миры своих фантазий, покинул, наконец, Вену. В его уверениях содержатся и эротические, и пангерманские, и сентиментальные причины, выливающиеся в объяснение в ненависти к этому городу:

> «Отвратителен был для меня расовый конгломерат, который являла собой столица империи, отвратительной

была эта смесь народов из чехов, поляков, венгров, русинов, сербов, хорватов и т. д., а между всем этим, как вечный грибок человечества, — евреи и снова евреи. Огромный город казался мне символом кровосмешения…

По всем этим причинам всё сильнее проявлялось страстное стремление отправиться, наконец, туда, куда с самой ранней юности влекли меня тайные желания и тайная любовь. Я надеялся сделать когда-нибудь себе имя в качестве архитектора и так, в малом и великом, в зависимости от того, что будет уготовано мне судьбою, честно послужить нации.

Однако в конечном счёте мне хотелось приобщиться к счастью иметь право быть и действовать там, откуда когда-нибудь придёт исполнение моей самой заветной мечты — присоединение моей любимой родины к общему отечеству по имени Германский рейх»[164].

Вероятно, эти мотивы действительно сыграли свою роль в том, что он покинул Вену; другие же соображения, надо полагать, оказали на принятие решения лишь большее или меньшее побочное воздействие. Он сам впоследствии сознался, что он так и не смог «научиться венскому жаргону»; кроме того, он обнаружил в этом городе «в области чисто культурных и художественных дел все признаки изнеможения» и счёл дальнейшее пребывание в нём бесцельным уже потому, что для архитектора «после перестройки Рингштрассе задачи, по крайней мере в Вене, большей частью были незначительными»[165].

И всё же не эти причины были решающими. В значительно большей мере и здесь сыграло свою главную роль его отвращение ко всему тому, что было нормой и обязанностью. Выплывшие на свет в 50-х годах его военно-призывные документы, за которыми по его приказу так лихорадочно охотились ещё в марте 1938 года, сразу же вслед за вступлением в Австрию, исключают всякие сомнения в том, что им было совершено так называемое уклонение от освидетельствования, т. е. он хотел увильнуть от прохождения военной службы. Дабы затемнить это дело, он поэтому, явившись в Мюнхен, не только зарегистрировался в полиции как человек без подданства, но и неверно указал затем в своей автобиографии дату отъезда из Вены: Гитлер покинул этот город не весной 1912 года, как он будет утверждать, а в мае года следующего.

Расследования австрийских властей были поначалу безуспешными. 22 августа 1913 года уполномоченный службы

безопасности в Линце Цаунер, отвечавший за розыски, записывает: «Представляется, что Адольф Гиитлер (!) не отметился в полиции ни здесь, ни в Урфаре, и его пребывание в каком-нибудь другом месте также не выявлено.» Бывший опекун Гитлера глава общинного совета Леондинга Йозеф Майрхофер на соответствующие запросы тоже не мог сообщить о местонахождении Гитлера, а обе его сестры, Ангела и Паула, также заявили о своём брате, что они «с 1908 года ничего о нём не знают». И только розыски в Вене выявили, что он перебрался в Мюнхен и проживает там по адресу Шляйсхаймерштрассе, 34. И вот там-то 18 января 1914 года, во второй половине дня, появился нежданно-негаданно служащий уголовной полиции, он арестовал находящегося в розыске и препроводил его на следующий день в австрийское консульство?

Выдвинутое против него обвинение имело очень серьёзный характер, и Гитлер, после того как он столь долго пребывал в безопасности, столкнулся с непосредственной угрозой подвергнуться осуждению. Это было одно из тех банальных событий, которые в будущем ещё чаще могли придать его жизненному пути совсем иное направление. Трудно представить, чтобы он с таким порочащим честь в глазах общества пятном мог объединить и мобилизовать на военный лад миллионы последователей.

Однако и здесь, как и в ряде других эпизодов позднее, на помощь Гитлеру пришёл случай. Власти Линца предложили ему явиться в столь короткий срок, что выполнить это оказалось уже нереальным. А перенос срока дал ему возможность тщательно обдумать письменное объяснение. В этом пространном — на нескольких страницах — послании в адрес «Второго отдела магистрата города Линца», представляющем собой наиболее объёмистый и весомый документ его молодости, Гитлер пытался всеми правдами и неправдами обелить себя. Письмо не только свидетельствовало о его по-прежнему плохом знании немецкого языка и орфографии, но и, по описанию того, как шли его личные дела, говорило, что в целом его жизнь и тут скорее всего текла столь же неупорядоченно и бесцельно, как и в венские годы:

> «В повестке я назван художником. И хотя это звание принадлежит мне по праву, оно всё же правильно только условно. Вернее, я зарабатываю на жизнь как самостоятельный художник только ради того, поскольку я полностью лишён состояния (отец мой был государственным чиновником), чтобы обеспечить себе продолжение образования. Я могу уделять

зарабатыванию на хлеб только частицу моего времени, потому что я всё ещё учусь на художника-архитектора. Так что мои даходы (!) очень скромные, они как раз таковы, чтобы хватить на кусок хлеба.

Прилагаю в качестве даказательства (!) этого справку о налогообложении и покорнейше прошу тут же сразу вернуть мне её назад. Мой заработок определяется в ней в 1200 марок и скорее преувеличен, чем преуменьшен, и это нельзя понимать так, что на каждый месяц приходится ровно 100 марок. О нет. Месячные заработки очень колеблются, а сейчас они уж точно плохие, потому что ведь художественная жизнь в Мюнхене в это время как бы находится в зимней спячке…»

Объяснение, которое он нашёл для своего поведения, было, конечно, притянуто за уши, но оказалось в целом достаточно эффективным. Оно сводилось к тому, что хотя он и пропустил первое освидетельствование, но всё же вскоре вслед за тем объявился сам, по собственному почину, а его бумаги, по всей вероятности, затерялись где-то в канцеляриях. Своё же упущение он пытается оправдать слезливой ссылкой, рассчитанной на сочувствие и не лишённой подобострастной хитрости, на нищенские условия существования в годы жизни в Вене:

«Что же касается упущения, в коем я грешен, осенью 1909 г., то это было для меня чрезвычайно горькое время. Я был молодым неопытным человеком, без какого-либо денежного вспомоществования и слишком гордым, чтобы принимать его от кого-то не говоря уш (!) о том, чтобы просить его. Будучи лишён любого рода поддержки и полагаясь только на самого себя, моих немногих крон, а часто только геллеров, вырученных за мои работы, с трудом хватало мне на ночлег. На протяжении двух лет у меня не было другой подруги кроме заботы и нужды, не было другого спутника кроме вечного неутолимого голода. Я никогда не знал прекрасного слова „молодость“. И сегодня спустя 5 лет осталась память в виде пятен на обмороженных пальцах, руках и ногах. И всё же я не могу не вспоминать об этом времени с определённой радостью, сейчас когда все самое горькое уже позади меня. Несмотря на жесточайшую нужду, находясь в зачастую более чем сомнительном окружении, я всегда достойно берег своё имя, совершенно безупречен перед законом и чист перед

своей совестью…»

Примерно две недели спустя, 5 февраля 1914 года, Гитлер предстаёт перед призывной комиссией в Зальцбурге. Заключение, подписанное и самим Гитлером, гласит: «Негоден к несению строевой и вспомогательной службы, слишком слаб. Освобождён от воинской службы»[166]. Сразу же после этого он отправляется назад в Мюнхен.

Есть все основания полагать, что в Мюнхене он не был совсем уж несчастным. Сам он потом скажет о «внутренней любви», которую он ощутил с первого взгляда к этому городу, и объяснит этот необычный оборот в первую очередь «чудесным союзом первобытной силы и тонкого художественного настроения, этой единой линией от „Хофбройхауза“ до „Одеона“, от „Октоберфест“ до „Пинакотеки“, не называя, однако, — и это весьма характерно — в качестве обоснования своей симпатии никакого политического мотива. Он по-прежнему живёт одиноко и замкнуто на своей Шляйсхаймерштрассе, но, кажется, дефицит в человеческом общении ощущается им тут не столь сильно, как раньше. У него устанавливаются, правда, довольно приличные отношения с портным Поппом, а также с его соседями и друзьями, что объяснялось обоюдной тягой к политизированным беседам. А уж в пивных Швабинга, где происхождение и положение не играют никакой роли и признается любая социальная принадлежность, Гитлер находит ту форму контакта, которую он только и мог выносить, ибо она обеспечивала ему одновременно и близость, и отчуждённость, — непринуждённые, случайные знакомства за кружкой пива, легко возникавшие и столь же легко утрачивавшиеся. Это были те „маленькие кружки“, о которых он потом упомянет, где его считали „образованным“ и где он, судя по всему, чаще встречал не возражения, а одобрение, когда распространялся о непрочности австро-венгерской монархии, неизбежности германо-австрийского союза, антинемецкой и прославянской политике Габсбургов, о евреях или о спасении нации. В том окружении, которое культивировало аутсайдеров и охотно усматривало за эксцентричными мнениями и манерами гениев, он едва ли выделялся этим. Как мы сегодня знаем, когда вопрос его возбуждал, он нередко срывался на крик, но все его высказывания, сколь бы страстными они ни были, отличались своею последовательностью. И ещё он любил пророчествовать и прогнозировать процессы политического развития[167].

А от решения, которым он около десяти лет назад обосновывал свой уход из училища, Гитлер к этому времени

отказался — теперь он уже не стремился стать художником, скажет он после, не упоминая, правда, о том, в чём же виделось ему теперь его будущее, и заверит, что рисованию он тогда уделял столько времени, сколько было нужно, чтобы заработать на жизнь и получить возможность учиться. Однако он не предпринял ничего для осуществления этого намерения. Сидя у окна своей комнаты, он продолжал рисовать маленькие акварели-пейзажи: «Хофбройхауз» и «Зендлинские ворота», «Национальный театр» и «Съестной рынок», «Фельдхеррнхалле» и снова «Хофбройхауз». Годы спустя эти работы будут министерской директивой объявлены «ценным национальным художественным достоянием», а их владельцы — обязанными сообщать о них[168]. Иногда он часами просиживал в городских кафе, молча поглощая целые горы пирожных и предаваясь чтению выложенных там же на столиках газет, или торчал в душном «Хофбройхаузе», и на его бледном лице были видны следы его возбуждённых раздумий. Иной раз он делал в этом наполненном пивными испарениями чаду беглые наброски соседних столиков или интерьера здания в принесённую тетрадь для эскизов. Как и прежде, он тщательно заботится о своей одежде, любил, как свидетельствует семья портного, у которого он снимал комнату, носить фрак; те же свидетели говорят о характерном для него стремлении сохранять дистанцию: «… его было не разобрать. Он никогда не говорил ни о родительском доме, ни о приятелях или приятельницах». В целом же казалось, что он не столько был поглощён какой-то целью, сколько старанием не стать жертвой социальной деградации. Йозеф Грайнер рассказывает, что он в то время как-то встретил его в Мюнхене и спросил, как он думает жить дальше, на что получил ответ, «что, так или иначе, скоро война. Так что будет абсолютно все равно, была у него до этого профессия или нет, потому что в армии, что генеральный директор, что цирюльник, стригущий пуделей, — все едино»[169].

Предчувствие не обмануло его. В «Майн кампф» Гитлер, вспоминая предвоенные годы, образно назовёт их состоянием перед землетрясением, трудноуловимым, почти невыносимым ощущением напряжённости, нетерпеливо жаждущим разрядки, и, по всей видимости, неслучайно эти фразы относятся к довольно удачным в литературном отношении пассажам его книги: «Уже во времена моей жизни в Вене, — говорится там, — над Балканами лежала та белесая духота, которая обычно предвещает ураган, и уже вспыхивал порой яркий луч, чтобы, однако, тут же снова затеряться в жуткой темени. Но затем пришла война на Балканах, а вместе с нею пробежал и первый порыв ветра над

занервничавшей Европой. Приходящее ныне время лежало тяжёлым кошмаром на людях, нависая, словно лихорадочный тропический зной, так что ощущение приближающейся катастрофы в результате вечного беспокойства стало, наконец, страстным желанием: пусть же, наконец, небо даст волю року, которого уже ничем не удержать. И вот уже упала на землю первая мощная молния — разошлась непогода, и в громы небесные включился грохот батарей первой мировой войны»[170].

Сохранилась одна случайная фотография, на которой запечатлён Гитлер среди толпы на мюнхенской площади Одеонсплац, ликующей по случаю объявления войны 1 августа 1914 года. На фотографии хорошо видно его лицо с полураскрытым ртом и горящими глазами — этот день освободил его от всех затруднений, от бессилия и одиночества бытия. «Мне самому, — опишет он потом своё состояние, — те часы показались избавлением от досадных юношеских чувств. Я и сегодня не стыжусь сказать, что, захваченный порывом восторга, я опустился на колени и от всего переполненного сердца возблагодарил небо».

Это было благодарение, адресованное всей эпохе, и редко когда ещё она предстанет столь же единой в своём воинственном порыве, как в августовские дни 1914 года. И не требовалось и безысходности впустую влачившегося существования художника, чтобы воспринять этот день, когда война «ворвалась и смела „мир“, … в то святое мгновение прекрасным» и увидеть осуществлённым прямо-таки «нравственное страстное желание»[171]. Охваченное глубокой депрессией господствовавшее сознание не только Германии, но и всего европейского континента восприняло войну как возможность вырваться из тисков обыденности, и тут снова проявляется, по сути дела, интенсивная взаимная связь между Гитлером и его временем; он неизменно разделял его потребности и чаяния, но более обострённо, более радикально — то, что для времени было лишь неудобством, для Гитлера было отчаянием. И как он тешил себя надеждой, что война изменит все отношения и исходные позиции, так и повсюду там, где призыв «В ружьё!» был встречен ликованием, ощущалось в глубине предчувствие того, что один век подошёл к концу и ему на смену приходит новый. Как это и отвечало эстетизированным наклонностям эпохи, война рассматривалась как очистительный процесс, как великая надежда на освобождение от пошлости и самоедства — в «Священных песнопениях» она воспевалась как «оргазм универсальной жизни», созидающий и оплодотворяющий хаос, из которого возникает новое[172]. И то, что в Европе иссяк свет, было

не только, как это заявил и определил английский министр иностранных дел сэр Эдуард Грей, формулой прощания, но и формулой надежды.

Снимки первых дней августа запечатлели ту лихорадочную праздничность, настроение порыва и радость ожидания, с которыми континент вступил в фазу своей гибели, — мобилизации в сопровождении цветов и криков «ура!», несущихся с тротуаров, а на балконах — дамы в пёстрых летних нарядах. Настроение народного праздника и радостные «Виват!». Нации Европы праздновали уже победы, которых им не доведётся одерживать.

В Германии эти дни воспринимались в первую очередь как небывалое всеобщее единство. Как по мановению волшебной палочки, исчезли все противостояния поколений, пришёл конец ставшей уже поговоркой немецкой розни. Это был опыт почти религиозного характера, который превратил те дни «для всех, кто их пережил, в неотъемлемую ценность высшего порядка», как писал один из тех, кто такое испытал, спустя десятилетия в старческом умилении[173]. Выражением этих настроений стала стихийно зазвучавшая на улицах и площадях «Песня о Германии» долго остававшегося непризнанным революционера-либерала 1848 года Хофмана фон Фаллерслебена, которая превратилась теперь, по сути, в национальный гимн. Фраза Вильгельма II, прозвучавшая перед десятками тысяч людей, собравшихся вечером 1 августа на берлинской площади Шлоссплац, что он не хочет больше знать, «ни партий, ни вероисповеданий», а знает только «братьев-немцев», получила, несомненно, самую большую известность из всего, что он когда-либо говорил; в глубоко и традиционно расколотой нации, страдавшей из-за своих антагонизмов, эта фраза на какой-то незабываемый момент убрала многообразнейшие перегородки; немецкое единство, достигнутое около пятидесяти лет назад, наконец-то, казалось, превратилось в реальность.

Это были дни прекрасных иллюзий. Однако чувство единения лишь затушёвывало то, что, как казалось, оно устраняло. А за картиной примирившейся нации продолжали жить старые противоречия, да и в основе нараставшего ликования лежали самые разные мотивы: личные и патриотические мечты, революционные побуждения и пресыщенность, комплексы антиобщественного протеста, гегемонистские устремления, равно как и страстное желание авантюристических натур вырваться из рутины буржуазного порядка — все это соединилось воедино и ощутило себя на какой-то момент в едином порыве ради спасения Отечества.

И личные ощущения Гитлера не были свободны от таких мистифицированных представлений: «Так вот и у меня, как и у миллионов других, сердце через край переполнялось гордым счастьем,» — так напишет он и объяснит своё восторженное состояние возможностью наконец-то проявить свои национальные убеждения. 3 августа он обращается с прошением на высочайшее имя короля Баварии разрешить ему, несмотря на австрийское подданство, вступить добровольцем в один из баварских полков. И противоречие между уклонением от освидетельствования и этим шагом только кажущееся — прохождение воинской службы подчиняло его воспринимавшемуся лишённым смысла принуждению, в то время как война означала как раз освобождение от разладов, от бремени непонятных чувств, от лишённого направления холостого хода жизни. По его собственным словам, ещё подростком он был очарован двумя патриотическими книжками для народа о войне 1870/71 годов. И вот теперь он собрался вступить в ряды могучей, ещё озарённой ореолом того детского чтива армии. Только что пережитые дни одарили его чувствами эмоциональной сопричастности и согласия, которых ему так не хватало. Теперь, впервые в своей жизни, он увидел задачу, заключающуюся в шансе приобщиться к авторитету мощного, внушающего страх учреждения. И хотя в минувшие годы он приобрёл кое-какой опыт, узнал нужды людей, их чаяния и страхи, но он всегда находился в промежуточных прослойках общества, был аутсайдером без ощущения тождественности судьбы. Теперь же перед ним открылась возможность удовлетворения этой глубокой потребности.

Уже на следующий день после отправки прошения он получил ответное послание. Дрожащими руками, как он потом признавался, Гитлер распечатал конверт. Ему предписывалось явиться в 16-й баварский резервный пехотный полк, именовавшийся по имени его командира ещё и полком Листа. Так началась для Гитлера «самая незабываемая и самая великая пора моей земной жизни»[174].

Глава V
СПАСЕНИЕ БЛАГОДАРЯ ВОЙНЕ

Без войска нас всех здесь не было бы, все мы когда-то пришли из этой школы

Адольф Гитлер

Первые шаги на войне. — Связной в штабе полка. — Не от мира сего^— Университеты Гитлера. — Шок от встречи с Родиной. — Союзническая военная пропаганда. — Провал правящей верхушки. — Мировоззрение против мировоззрения. — Великое наступление 1918 года. — Пазевальк. — Революция и антиреспубликанские настроения. — Версаль. — Конец старой Европы. — Политизация общественного сознания. — Решение стать политиком откладывается. — «Где был Гитлер?» — Аполитичный политик.

Во второй половине октября, после прохождения курса подготовки, продолжавшегося около двух недель, полк Листа был отправлен на западный фронт. В нетерпении, беспокоясь, как бы война не закончилась ещё до того, как ему доведётся вступить в первый бой, Гитлер жил ожиданием их отправки. Но уже в день так называемого боевого крещения, в своём первом бою на Ипре 29 октября, он оказался участником одного из самых кровавых сражений начавшейся войны. Попыткам массированного и по немецкому стратегическому плану решающего прорыва к берегам Ла-Манша стоявшие на этом участке фронта британские части противопоставили ожесточённое и в конечном итоге успешное сопротивление. Четыре дня шли неутихающие бои, и сам Гитлер в письме портному Поппу писал, что в их полку из трех тысяч пятисот человек осталось только около шестисот. Правда, в истории полка называется другая цифра — в этих первых боях погибло триста сорок девять человек. Какое-то время спустя часть потеряла в сражении у деревни Бекелер своего командира и приобрела — частью из-за легкомысленных приказов — «печальную известность»[175].

Описание своего боевого крещения, которое даёт Гитлер в

«Майн кампф», тоже не выдерживает детальной проверки. И всё же та необыкновенная тщательность стиля, которой характеризуется этот пассаж, равно как и заметное старание автора придать ему поэтическую возвышенность, свидетельствуют о том, насколько сильным, незабываемым событием врезался этот бой в его память:

> «А потом приходит сырая, холодная ночь во Фландрии, в течение которой мы молча совершаем свой марш, а когда затем начинает уже вырисовываться из тумана день, тут вдруг с шипением появляется над нашими головами железный привет и, произведя громовой хлопок, осыпает наши ряды шрапнелью, врезающейся в мокрую землю; но ещё до того как рассеивается это маленькое облако, навстречу первому посланцу смерти грохочет из двухсот глоток первое ура. А затем раздался треск и грохот, пение и вой, и вот уже загорелись глаза, и каждый бросился вперёд, все быстрее, пока вдруг на засеянных свёклой и разделённых живыми изгородями полях не вспыхнул бой — рукопашный бой. А издали уже доносились до наших ушей звуки песни, они были все ближе и ближе, текли от роты к роте, и вот тут, когда смерть уже деловито ворвалась в наши ряды, песня пришла и к нам, и мы понесли её ещё дальше: „Германия, Германия превыше всего, превыше всего на свете!“[176]

На протяжении всей войны Гитлер был связным между штабом полка и передовыми позициями, и это задание, когда ему приходилось полагаться только на самого себя, отвечало его характеру одиночки. Один из его тогдашних командиров потом вспоминал о нём как о «спокойном, несколько невоенного вида человеке, который поначалу ничем не отличался от своих товарищей». На него можно было положиться, как на добросовестного и, по словам того же источника, солидного человека. Но и здесь он считался чудаком, «чокнутым», как почти единодушно говорили о нём другие солдаты. Часто сидел он «в углу, с каской на голове, погруженный в свои мысли, и никто из нас не мог вырвать его из этой апатии» Все оценки, а их за эти почти четыре года наберётся довольно много, звучат так же или примерно так же, ни одна из них не производит живого впечатления, но эта их бесцветность отражает серость самого объекта.

Даже те эксцентричные черты, которые его отличали, носят на удивление безличностный характер и высвечивают не столько

его личность, сколько принципы, коим он следовал. Примечательно, что случавшиеся у него порою словоизвержения, с помощью которых он освобождался от своих раздумий, касались не тягот солдатской жизни, которых была тьма, а выражали его страх за победу, подозрения в предательстве и в наличии невидимых врагов. Нет ни одного эпизода, который придавал бы ему индивидуальный облик, ни одного признака какой-либо самобытности, а единственная история, которая дошла из того времени и вошла потом во все хрестоматии, действительно, является не чем иным, как хрестоматийным рассказом о том, как однажды Гитлер, будучи послан с донесением, наткнулся у Мондидье на отряд из пятидесяти французов и как он благодаря своей находчивости, мужеству и хитрости сумел их обезоружить, взять в плен и привести к своему командиру[177].

Его образцовое усердие казалось прямо-таки перерисованным с картинки патриотического календаря, а по сути дела было просто иной формой ухода от окружающего мира, бегством в мир стереотипов. Во время одной разведывательной операции он вырывает своего командира из-под огня неожиданно заговорившего пулемёта противника, «заслонив его собой», и умоляет «не дать полку за такой короткий срок во второй раз потерять своего командира»[178]. Конечно же, он был — вопреки всем имевшим потом место, но диктовавшимся политическими соображениями сомнениям — храбрым солдатом. Уже в декабре 1914 года его наградили «железным крестом» 2-й степени, и «это был самый счастливый день моей жизни, — пишет он портному Поппу, — правда, мои товарищи, которые тоже его заслужили, почти все погибли». В мае 1918 года его награждают полковой грамотой за храбрость перед лицом врага, а 4 августа того же года — редким для рядового «железным крестом» 1-й степени.

Правда, конкретный повод для этой награды так и остался невыясненным до сегодняшнего дня, сам же Гитлер об этом никогда не говорил — предположительно, чтобы не афишировать тот факт, что наградили его по представлению полкового адъютанта еврея Хуго Гутмана. И в истории полка нет об этом ни слова, а имеющиеся свидетельства сильно рознятся друг с другом. В них либо утверждается — явно имея в виду упоминавшуюся историю, — будто Гитлером был взят в плен английский патруль из пятнадцати человек, либо рассказывается о полном драматизма задержании им десяти, двенадцати или даже двадцати французов, причём Гитлеру приписывается даже свободное владение французским языком, хотя в действительности тот знал по-французски лишь одно-два выражения, да и те нетвёрдо. А в ещё одном свидетельстве

утверждается, будто он под сильным огнём сумел пробраться на батарею и тем самым предотвратил грозящий обстрел собственных позиций. Вероятнее же всего, награду он получил не за какой-то отдельный подвиг, а за свою добросовестную, хотя и незаметную службу в течение всех этих лет. Но что бы ни было поводом, в плане будущего фронт оказал Гитлеру неоценимую услугу. Он дал ему, австрийцу, в определённом смысле более высокое право считать своей родиной Германию и тем самым вообще создал необходимые предпосылки для успешного начала его карьеры — благодаря фронту было обретено и легитимировано право Гитлера на решающий политический голос, равно как и право на политических приверженцев.

А вот в самой армейской среде, среди солдат-камерадов, его экзальтированное чувство ответственности, его ефрейторское беспокойство за весь ход военных событий часто вызывали критическую реакцию: «Мы все его ругали,» — вспоминал потом один из его однополчан, а другие говорили: «Ну, чокнутый хочет ещё нашивку заработать». На его худом, желтоватом лице постоянно лежал отпечаток подавленности. И хотя нельзя сказать, что его совсем уж не любили, — нет, скорее чувствовали, что он, как и раньше, держал всех на расстоянии, благодаря чему и ощущал, что он не такой, как его камерады. В отличие от них у него не было семьи, он не получал и почти не писал писем, не разделял он и банальных солдатских привычек, их забот, не терпел их историй о бабах и их гогота: «Ничто я так ненавидел, как эту грязь», — скажет он потом, вспоминая об этом времени, и будет уверять, что вместо всего этого он много размышлял над проблемами жизни, читал Гомера, Евангелие и Шопенгауэра, так что война заменила ему тридцать лет учёбы в университете[179]. Будучи упрямее, чем все они, он полагал, что только он один и знает подлинную суть, и черпал в своём одиночестве, в своей сиротливой уединённости сознание особой избранности. Сохранившиеся фотографии того времени дают определённое представление об этой специфической отчуждённости по отношению к другим солдатам, о несовпадении его и их побуждений и практического опыта: Гитлер, бледный и замкнутый, сидит вместе с ними, но так далёк от них.

Эта совокупная неспособность к человеческим отношениям и была, надо думать, главной причиной того, что за все четыре года на фронте Гитлер дослужился только до ефрейтора. Выступая на Нюрнбергском процессе, офицер, бывший в течение многих лет начальником штаба полка Листа, сказал, что вопрос о производстве Гитлера в унтер-офицеры поднимался, но в конечном итоге было решено этого не делать, «поскольку мы не

могли обнаружить в нём командирских качеств». Говорят, что и сам Гитлер не хотел, чтобы его повышали[180].

То, что нашёл он на войне, в казармах и на солдатских биваках, было тем видом связи между людьми, который отвечал его естеству и характеризовался гарантированным шансом на безликость: и снова тут он встретил форму жизни мужского общежития, хотя и изменившуюся в том плане, что теперь, наконец, она соответствовала его потребностям в социальном престиже, его внутреннему непокою, равно как и его любви к патетике. Но и тут, как и там, его социальные рамки определялись его нелюдимостью и мизантропией, а также его пониженной потребностью в контактах. Родину, которой у него не было, он обрёл на войне, и ничейная полоса стала его домом.

И это с абсолютной буквальностью подтверждается одним из его бывших командиров: «Для ефрейтора Гитлера полк Листа был его родиной»[181]. Эти слова снимают одновременно и противоречие между его, кажется, доведённой до автоматизма дисциплинированностью во время войны и асоциальностью его аутсайдерства в предшествующие годы. После смерти матери он нигде ещё не чувствовал себя, как дома, и никогда не ощущал в такой степени удовлетворённой свою одновременную тягу к приключениям и к порядку, к свободе и к дисциплине, как в штаб-квартирах, окопах и блиндажах на фронте. В противоположность щедрому на раны опыту предыдущих лет война была для Адольфа Гитлера великим положительным моментом его формирования, «огромным впечатлением», «грандиозным», «столь счастливым», как сам он это сформулирует, безудержно приветствуя этот опыт, имевший для него, по существу, метафизический ранг.

Сам Гитлер скажет, что война его перевернула[182]. Ибо, помимо всего иного, она придала ему, чувствительному молодому человеку, твёрдость и сознание его собственной ценности. Примечательно, что теперь он уже не боится показаться на глаза своим родственникам — отпуск в октябре 1917 и в сентябре 1918 года он проводит у родных в Шпитале. Кроме того, на фронте он узнал пользу солидарности, получил какие-то навыки самодисциплины и, наконец, ту веру в судьбу, которые будет отмечен патетический иррационализм его поколения в целом. Мужество и хладнокровие, которые были проявлены им под самым жестоким огнём, создали ему у однополчан своего рода нимб; если Гитлер рядом, говорили они, «то ничего не случится». Кажется, эта уверенность произвела большое впечатление и на него самого; она явно укрепила в нём ту веру в своё особое призвание, которую он настойчиво сохранял в себе во

все эти годы неудач.

Однако в то же время война усугубила и склонность Гитлера к критическим размышлениям. Он, как многие другие, приобрёл на фронте убеждённость в том, что старые руководящие круги поражены бессилием, а тот строй, в защиту которого он выступил с оружием в руках, одряхлел изнутри: «За этих убитых я заставил бы ответить их командиров,» — поразил он как-то своим высказыванием одного из однополчан. Вопрос о новом порядке, который вдруг встал перед этим почти не интересовавшимся политикой молодым человеком из буржуазного круга, целиком захватил его. И хотя поначалу, по его собственным словам, он «не лез в политику» или — как это звучит в другом месте, точно иллюстрируя аполитичность в годы жизни в Вене, — «так что тогда о политике и знать не хотел», его непреодолимая тяга к раздумьям перевернула все его прежние взгляды, и вскоре он стал обращать на себя внимание тем, что «философствовал о политических и мировоззренческих вопросах на примитивный манер маленьких людей». Сохранилось его длинное, на двенадцати страницах, письмо начального этапа войны одному знакомому в Мюнхене, подтверждающее это наблюдение. После подробного описания атаки, в которой ему довелось принять участие («Чудом остался я целым и невредимым»), он заканчивает своё послание следующим пассажем[183]:

> «Я часто вспоминаю о Мюнхене, и у каждого из нас только одно желание, чтобы поскорее наступил час расплаты с этой бандой, час её разгрома, чего бы это ни стоило, и чтобы те, кому выпадет счастье свидеться с родиной, увидели её чище и очищенной от всего чужеземного, чтобы этими жертвами и страданиями, приносимыми ныне ежедневно многими сотнями тысяч из нас, чтобы этим потоком крови, изо дня в день текущем супротив интернационального мира врагов, были не только разгромлены внешние враги Германии, но и чтобы рухнул наш внутренний интернационализм (!). Это было бы ценнее любых земельных приобретений. С Австрией дело пойдёт так как я всегда говорил».

В политическом отношении содержание этого отрывка соответствовало идеологическим установкам, характерным для периода его жизни в Вене: страх перед засильем других наций, а также защитная реакция по отношению к некоему миру врагов; но в зачаточном виде здесь присутствует и то представление из арсенала австрийских пангерманцев, которое обернётся потом его тезисом о примате внутренней политики, а именно, что

расширению власти любого государства должна предшествовать его внутренняя сплочённость; Великой Германии следовало сперва стать немецкой, а лишь затем — великой.

В начале октября 1916 года после лёгкого ранения в левое бедро под Ле Барке Гитлер был доставлен в лазарет в Беелице под Берлином. Почти целых пять месяцев, до начала марта 1917 года, он провёл на родине и судя по всему, в это время и начал приобщаться к политике.

Августовские дни 1914 года и фронтовой опыт врезались в его память прежде всего как факт внутреннего единства нации. На протяжении двух лет это оставлялось воодушевляющей, едва ли подвергавшейся серьёзным сомнениям истиной. Не имея ни своего очага, ни какого-либо пристанища, он отказывался до того от просьб насчёт отпуска и жил, руководствуясь безмятежным рвением, в своём фиктивном мире: «Это был ещё фронт старой, прекрасной армии героев», — будет вспоминать он впоследствии с тоской[184]. И тем более сильным оказался шок, когда в Беелице и в первую очередь в Берлине он вновь столкнулся с теми же политическими, социальными и даже земляческими антагонизмами, что и прежде. Отчаяние охватило его, когда он обнаружил, что времена всеобщего энтузиазма начального этапа уже прошли. Вместо возвышающего присягания судьбе опять выдвинулись партии и партийные свары, разногласия, неповиновения; и вполне возможно, что его сохранившаяся на всю жизнь неприязнь к городу Берлину имеет своим истоком это его знакомство с ним, когда он пережил досаду, голод и разочарование. С возмущением смотрит он на тыловых крыс, хвастающих своей «повышенной смекалкой», отмечает ханжество, эгоизм, наживу на войне, и, сохраняя верность своим комплексам венских дней, за всеми этими явлениями усматривает происки евреев.

С тем же столкнулся он, выписавшись с незажившей раной, и в Мюнхене, где был определён в запасной батальон; ему казалось, что он «уже не узнает» родину. С нескрываемой желчью обращается он против тех, кто заставил пережить это разочарование и разрушил прекрасную мечту о внутреннем единстве, этот первый его положительный опыт со времён детства, — с одной стороны, против «иудейских погубителей народа», из которых двенадцать или пятнадцать тысяч следовало бы подержать «под отравляющими газами», а с другой — против политиков и журналистов. Употреблявшиеся им выражения и сейчас ещё выдают степень охватившей его ярости: «пустомели», «паразиты», «вероломные преступники-революционеры» — все

они не заслуживали, по его словам, ничего иного, как истребления, «нужно было бы безжалостно употребить все средства военной силы для искоренения этой заразы»[185]. А единственное, чего он страстно, доходя прямо-таки до истерики, желал, так это победы; и ни предчувствие, ни расчёт не подсказали ему, что для его восхождения от безвестности ему скорее уж нужно было бы поражение.

Поэтому, вернувшись назад на фронт весной 1917 года, он почувствовал себя как бы на свободе, а весь этот штатский мир, к которому и до того никак не умел приспособиться, — ещё более чуждым себе. Военные документы отмечают его участие в позиционных боях во французской Фландрии, в весеннем сражении у Арраса и в ожесточённых осенних боях за Шемен-де-Дам. С беспокойством отмечает он в это время «бессмысленные письма пустоголовых баб», способствовавшие распространению на фронте охватывавшей родину усталости от войны. С одним из своих сослуживцев, художником Эрнстом Шмидтом, он имеет в ту пору обыкновение часто обсуждать, чем ему следовало бы заняться в будущем, и Шмидт потом говорил, что его собеседник начал тогда задаваться мыслью, не попробовать ли ему свои силы в политике; правда, к какому-нибудь решению он тогда, по словам Шмидта, так и не пришёл. С другой стороны, есть немало доказательств, что он продолжал ещё думать о карьере художника. Когда в октябре 1917 года, вскоре после пресловутой мирной резолюции в рейхстаге[186] и незадолго до воинских побед рейха на восточном фронте, он приехал в отпуск в политический центр страны Берлин, то отправил Шмидту открытку, в которой, в частности, писал: «Имею теперь наконец возможность немного получше изучить музеи».

Позже он будет уверять, что в маленьком кругу своих друзей он тогда частенько говорил, что, вернувшись из действующей армии, собирается, наряду с профессией архитектора, заниматься и политикой. И будто бы даже уже знал, чем конкретно будет заниматься, — станет оратором[187].

Это намерение соответствовало тому, в чём он убедился в венские дни, — любым человеческим поведением можно управлять; его пугала и одновременно привлекала мысль о будто бы действующих повсюду исподтишка закулисных заправилах, и эта мысль наполнялась для него по-настоящему соблазнительной силой, постольку, поскольку росло представление, что он сам в один прекрасный день станет в ряд этих заправил. Его картина человека исключала любую спонтанность, добиваться можно было всего, «чудовищных, почти не поддающихся пониманию результатов», как он не без налёта изумления отметит сам, если

только нужные игроки в нужный момент приводили в действие нужные рычаги. Вот так и будет он оценивать — в совершенно несоразмерной степени — движение исторических процессов, взлёт и упадок народов, классов и партий — именно как следствие большего или меньшего пропагандистского умения, и изложит это своё убеждение в знаменитой 6-й главе «Майн кампф» на примере германской и союзнической пропаганды.

Германия, считает он, потерпела поражение в противоборстве по причине пропаганды, которая была «по форме неудовлетворительной, а по существу психологически неверной». Германское руководство было неспособно оценить поистине ужасающий эффект этого оружия, оно запрещало такую пропаганду, которая не отвечала его представлениям, а разрешало только «пресные пацифистские помои», совершенно не способные «вдохновить людей на смерть». В то время как для выполнения этой задачи «как раз и нужны самые гениальные знатоки души», германская сторона доверила её самоуверенным и равнодушным неумёхам, в результате чего от пропаганды не только не было пользы, но порою ею наносился вред.

Совершенно по-иному действовала, по мнению Гитлера, противная сторона. Он говорит, что был глубоко поражён «столь же бесцеремонным, сколь и гениальным способом» пропаганды союзниками всякого рода ужасов, и растекается в велеречивых, изобилующих терминами рассуждениях по поводу, как он это сформулировал, безусловного, наглого, одностороннего упорства их измышлений[188]. И он научился бесконечно многому» у неё, а поскольку в целом у него была склонность демонстрировать собственные убеждения и воззрения на примерах практики противника, то и свои принципы психологического воздействия он показывает сначала на примере вражеской пропаганды в первой мировой войне. Надо сказать, что тезис о превосходстве противника в сфере ведения психологической войны отвечал весьма распространённому представлению самой немецкой публики. По сути, этот тезис был не чем иным, как одной из легенд, которые пытались лежащими вне военной сферы причинами объяснить гордой своей военной мощью нации то, что было для неё слишком необъяснимым, — а именно, почему же после стольких побед на поле боя, после стольких усилий и жертв Германия все равно проиграла войну. И Гитлер с характерной для него мешаниной из проницательности и косности, что делало его умным и в его заблуждениях, ухватился за такую вот прозрачную попытку объяснения исходным пунктом для своих взглядов на суть и эффект пропаганды: она должна быть общедоступной, должна обращаться не к тем, кто образован, а «вечно только к

массе», её уровень должен устанавливаться в соответствии со способностью духовного восприятия самого ограниченного из тех, кому она адресуется; затем к её условиям относятся следующие: надо, чтобы она содержала постоянно повторяемые лозунги и концентрировалась на немногих понятных целях, чтобы всегда обращалась только к чувству, а ни в коем случае к разуму, и чтобы решительно отказывалась от какой бы то ни было объективности; недопустима даже тень сомнения в собственной правоте, ибо есть только «любовь или ненависть, правота или неправота, истина или ложь, но не бывает, чтобы половина-наполовину» — и все это, как, собственно, и всегда и везде у него, отнюдь не оригинальные мысли; но та энергия, с которой он мыслил, та свобода, с которой он подчинял массы, подчинял их ограниченность, недалёкость и инертность, не пренебрегая ими, а делая тем не менее инструментами своих целеустремлений, и дадут ему скоро значительное превосходство перед всеми его соперниками и другими претендентами на расположение этих масс.

И первое предчувствие такого превосходства пришло к нему уже теперь. Ведь то, что пережил он как раз на последнем этапе войны, рассматривалось им как подтверждение и углубление опыта, накопленного в венские годы, а именно — что без масс, без знания их слабостей, достоинств и взглядов политика уже невозможна; и к обожествляемому идолу Карлу Люгеру присоединились великие демагоги-демократы Ллойд Джордж и Клемансо, а позднее — правда, более бледным и небогатым на идеи — американский президент Вильсон; однако же одной из основных причин все более открыто проявлявшейся немецкой слабости, считал Гитлер, было то, что ни для одного из этих народных вождей из стана союзников у рейха не нашлось хотя бы приблизительного по силе оппонента. Изолированные от народа и неспособные осознать его возрастающее значение, германские правящие круги застыли, столь же высокомерные, сколь и беспомощные в своём консервативном оцепенении, на устаревших позициях. Осознание их фиаско является одним из крупнейших и непреходящих впечатлений Гитлера, относящихся к тому времени. Трезвые, без предубеждений, ностальгии и сентиментальности, которые представляют собой характерную черту слабости уходящих со сцены правящих слоёв, мысли Гитлера заняты лишь конечными результатами. По этой причине он восхищается даже самыми безвкусными инсинуациями вражеской пропаганды, рисовавшей немецких солдат мясниками, склонявшимися над отрубленными руками детей или вспоротыми животами беременных женщин, — ведь в таких картинах

использовался колдовской эффект страха, использовалась механика непрерывного самонагнетения представлений об ужасах в фантазии самого низкого пошиба.

В не меньшей степени поражает его вновь мобилизующая сила идей — ведь лозунгам крестового похода, с помощью которых союзники придали своему делу столь привлекательную вывеску, будто они защищают от сил варварства и погибели не больше и не меньше как весь мир со всеми его святыми ценностями и тем самым выполняют священную миссию, германская сторона всерьёз ничего противопоставить не смогла. И тем фатальнее было то, что под влиянием первых военных успехов она отказалась от не лишённого эффективности тезиса о чисто оборонительном характере войны и все более откровенно стала выражать своё стремление к победному миру с аннексиями, не понимая, что для такого рода устремлений миру нужны оправдания; во всяком случае, нельзя было делать здесь ставку на одну лишь потребность в пространстве и территориальном расширении для нации, вообразившей, что она опоздала. А между тем в конце 1917 года из побеждённой России пришло в сопровождении заклинаний об идее социального освобождения предложение «справедливого и демократического мира без аннексий и в соответствии с правом народов на самоопределение, коего настойчиво желают измученные и истерзанные классы рабочих и трудящихся всех стран»; с другой стороны, в начале 1918 года Вудро Вильсон выступил перед конгрессом с изложением всеобъемлющей концепции мира, которая была призвана сделать «мир пригодным и надёжным для жизни людей», и создавала привлекательную картину строя справедливости, политического и нравственного самоопределения, без насилия и агрессии. И эти идеи перед лицом ставшей беспомощной в идеологическом плане власти рейха неминуемо должны были найти широкий отклик в обессилевшей от лишений стране. Рассказывают один примечательный для того времени эпизод, связанный с неким офицером германского генерального штаба, который осенью 1918 года во внезапном прозрении ударил себя кулаком по лбу и воскликнул: «Знать, что есть идеи, с которыми мы должны воевать, и что мы проигрываем войну, потому что ничего не знали об этих идеях!»[189]

В этом контексте и тезис о невоенных причинах поражения Германии, в многочисленных вариантах ставший позднее составной частью оправдательного репертуара правых, объяснялся не только зигфридовым[190] комплексом нации, желавшей услышать, что побеждена она не в открытом бою, а

скорее вероломством и предательством, — в этом утверждении содержался и более глубокий смысл. Германия и в самом деле была побеждена не на полях сражения, хотя и по-другому, нежели это излагали национальные витии, — устаревшая, ставшая анахронизмом политическая система показала себя слабее более современного демократического строя. И тут впервые Гитлером овладела мысль, что нельзя успешно противодействовать идее одним лишь развёртыванием силы — всегда нужна помощь какой-то другой, убеждающей идеи: «Любая попытка победить мировоззрение средствами силы в конечном итоге терпит неудачу, пока борьба не принимает форму наступления ради новой духовной позиции. Только в борении двух мировоззрений друг с другом оружие жестокого насилия, применённое твёрдо и безжалостно, способно принести решающий успех той стороне, которую оно поддерживает»[191]. Конечно, следует исходить из того, что эта сформулированная позже мысль носила во время войны лишь смутные и эскизные очертания, была скорее предчувствием, нежели ощущением проблемы, и всё-таки она, при всей её расплывчатости, явилась одним из его важнейших обретений в военные годы.

Между тем летом 1918 года снова казалось, что победа Германии ближе, чем когда бы то ни было. За несколько месяцев до этого рейх добился значительного успеха, несравнимого с теми мимолётными викториями на полях сражений, которые только истощали страну, — в начале марта Германия продиктовала в Брест-Литовске свои условия мира России, а примерно месяц спустя — Бухарестским договором с Румынией — ещё раз продемонстрировала самым наглядным образом свою явную мощь. Тем самым окончилась и война на два фронта, и германская армия на западном фронте, имевшая теперь двести дивизий с почти тремя с половиной миллионами личного состава, сравнялась по своей мощи с силами союзников. Правда, по оснащению и вооружённости она значительно уступала противнику, к примеру, против 18 000 орудий в армиях Антанты у немецкой стороны было только 14 000. И всё же, поддерживаемое новой, хотя и не стопроцентной, верой общественности, верховное командование германской армии уже в конце марта предприняло первое из пяти наступлений, которые ещё до прибытия американских войск потребуют крайнего напряжения всех сил и принятия единственного решения. У немецкого народа только один выбор — победить или умереть, — так заявил Людендорф, и в этом заявлении проглядывает та же страсть к азартной игре по-крупному, которая впоследствии будет

характерна и для Гитлера.

Мобилизовав все оставшиеся силы, охваченные после столь многих бесплодных побед и оказавшихся напрасными лишений упрямой решимостью добиться прорыва по всему фронту, а тем самым и победы, немецкие войска перешли в наступление. Гитлер вместе с полком Листа принял участие в этих боях — сначала в преследовании отступающего противника под Мондидье-Нуайоном, а затем в сражениях у Суассона и Реймса. Тогда немецким соединениям удалось в течение первых недель лета оттеснить британские и французские армии и оказаться на расстоянии почти шестидесяти километров от Парижа.

Однако затем наступление захлебнулось. В очередной раз германские армии проявили ту фатально ограниченную силу, которая принесла им лишь кажущиеся победы. Оплаченные большой кровью жертвы, понадобившиеся для этого успеха, доводившая до отчаяния нехватка резервов и, наконец, успехи оборонительной тактики противника, которому удавалось после каждого немецкого прорыва вновь стабилизировать фронт, — все это либо держалось в тайне от публики, либо в пылу триумфа не замечалось ею. Даже 8 августа, когда немецкие операции давно уже замерли, а союзники перешли в контрнаступление на широком фронте, и немецкие позиции — в первую очередь у Амьена — были прорваны, верховное командование германской армии все ещё настаивало на своих ошибочных планах, хотя согласно собственной же радикальной альтернативе должно было, коль скоро победы добиться не удалось, признать своё поражение. Давно уже осознав безнадёжность ситуации, оно тем не менее признавало всего несколько сдержанных мазков, лишь в чём-то омрачивших теперь общую картину немецкой непобедимости.

Результатом же стало то, что общественность страны летом 1918 года считала победу и долгожданное окончание войны близкими, как никогда, в то время как в действительности на повестке дня уже стояло поражение, и мало найдётся иных столь же очевидных свидетельств этих иллюзий, как рассуждения Гитлера о бессилии и неэффективности немецкой пропаганды, хотя он и делал из своих неправильных представлений в общем-то правильные выводы. Даже среди ответственных политиков и генералитета в ходу были самые безрассудные ожидания[192].

Тем чувствительнее оказалось для всех внезапное столкновение с реальностью, когда 29 сентября 1918 года Людендорф потребовал от спешно собранного политического руководства немедленного начала поисков перемирия и, будучи на нервном пределе, призвал отбросить мысли о какой-то

тактической подстраховке. Примечательно, что ранее он не допускал возможности провала наступления и поэтому с негодованием отвергал все предложения, направленные на то, чтобы подстраховать военную операцию политическими средствами. У него даже не было какой-либо точно определённой стратегической цели; во всяком случае, на заданный ему кронпринцем соответствующий вопрос он дал лишь раздражённый, хотя и весьма характерный ответ: «Мы роем яму. А дальше — что получится». А когда принц Макс Баденский спросил, что может произойти в случае неудачи, Людендорф взорвался: «Ну, тогда Германии придётся погибнуть»[193].

Столь же неподготовленная политически, сколь и психологически, нация, верившая, по выражению одного современника, в превосходство своего оружия так же, «как в Евангелие»[194], рухнула в тартарары. Есть одно высказывание Гинденбурга, оно настолько же поучительно, как и трудно понимаемо, и свидетельствует, как тяжело умирали иллюзии нации. После признания Людендорфа, что война проиграна, старый фельдмаршал, выступая, потребовал тем не менее от министра иностранных дел приложить все силы, чтобы добиться аннексии лотарингских рудников[195]. Здесь впервые проявилась та особая форма нежелания считаться с реальностью, с помощью которой многие — и их количество росло — спасались от национальных бед и депрессии и все последующие годы вплоть до опьяняющей весны 1933 г. Эффект этого шокового перехода «от победных фанфар к надгробному песнопению поражения» переоценить невозможно. Отрезвляющий удар наложил такой отпечаток на историю последующих лет, что, можно сказать, её нельзя по-настоящему понять без этого события.

И с особенной силой оно поразило задумчивого, нервного ефрейтора, служившего в полку Листа и смотревшего на войну с точки зрения человека с кругозором полководца. В октябре 1918 года его часть вела оборонительные бои во Фландрии. В ходе этих боев англичане предприняли на Ипре в ночь с 13-го на 14-е октября газовую атаку. Находясь на холме близ Вервика, Гитлер попал под многочасовой беглый обстрел газовыми снарядами. К утру он почувствовал сильные боли, а когда в семь утра прибыл в штаб полка, то уже почти ничего не видел. Несколько часов спустя он совершенно ослеп, его глаза, как он сам описывал своё состояние, превратились в горячие угли. Вскоре Гитлера отправили в лазарет в Пазевальке в Померании[196].

В палатах этого лазарета царит странное возбуждение, курсируют самые невероятные слухи о падении монархии и близком конце войны. С характерным для него чувством

чрезмерной ответственности Гитлер боится беспорядков на местах, забастовок, утраты субординации. Правда, симптомы, с которыми он сталкивается, кажутся ему «больше порождением фантазии отдельных парней»; странное дело, но распространённого и проявлявшегося во всём народе уже куда сильнее, чем во время пребывания Гитлера в Беелице, настроения недовольства и усталости он совершенно не замечает. В начале ноября его зрение идёт на поправку, но читать газеты он пока не мог, и, рассказывают, говорил соседям по палате, что боится, сможет ли он когда-нибудь снова рисовать. Во всяком случае, революция оказалась для него «внезапной и неожиданной»; в тех «нескольких молодых жидах», которые, по его словам, прибыли не с фронта, а из одного из так называемых «лазаретов для трипперных», чтобы повесить «красные лоскуты», он тоже, таким образом, увидел всего лишь действующих лиц некой спонтанной единичной акции[197].

Только 10 ноября до него доходит «самое отвратительное известие в моей жизни». Собранные лазаретным священником раненые узнают, что произошла революция, династия Гогенцоллернов свергнута и в Германии провозглашена республика. Сдерживая рыдания, — так опишет Гитлер этот момент, — старик священник упомянул о заслугах правившего дома, и ни один из присутствовавших не мог при этом удержаться от слез, А когда он начал говорить, что война проиграна и рейх отдан теперь на милость его бывшим врагам, «тут уж я больше не выдержал. Я был просто не в силах слышать это. Все снова потемнело в моих глазах, и я ощупью, наугад пробрался назад в спальню, бросился на постель и спрятал под одеяло и подушку огнём полыхавшую голову. Я никогда не плакал с того дня, как был на могиле матери… Но теперь я не мог удержаться»[198].

Лично для Гитлера это означало новое расставание с иллюзиями, столь же внезапное и непостижимое, как и та провалившаяся в самом начале его жизненного пути попытка попасть в академию. Это преувеличенное до масштабов мифа переживание станет одной из постоянных тем в ходе его дальнейшей карьеры. Даже своё решение заняться политикой он объяснит именно им, как бы демонстрируя тем самым, каким упорным и настойчивым было его стремление подняться выше всего личного. Чуть ли не в каждой из более или менее длинных своих речей он с почти ритуальной регулярностью станет возвращаться к этому и выдавать революцию именно за то событие в его жизни, которое пробудило его, и вся историография будет следовать в этом за ним. И это бесспорно ошеломляющее впечатление, произведённое на него неожиданным поворотом

военных событий, послужит даже поводом для предположения, что его слепота в октябре 1918 года имела — хотя бы отчасти — истерическое происхождение, да и сам Гитлер порою будет давать пищу для такого рода суждений. В своём выступлении в феврале 1942 года перед офицерами и выпускниками офицерских училищ он, например, говоря, что ему грозила опасность совсем ослепнуть, заявит, что зрение и не нужно, если оно видит лишь только мир, где порабощён собственный народ: «Что тут увидишь?» А весной 1944 года, уже перед лицом приближающегося поражения, он в состоянии подавленности скажет Альберту Шпееру, что у него есть основания опасаться, как бы снова не ослепнуть, как это было с ним в конце первой мировой войны[199].

И одно место в «Майн кампф» тоже направлено на поддержание представления, будто Гитлера пробудил от его бездумного существования некий настойчиво звучавший в его ушах призыв: гениальности «ведь зачастую нужен один формальный толчок…. чтобы вспыхнул её свет», — так звучит это там; «в монотонности будней часто и значительные люди имеют обыкновение казаться незначительными и едва ли выделяться из своего окружения; но как только к ним подступает ситуация, в которой другие опустят руки или заплутаются, из невидного, заурядного ребёнка явственно вырастает гениальная натура, нередко к изумлению всех тех, кто видел его до того в мелочной суете буржуазной жизни… Не приди этот час испытаний, едва ли кто-нибудь подозревал бы, что в безусом юнце скрывается юный гений. Удар молота судьбы, опрокидывающий одного, натыкается вдруг у другого на сталь»[200].

Однако все подобные высказывания явно служат лишь тому, чтобы создать впечатление о некоей особой цезуре призванности и с более или менее достаточной убедительностью соединить предшествовавшие годы богемной жизни, апатии и спячки с фазой явной гениальности и избранности. В действительности же то, что пережил он в те ноябрьские дни, скорее парализовало его и привело в растерянность: «Я знал, что всё было потеряно». Требования ненавистного буржуазного мира по исполнению долга и соблюдению порядка, от которых война оберегала его в течение четырех лет, как и проблемы выбора профессии и обеспечения своего существования — все это вновь вплотную подступило к нему, а он был так же не готов к этому, как и прежде. У него не было ни образования, на работы, ни цели, ни жилья, ни близкого человека. И в том припадке отчаяния, которым он, уткнувшись в подушку, реагировал на известие о поражении и революции, проявилось не столько чувство

национальной, сколько индивидуальной потерянности.

Ведь конец войны нежданно-негаданно лишал ефрейтора Гитлера той роли, которую он на этой войне обрёл, и родину он терял тогда, когда ему сказали, что он может теперь туда вернуться. В растерянности наблюдает он, как словно по какому-то тайному знаку рушится дисциплина, составлявшая славу этой армии, и у камерадов, людей вокруг него, нет теперь иных потребностей, как сбросить с плеч ставший вдруг невыносимым груз четырех лет, положить конец всему этому, вернуться домой и не прятать больше страхи и унижения солдатского бытия за патриотическими формулировками и позами воинов: «Итак, всё было напрасным. Напрасными были все эти жертвы и лишения, напрасными — голод и жажда в течение иной раз нескольких месяцев, зряшными — часы, когда мы, охваченные цепкими лапами смертельного страха, всё-таки выполняли свой долг, и напрасной оказалась смерть миллионов, которые погибли при этом»[201].

Вот это-то, а не революционные события, глубоко поразило Гитлера, а его привязанность к правившему дому была столь же мала, как и его уважение к руководящим кругам рейха, он просто не был «белым». В шок его повергли неожиданное поражение, а также та утрата роли, которая отсюда вытекала. Тягостные явления, которыми сопровождалась революция, не давали ему и никакой эрзац-роли, скорее, они были отрицанием всего того, что он подсознательно почитал, — величия, пафоса, смертельной любви; никакая не революция, а, несмотря на весь шум на авансцене, всего лишь стачка против войны, продиктованная самым элементарным, и, на его взгляд, банальнейшим мотивом, — желанием выжить.

Революция, не являвшаяся таковой, вылилась главным образом в поверхностную, представляющуюся удивительно беспомощной жестикуляцию. Начиная с первых ноябрьских дней все дороги в Германии были запружены дезертирами, охотившимися на офицеров. Они сбивались в группы, подстерегали офицеров, задерживали и, осыпая их руганью и оскорблениями, срывали с них знаки отличия, погоны и кокарды — это было актом запоздалого бунта против рухнувшего режима, бессмысленным, хотя и объяснимым. Но он порождал и со стороны офицеров и вообще всех сторонников закона и порядка неистребимое, чреватое тяжёлыми последствиями ожесточение и глубокую ненависть по отношению к революции и тем самым к режиму, начавшему своё существование под знаком таких побочных явлений.

К этому добавилось ещё и то, что история не дала революции возможности дойти до апогея, который бы достойно закрепил её в сознании нации. Ещё в октябре 1918 года новый канцлер, принц Макс Баденский, ответил на требования американского президента, равно как и общественности страны, рядом внутриполитических реформ, принёсших Германии парламентскую реформу правления, и наконец утром 9 ноября объявил ничтоже сумняшеся и в немалой мере на свой страх и риск об отречении кайзера — и революция, ещё даже не начавшись, как бы сразу же оказалась у самой цели; во всяком случае, она не получила возможности показать себя при достижении какой-либо политической цели. Нечаянным образом её лишили повода для клятвы у её Зала для игры в мяч[202] и для штурма Бастилии.

При наличии таких побочных обстоятельств у революции существовала только одна благоприятная перспектива стать таковой — она должна была воспользоваться той притягательной силой, которой обладает все новое. Однако новые властители, Фридрих Эберт и социал-демократы, были солидными и озабоченными людьми, преисполненными скепсиса и благой рассудочности. Отменив в первые же дни звания тайных советников и советников коммерции, а также ордена и другие знаки отличия, они на этом и успокоились[203]. Удивительный педантизм и отсутствие интуиции, выражавшиеся во всём их поведении, объясняют и тот факт, что у них совершенно не было чутья на требования момента, ни какого-либо большого замысла в общественном плане. Это была «абсолютно безыдейная революция», как подметил ещё тогда один из современников[204], во всяком случае, она не давала ответа на эмоциональные нужды побеждённого и разочарованного народа. Конституция, обсуждавшаяся в первой половине 1919 года и принятая 11 августа в Веймаре, не сумела даже достаточно убедительно сформулировать свой собственный смысл. Строго говоря, она видела себя лишь техническим инструментом строя демократической власти, но инструментом, лишённым понятия о целях этой власти.

Так что нерешительность и недостаток смелости уже вскоре отняли у революции и её второй шанс. Конечно, новые деятели могли ссылаться на огромную всеобщую усталость, на довлевший надо всеми страх перед страшнейшими картинами русской революции, да они и находили в своей беспомощности перед лицом тысяч проблем, стоявших перед побеждённой страной, немало причин для ограничения стремления к политическому обновлению, которое выразилось в лице рабочих и солдатских

советов. Так или иначе, но события побуждали к отказу от традиционных подходов, чего, однако, так и не последовало. Даже правые первоначально приветствовали революцию, а слова «социализм» и «социализация» именно в среде консервативной интеллигенции воспринимались как волшебные заклинания ситуации. Но новые властители не предложили никакой иной программы, кроме установления спокойствия и порядка, реализовывать которую они к тому же брались только в союзе с традиционными властями. Не было предпринято ни единой, даже самой робкой, попытки социализации, феодальные позиции немецкого землевладения остались незатронутыми, а чиновникам были в спешном порядке гарантированы их места. За исключением династий, все общественные группы, имевшие до того определяющее влияние, вышли из перехода к новой форме государства почти без потерь. И у Гитлера будет потом причина издеваться над действующими лицами ноябрьской революции: кто же мешал им строить социалистическое государство — ведь для этого у них в руках была власть[205].

Скорее всего, какую-то революционную картину будущего могли предложить только левые радикалы, но у них не было ни поддержки в массах, ни искры «энергии Катилины»[206], коей они не обладали изначально[207]. Знаменитое 6 января 1919 года, когда революционно настроенная масса в несколько десятков тысяч человек собралась на Зигесаллее в Берлине и до самого вечера тщетно ожидала команды занятого непрерывными дебатами революционного комитета, пока не замёрзла и, усталая и разочарованная, разошлась по домам, доказывает, какой, как и прежде, непроходимой осталась пропасть между идеей и делом. Правда, левые революционеры, главным образом до убийства их выдающихся вождей Розы Люксембург и Карла Либкнехта контрреволюционными военными, отпугнули страну в середине января волнениями, беспорядками и стачками, от которых было рукой подать до гражданской войны. Но то, что оказалось исторически безуспешным, все же не осталось только лишь в силу этого без последствий.

Дело в том, что запутавшееся и лишённое ориентиров общество уже в скором времени все схватки и столкновения того этапа стало сваливать на республиканский строй, который на самом-то деле лишь оборонялся, — все ставилось в вину «революции», а государство, которое родилось наконец в те несчастливые времена, в самом широком сознании непостижимым образом ассоциировалось уже не только с восстанием, поражением и национальным унижением — эти представления стали теперь все в большей степени сливаться с

картинами уличных боев, хаоса и непорядка в обществе, что всегда мобилизовало мощные защитные инстинкты нации. Ничто не повредило так республике и её успехам в общественном сознании, как тот факт, что у её истоков стояла «грязная», да и к тому же половинчатая революция. Вскоре у подавляющей части населения, даже в умеренных в политическом отношении кругах, в памяти от тех месяцев не осталось ничего, кроме стыда, печали и отвращения.

Условия Версальского мирного договора ещё более усугубили эту неприязнь. Нация чувствовала себя втянутой в оборонительную войну, абстрактная дискуссия во второй половине войны о её цели едва ли была понята национальным сознанием, в то время как ноты американского президента Вильсона породили самые широкие иллюзии, будто крушение монархии и принятие западных конституционных принципов смягчат гнев победителей и настроят их примирительно по отношению к тем, кто, по сути, делал не что иное, как продолжал все так же вершить делами в бозе почившего режима уже после его кончины. Многие верили также, что «мирный мировой порядок», основы которого, как это прокламировалось в самом Версальском договоре, оным договором закладывались, исключал и стремление отомстить, и акты явной несправедливости, да и любые формы диктата вообще. Время этих вполне объяснимых, но всё же несбыточных надежд очень точно было названо «утопией периода прекращения огня»[208]. Тем растеряннее, буквально возгласом возмущения, реагировала страна на то, какими условиями стало обставляться заключение мирного договора в начале мая 1919 года. Это общественное возбуждение нашло своё политическое отражение в отставке канцлера Филиппа Шайдемана и министра иностранных дел графа Брокдорфа-Ранцау.

Сегодня совершенно ясно, что внешнеполитические условия были поставлены державами-победительницами с мстительной и оскорбительной обдуманностью. Конечно, было понятно, почему они открыли конференцию 19 января 1919 года — в день, когда почти за пятьдесят лет до того был провозглашён германский рейх, и выбрали местом подписания договора тот же Зеркальный зал, где проходила церемония этого провозглашения; но тот факт, что датой подписания мирного договора было установлено 28 июня — день годовщины убийства австрийского престолонаследника Франца Фердинанда в Сараево, — находился в циничном противоречии с помпезными заверениями Вильсона о чистоте намерений победителей.

Вообще накладывавшийся договором груз был не столько

материального, сколько психологического характера, и это травмировало всех, и правых, и левых, все лагери и все партии, и порождало чувство несмываемого унижения. Территориальные притязания, возмещение убытков и репарации, вызвавшие поначалу по меньшей мере столь же ожесточённую полемику, конечно же, не были такими «по-карфагенски жестокими», как об этом потом говорили, и, несомненно, вполне выдерживали сравнение с теми условиями, которые рейх ставил в Брест-Литовске России и в Бухаресте Румынии, — невыносимыми же, по-настоящему оскорбительными и воспринимавшимися как «позор» — и это сыграет вскоре весьма агрессивно-стимулирующую роль в агитации правых — были те положения договора, которые затрагивали момент чести, и в первую очередь статья 228, требовавшая выдачи поимённо перечисленных немецких офицеров для предания их военным судам союзников, а также пресловутая статья 231, однозначно приписывавшая моральную вину за развязывание войны Германии. Совершенно очевидными были противоречия и проявления непорядочности во всех 440 статьях этого договора-трактата, которым победители предъявляли свои законные притязания в позе всемирного судьи и взывали к покаянию в грехах, когда на деле-то речь шла об интересах, — вообще всему договору был присущ абсолютно бессмысленный, хотя и вполне объяснимый дух жаждавшего мести морализирования, чем он породил столько ненависти и дешёвых насмешек. Да и в самих странах Антанты договор подвергался ожесточённой критике. Например, право на самоопределение, возведённое в заявлениях американского президента в степень принципа всемирного примирения, отбрасывалось везде там, где оно могло бы проявиться в пользу рейха: такие чисто немецкие территории как Южный Тироль, Судетская область или Данциг отбирались либо получали самостоятельность, а вот на объединение Германии с немецкой частью разгромленной габсбургской монархии был, напротив, просто-напросто наложен запрет; наднациональные государственные образования были в одном случае — Австро-Венгрия — разрушены, а в других — Югославия, Чехословакия — созданы заново, и вообще, национализм получал триумфальное одобрение, но одновременно и — в идее Лиги наций — своё отрицание, — едва ли хоть одна из проблем, являвшихся, собственно говоря, предметом развернувшегося в 1914 году противоборства, нашла своё разрешение в этом трактате-договоре, слишком уж явно игнорировавшем ту мысль, что высшая цель любого мирного договора есть мир.

Вместо этого оказалось в значительной степени разрушенным

сознание европейской солидарности и общей судьбы, сохранявшееся на протяжении поколений и продолжавшее жить вопреки войнам и страданиям. Новое миротворчество не проявило особого желания к восстановлению этого сознания. Германия, во всяком случае, была, строго говоря, навсегда отлучена от него, поначалу её даже не допустили в Лигу наций. Такая дискриминация ещё в большей мере, чем когда бы то ни было, отвернула её от европейской общности, и оставалось лишь вопросом времени, когда появится человек, который поймает победителей на слове и вынудит их отнестись к своему лицемерию всерьёз. Гитлер и впрямь обязан немалой долей своих первоначальных внешнеполитических успехов тому факту, что выдавал себя — не без показного простодушия — за самого что ни на есть решительного приверженца Вильсона и версальских максим и не столько за противника, сколько вершителя некоего прежнего утраченного порядка. «Страшные времена начинаются для Европы, — написал один из самых проницательных наблюдателей в тот день, когда в Париже был ратифицирован мирный договор, — духота перед грозой, которая, вероятно, окончится ещё более страшным взрывом, чем мировая война»[209].

Во внутриполитическом плане возмущение положениями мирного договора ещё больше усилило настроение антипатии к республике — ведь она оказалась неспособной оградить страну от тягот и бесчестия этого «позорного диктата». Собственно говоря, только теперь по-настоящему и выяснилось, насколько же непопулярной она была — во всяком случае, в этой форме, — являясь результатом смятения умов, случая, усталости и ожиданий мира. К тем многим сомнениям, которые порождались её бессилием во внутренней политике, добавилась теперь и дурная репутация, которую заработала она слабостью своей внешней политики, и все большему числу людей слово «республика» стало уже представляться вскоре синонимом позора, бесчестия и беспомощности. Так или иначе, но ощущение, будто республика была навязана немецкому народу обманом и принуждением и является чем-то абсолютно чуждым ему, закрепилось и, в общем и целом, уже не менялось. Правильно, конечно, что несмотря на весь этот груз у неё были все же шансы, но даже в немногие счастливые свои годы она «не сумела по-настоящему привлечь к себе ни преданности, ни политической фантазии людей»[210].

Значение всех этих событий состояло в том, что они дали мощный толчок процессу политизации общественного сознания. Широкие слои, находившиеся до того в политическом подполье,

оказались вдруг преисполненными политических страстей, надежд и отчаяний, и эти настроения захватили в лазарете в Пазевальке и повлекли за собой и Гитлера, которому было в то время уже около тридцати лет. У него было смутное, но одновременно радикальное ощущение несчастья и предательства. И хотя это ощущение приблизило его на один шаг к политике, но само решение стать политиком, которое он связывает в «Майн кампф» с ноябрьскими событиями, пришло, несомненно, позднее, — скорее всего, в тот поразительный момент примерно год спустя, когда он в чаду маленького помещения выступил в гипнотическом возбуждении перед небольшой аудиторией, открыл в себе талант оратора и увидел вдруг выход из страхов безнадёжно блокированного существования в какое-то будущее.

Это утверждение подкрепляется, во всяком случае, его поведением в течение последующих месяцев. Когда Гитлер в конце ноября, уже выздоровев, был выписан из лазарета в Пазевальке, он тут же направился в Мюнхен и прибыл в запасной батальон своего полка. И хотя этот город, сыгравший в ходе ноябрьских событий немалую роль и положивший начало свержению германских княжеских династий, буквально вибрировал от политического возбуждения, Гитлер остался ко всему этому безучастен и, вопреки его позднейшим заверениям о созревшем решении заняться политикой, ни интереса, ни причастности к этим событиям не проявил. Весьма скупо он заметит, что власть «красных» вызвала у него отвращение; но поскольку такое же отношение к «красным» было у него и после — да и в принципе, по его же собственным словам, на протяжении всего существования республики, — это замечание едва ли можно рассматривать как оправдание его слабого интереса к политике. Не имея никакой цели, но ощущая потребность хоть в каком-то занятии, он в начале февраля записывается, в конце концов, добровольцем в службу охраны лагеря для военнопленных, находившегося близ Траунштайна неподалёку от австрийской границы. Когда же примерно месяц спустя военнопленных — несколько сот французских и русских солдат — выпустили, а лагерь вместе с его охраной расформировали, он вновь оказался не у дел и в растерянности вернулся назад в Мюнхен.

Поскольку он не знал, куда ему деться, то снова занял койку в казарме в Обервизенфельде. Вероятно, это решение далось ему нелегко, потому что оно принуждало его вступить в Красную армию, взявшую к тому времени власть, и носить на рукаве её красную повязку. Но так или иначе, ему пришлось с этим смириться и встать на сторону победивших революционеров, хотя

он мог бы вступить в один из добровольческих отрядов, либо в иную воинскую часть, не связанную с «красной» властью. И это едва ли не лучшее доказательство того, насколько слаборазвитым было ещё в то время его политическое сознание и насколько низким — его политическое чутьё, которое потом, как говорят, заставило его впадать в ярость уже при самом упоминании слова «большевизм», — вопреки всему позднейшему украшательству, его политическое безразличие на том этапе явно было сильней унизительного чувства оказаться солдатом армии мировой революции.

Впрочем, у него и не было никакого выбора, кроме армии. Милитаризованный мир был по-прежнему единственной социальной системой, в которой он ощущал себя дома, демобилизоваться означало бы для него вернуться в тот анонимный мир потерпевших крушение, откуда он пришёл. Потом Гитлер сам засвидетельствует, что он отчётливо представлял всю безысходность своего личного положения: «В это время в моей голове роились бесконечные планы. Целыми днями обдумывал я, что же вообще можно сделать, но всякий раз итогом всех размышлений была трезвая констатация того, что я, не имея имени, не имею и ни малейшего условия для какого-нибудь целесообразного дела.»[211] Это замечание демонстрирует, насколько далёк оставался он и теперь от мысли о работе, о хлебе насущном и гражданском ремесле; больше всего его мучило сознание отсутствия имени. Если верить его автобиографии, как раз в это время он навлекает на себя своими политическими выступлениями «недовольство Центрального совета» правительства Баварской советской республики, и в конце апреля будто бы его даже решают арестовать, но он, угрожая карабином, обращает команду, пришедшую взять его, в бегство. На самом деле к указанному времени Центральный совет уже прекратил своё существование.

В большей степени все говорит тут за то, что его поведение в это время было смесью из растерянности, пассивности и оппортунистического приспособленчества. Даже в бурных событиях начала мая, когда добровольческие отряды под командованием Эппа и другие соединения захватили Мюнхен и сбросили власть Советов, он не принимает никакого сколь-нибудь заметного участия. Отто Штрассер, бывший одно время среди его соратников, впоследствии публично задаст такой вопрос: «Где был Гитлер в тот день? В каком уголке Мюнхена прятался солдат, который должен был бы сражаться в наших рядах?» А вместо этого Адольф Гитлер был арестован войсками, вошедшими в город, и оказался на свободе только благодаря заступничеству

нескольких офицеров, которые его знали. Рассказ о якобы имевшей место попытке его ареста Центральным советом представляет собой, возможно, ретушированную версию как раз этого события.

Вслед за вступлением Эппа в Мюнхен начались многочисленные расследования того, что происходило в городе в период власти Советов, и существуют разные предположения насчёт роли Гитлера в ходе этих расследований. Точно известно, однако, лишь то, что он предоставил себя в распоряжение следственной комиссии 2-го пехотного полка. Он собирает сведения для развёрнутых допросов, нередко заканчивавшихся чрезвычайно суровыми, нёсшими на себе отпечаток ожесточённости только что утихших боев приговорами, выискивает солдат, служивших коммунистическому советскому режиму и, по всей вероятности, выполняет свои задания в целом так успешно, что вскоре после этого его направляют на курсы, где велось обучение «гражданственности».

Вот тут он впервые и начинает выделяться, выступать из безликой массы, чья анонимность так долго и скрывала, и угнетала его. Сам он назовёт свою службу в следственной комиссии «первой более или менее настоящей политически активной деятельностью»[212]. Он всё ещё продолжает дрейфовать, но та струя, в которую он угодил, быстро принесёт его к финишу периода его формирования, лишь смутно освещаемого удивительной полутьмой из асоциальности и ощущения своей миссии. Если же смотреть на все в совокупности, то бросается в глаза, что Адольф Гитлер, которому суждено будет стать явлением в политике этого столетия, до тридцатилетнего возраста не принимал в ней никакого участия. В том же возрасте Наполеон был уже первым консулом, Ленин находился после ссылки в эмиграции, Муссолини стал главным редактором газеты социалистов «Аванти». Гитлера же, напротив, ни одна из идей, которые в скором времени понесут его к попытке захватить весь мир, пока ещё не подвигла ни на один хотя бы сколько-нибудь достойный упоминания шаг; он не вступил пока ни в какую партию, ни в какой-нибудь из многочисленных союзов своего времени — за исключением венского союза антисемитов — дабы приблизить осуществление своих представлений. Нет ни единого свидетельства того, чтобы хоть как-то проявилось его стремление к действиям, и не единого признака, который бы хоть в чём-то поднимался над косноязычным лепетом банальностей эпохи.

Эта отрешённость от какой бы то ни было политики может — хотя бы частично — объясняться внешними обстоятельствами его

становления, его одиночеством в Вене, ранним переездом в Мюнхен, где до того, как началась война и увела его на фронт, он считался иностранцем; можно допустить также, что это впечатление определяется и своеобразием его спутников в те годы, чьи воспоминания о «друге юности» и его политических симпатиях не столь полны, как того заслуживал молодой Адольф Гитлер. Но ведь это может также означать, что политика для него, если судить по гамбургскому счёту, тогда мало что значила.

Он сам, выступая 23 ноября 1939 года, уже в зените сознания собственной власти, перед высшим генералитетом, сделает поразительное признание, что он стал политиком в 1919 году после долгих внутренних баталий с самим собой и что для него это было «самое трудное решение из всех»[213]. И хотя это выражение, разумеется, имеет в виду трудности любого начала, оно всё-таки, помимо всего, явно свидетельствует и о его внутреннем предубеждении по отношению к политической карьере. Вероятно, тут сыграло свою роль и традиционно немецкое пренебрежение к тому, что вкладывалось в понятие «текущая политика» и уже в понятийном плане воспринималось как более низкий уровень по сравнению с любым крупным творческим деянием, особенно же, если иметь в виду его безвозвратно оставленную юношескую мечту стать «одним из лучших, если не лучшим архитектором Германии». Уже в апогее власти он как-то скажет, что куда охотнее скитался бы по Италии «неизвестным художником» и что якобы только смертельная угроза собственной расе толкнула его на, откровенно говоря, чуждый ему путь политики[214]. И тогда становится понятным, почему даже революция не затронула его в политическом плане. Конечно, ноябрьские события, крах всех авторитетов, гибель династии и царивший хаос в значительной степени подорвали его консервативные инстинкты, но все это не подвигло его на действенный протест. Ещё сильнее, чем презрение к политическому гешефту, было у него отвращение к бунту и революционным интригам. Пройдёт двадцать пять лет, и он в одной из своих застольных бесед, говоря о событиях ноябрьской революции, поставит знак равенства между участниками переворота и уголовниками, видя в них лишь «асоциальное отребье», которое следует вовремя уничтожить[215].

Только личные мотивы, осознание им в дальнейшем силы воздействия собственных выступлений, побудили его отбросить все предубеждения — и предубеждение против политической карьеры, и робость, продиктованную боязнью прослыть нарушителем порядка. И вот только теперь встрял он в политику — фигура революции, хотя и — как скажет он через четыре года,

оправдываясь на процессе в мюнхенском народном суде, — революционер против революции. Но был ли он при всём при этом чем-то другим, а не тем растерянным перед жизнью, подавленным человеком искусства, которого перенесли в политику какое-то стремление к тому, чтобы переделать мир, и некий необыкновенный, особый талант? Этот вопрос будет то и дело всплывать на протяжении всей этой жизни, и то и дело будет возникать искушение спросить, означала ли когда-либо политика для него нечто большее, нежели средства, с помощью которых он её проводил, — как например, триумфы риторики, театральность демонстраций, парадов и партсъездов, спектакль применения военной силы в годы войны.

Верно, конечно, что крах старого строя вообще только лишь открыл ему путь в политику. Пока буржуазный мир стоял прочно и политика оставалась карьерой для буржуа, у него было мало шансов на имя и успех — для неустойчивого темперамента Гитлера этот мир с его формальной суровостью и серьёзностью требований не сулил возможностей взлёта. 1918 год открыл ему дорогу. «Я должен был теперь смеяться при мысли о собственном будущем, мысли, которая ещё совсем недавно доставляла мне такие горькие заботы», — писал он[216].

Он вступил на политическую сцену.

Конец первой книги

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ СТРАХ

Нас то и дело упрекают в том, что нам мерещатся призраки

«Фелькишер беобахтер» от 24 марта 1920 г.

Триумф и кризис демократической мысли. — Угроза революции. — Великий страх. — Пессимизм европейской цивилизации. — Великая нелюбовь к Просвещению. — Версальское предательство. — Вооружённый страх. — Гитлер — «фашистский тип». — Идея фюрера. — Средневековье и модернизм. — Фашизм как культурная революция. — Оборонительная позиция. — В союзе с инстинктом. — Бунт ради завоевания авторитета. — Поворот тенденции эпохи

Ничто не казалось после окончания первой мировой войны столь непререкаемым как победа демократической идеи. Над новыми границами, смутой и продолжавшимися распрями народов возвышалась, бесспорно и неопровержимо, как объединяющий принцип эпохи, идея демократии. Ибо война решила не только вопрос о притязании на могущество, но одновременно и вопрос о сферах господства — в результате крушения почти всего средне — и восточноевропейского мира, из революции и столпотворения возникли многочисленные новые государственные образования, и все они стояли под знаком концепций демократического строя. Если в 1914 году в Европе насчитывалось три республики и семнадцать монархий, то четыре года спустя число республиканских и монархических государств сравнялось. Казалось, что дух эпохи недвусмысленно указывал на различные формы народовластия[217].

И только Германия, первоначально временно задетая и даже охваченная этим духом, казалась теперь сопротивлявшейся ему — среди прямо-таки необозримой толчеи партий и клубов, придерживавшихся идей «фелькише», в стране воинственных орденов и добровольческих отрядов шла организация отпора созданной войною реальности. Революция воспринималась этими группами чужой и навязанной насильно, она была для них

синонимом «всего, что противоречит немецкому пониманию государства», а то и просто презрительно именовалась «грабительским институтом капитала Антанты»[218].

Бывшие противники Германии увидят в этих ставших вскоре распространёнными симптомах национального протеста реакцию строптивого и извечно авторитарного народа на демократию и гражданское самоопределение. Конечно, они не упускали тут из виду и беспримерно усилившиеся политические и психологические нагрузки: шок от поражения, Версальский договор с его обвинительными формулировками, территориальными потерями и требованиями по возмещению ущерба, равно как и обнищание и духовную разруху самых широких слоёв. Но за всем этим постоянно стояло представление о некой значительной нравственной дистанции между немцами и большинством их соседей. Последние считали, что эта загадочная страна, упрямо набычившись и не поддаваясь никаким уговорам, упорствует в своей отсталости, превратив её, по сути, в предмет некоего особого претенциозного сознания и противясь не только западному разуму и гуманизму, но и вообще всемирной тенденции. И это представление вот уже на протяжении десятилетий доминирует в полемике относительно причин столь крутого подъёма национал-социализма.

Однако картина победоносной демократии, породившая так много надежд, была обманчивой, и момент, когда уже казалось, что демократия получает своё историческое воплощение, стал одновременно и началом её кризиса. Всего несколько лет спустя демократическая идея в самом её принципе была, как никогда ранее, поставлена под сомнение, и то, что только вчера торжествовало, было затоптано куда более дикими триумфами движения нового рода, либо оказалось в смертельной опасности перед лицом этого движения, обретшего под сходными приметами жизнь почти во всех европейских государствах.

Наиболее крупные успехи этих движений отмечались в тех странах, где война пробудила или заставила осознать мощные комплексы неудовлетворённости и где, в частности, войне сопутствовали революционные восстания левого толка. Одни из этих движений были консервативными и призывали к возврату в те времена, когда люди были более честными, долины — более мирными, а деньги — более ценными; другие же строили из себя революционеров и лезли из кожи вон в охаивании всего существующего; некоторые привлекали на свою сторону главным образом мелкобуржуазные массы, другие — крестьян или отдельные отряды рабочего класса, но сколь бы странной и причудливой не была в их рядах мешанина классов, интересов и

симптомов, все они тем не менее черпали свою динамику в глубине малообразованных и более энергичных слоёв общества. Национал-социализм был всего лишь разновидностью этого европейского покроя движения протеста и сопротивления, решившего перевернуть мир.

Национал-социализм возник по-провинциальному, из скучных, мещанских объединений, «компаний», как издевался Гитлер, которые собирались в мюнхенских пивных за столиками со скудной выпивкой и закуской, чтобы поговорить о национальных и семейных горестях. Никто не мог и предположить, что у них будет шанс не только бросить вызов мощным, высокоорганизованным массовым марксистским партиям, но даже и обойти их. Однако последующие годы показали, что в этих компаниях любивших поговорить на политические темы сторонников «фелькише», к которым вскоре стали присоединяться возвращающиеся с обманутыми надеждами фронтовики и пролетаризованная буржуазия, скрывалась немыслимая динамика, только, казалось, и ожидавшая, чтобы её разбудили, организовали и бросили в дело.

Их побудительные мотивы были столь же различными, как и группы, в которые они формировались. Только в одном Мюнхене в 1919 году существовало около пятидесяти объединений более или менее политического характера, в них входили преимущественно разрозненные осколки сбитых с толку и распавшихся в ходе войны и революции партий довоенного времени. Они называли себя «Новым Отечеством», «Советом духовного труда», «Кольцом Зигфрида», «Универсальным союзом», «Nova Vaconia» «Союзом социальных женщин», «Свободным объединением социальных учащихся», «Союзом Остары». Была тут и Немецкая рабочая партия. А то, что всех их объединяло и несмотря на различия сводило — и теоретически, и практически — вместе, было не что иное, как всепокоряющее чувство страха.

Первоначально это был совершенно непосредственный страх перед революцией, тот «grande peur» (великий страх), который со времён Великой французской революции на протяжении всего XIX века врывался во все сны европейцев. Представление о том, что революции — это стихийные явления, действующие независимо от воли и желания их актёров, как бы по законам механики стихий, повинуясь собственной логике и неизбежно выливаясь в господство ужаса, в разрушения, убийства и хаос, стало с той поры неотъемлемой частью общественного сознания — именно это представление, а не та, как считал Кант, все же проявившаяся

в революции 1789 года способность человеческой натуры к лучшему, и явилась опытом, уже не давшим больше забыть о себе. Что же касается Германии, то этот опыт на протяжении жизни нескольких поколений сковывал любую волю к революционной практике и породил «фанатизм покоя», который реагировал чуть ли ни на каждый призыв к революции стандартной апелляцией к чувствам спокойствия и порядка.

Этот старый страх усугублялся теперь не только сходными с революцией событиями в собственной стране, но в первую очередь — русской Октябрьской революцией и исходящей от неё угрозой. Ужасы красного террора, раздутые — прежде всего стекавшимися в Мюнхен беженцами и эмигрантами — до проявлений сатанизма, оргий резни и жаждавшего крови варварства, неизгладимо врезались в народную фантазию. Один из мюнхенских листков «фелькише» опубликовал в октябре 1919 года вот такую заметку, дающую представление о мании страха того времени и её конкретном выражении:

> «Печальны времена, когда ненавидящие христиан орды диких азиатов простирают повсюду свои окровавленные руки в стремлении задушить нас! Антихристовы бойни, устраиваемые евреем Иссашаром Цедерблумом — он же Ленин, — даже Чингисхана ввели бы в краску. В Венгрии его выкормыш Кон — он же Бела Кун — прошёл по этой несчастной стране с обученной убивать и грабить еврейской сворой террористов, чтобы, усеяв страну виселицами, уничтожать на этом конвейере виселиц её горожан и крестьян. В шикарно обустроенный гарем при его дворце тайно поставляли десятки непорочных христианских девиц, которых подвергали там насилию и растлению. По приказу его подручного лейтенанта Самуэли в одном подземелье были жестоко истреблены шестьдесят священников. Их тела расчленяют, отрубают конечности, а до этого у них все отбирают, оставляя им вместо одежды только кожу, по которой струится кровь. Следствие выявило, что восьмерых священников до того, как их убить, распинали на дверях их церкви! Теперь становится известным, …что точно такие же страшные сцены имели место и в Мюнхене»[219].

Однако ужас, которым был охвачен мир в результате приходивших с востока кошмарных сообщений, имел свои основания, равно как и заслуживавших доверия свидетелей. Один из руководителей Чека, латыш М. Лацис, заявил в конце 1918

года, что для наказания и ликвидации человека определяющим является теперь не его виновность или невиновность, а его социальная принадлежность: «Мы хотим ликвидировать буржуазию как класс. Вы не должны доказывать, что тот или иной действовал против интересов Советской власти. Первое, о чём вы должны спросить арестованного: из какого он класса, каково его происхождение, какое он получил воспитание и кто он по профессии? Эти вопросы и должны решить судьбу обвиняемого. В этом состоит квинтэссенция красного террора»[220]. И словно ответом прозвучит один из ранних призывов руководства НСДАП: «Вы хотите сперва увидеть в каждом городе тысячи людей повешенными на фонарях? Вы хотите сперва дождаться, чтобы, как в России, в каждом городе начала действовать большевистская чрезвычайка?.. Вы хотите сперва пройти по трупам ваших жён и детей?» Угроза революции исходила не от нескольких одержимых заговорщиков, которых травила вся Европа, а из огромной, зловещей России, этого, по словам Гитлера, «колосса брутальной мощи»[221]. Уверенная в своей грядущей победе агитация нового режима, являвшаяся частью синдрома, который Филиппо Турати назовёт «опьянением большевизмом», помимо всего прямо говорила, что захват Германии объединёнными силами международного пролетариата не только явится решающим шагом на пути революции, но и произойдёт вот-вот. Тайные действия советских эмиссаров, непрекращавшиеся организованные беспорядки, советская революция в Баварии, революционное брожение в Рурской области, революционные выступления последующих лет в Центральной Германии, восстания в Гамбурге, а затем снова в Саксонии и Тюрингии создали фон, порождавший страх, и вызвали в ответ на эту перманентную угрозу революцией со стороны советского режима сильнейший импульс защитной реакции.

Эта угроза доминирует и в речах Гитлера — особенно в первые годы, когда он рисовал самыми яркими красками «команды красных мясников», «коммуну убийц», «кровавое болото большевизма». Как-то он заявил, что свыше тридцати миллионов человек в России «шаг за шагом приняли мученическую смерть, частью на эшафотах, частью под пулемётами и сходными средствами, частью на бойнях в буквальном смысле этого слова, а частью — и вновь миллионами — вследствие голода; и мы все знаем, как приближается этот бич, как уже поднимается он над Германией». Интеллигенция Советского Союза, скажет он, истреблена в ходе массовых убийств, экономика разрушена до самых основ, тысячи немецких военнопленных утоплены в Неве

или проданы в рабство, а в это время «непрерывным, не знающим устали трудом крота» и в Германии создаются предпосылки для революционной ломки — Россия, как это рефреном повторялось в его выступлениях, предстоит и нам![222] И даже годы спустя, уже придя к власти, Гитлер будет пугать тем «ужасом ненавистной международной коммунистической диктатуры», который овладел им ещё в начале его пути: «Я вздрагиваю при мысли о том, чем стал бы наш старый многонаселённый континент, если бы победил хаос большевистской революции».

Этой защитной реакции на угрозу марксистской революции национал-социализм и будет в значительной степени обязан своим пафосом, агрессивностью и внутренней сплочённостью. Цель НСДАП, как неустанно будет повторять Гитлер, «формулируется абсолютно коротко: уничтожение и истребление марксистского мировоззрения», а именно — путём пропаганды и просвещения», а также с помощью движения, обладающего «беспощадной силой и свирепой решимостью, готового противопоставить террору марксизма в десятки раз больший террор»[223]. Сходного рода соображения побудили примерно в то же время и Муссолини создать свои «Fasci di combafttimento» (боевые отряды), по которым эти новые движения и стали называть «фашистами».

И всё же один только страх перед революцией был бы не в состоянии развить ту огромную и все возраставшую тенденцию, которая сумела поставить под сомнение названную всемирную тенденцию, — тем более, что для многих революция несла и определённую надежду. Было нужно появление более сильного, действующего с большой стихийностью импульса. Марксизм действительно внушал страх, но лишь как революционный авангард куда более широкого и направленного против традиционных представлений наступления, — актуального, политического проявления некой прямо-таки метафизической идеи переворота, «объявления войны европейской… культурной мысли»[224]. Сам же марксизм являлся только драматическим полотном, на котором наглядно проступал страх эпохи.

Этот страх и был, возвышаясь над идеями просто политического переворота, доминирующим и главным ощущением времени. В нём таилось предчувствие того, что с окончанием войны пришло расставание не только с довоенной Европой с присущими ей величием, интимностью, монархиями и гарантированными закладными, но и с целой эпохой; с кончиной старых форм господства наступил конец и привычному образу жизни. Волнение, радикализм политизированных масс, революционные беспорядки воспринимались в подавляющей

степени уже не только как послеродовые боли войны, но и как провозвестие подобного незваному гостю и хаосом вторгающегося в жизнь времени, где потеряет авторитет все то, что сделало Европу великой и надёжной: «Поэтому у нас такое чувство, будто земля уходит из-под наших ног»[225].

Действительно, редко какая эпоха ощущала так отчётливо свою собственную гибель. Война значительно ускорила этот процесс и одновременно породила это всеобщее ощущение. Впервые получила Европа представление о том, как будет выглядеть форма жизни будущего. Пессимизм, который столь долгое время был доминирующим чувством меньшинства, нежданно-негаданно стал главным настроением всего времени. Оно обнаружило себя, как гласило название одной известной книги, «В тени завтрашнего дня».

Отбрасываемая этой тенью темнота сгущалась. Война привела к появлению в экономике новых гигантских форм её организации, благодаря которым капиталистический строй осознал свои возможности. Рационализация и конвейер, тресты и корпорации делали как никогда очевидной структурную слабость всех малых образований. Уже в течение тридцатилетия, предшествовавшего мировой войне, число самостоятельных хозяев уменьшилось в крупных городах примерно вдвое, теперь же их доля сокращается ещё быстрее, тем более, что их материальная база была подорвана войной и инфляцией. Жупелы общества анонимной конкуренции, засасывающего, высасывающего и выбрасывающего одиночку, воспринимаются теперь во всей их наглядности и выливаются в многочисленных анализах современной ситуации в страх перед гибелью возможности индивидуального существования вообще: индивидуум растворяется в функции, человек включается как «бессознательная машина» в некие необозримые процессы — все это проходит красной нитью через получившую широкое распространение литературу неприятия происходящего: «Кажется, кроме страха, не существует больше ничего»[226].

Этот страх перед нормированными, подобными жизни термитов формами существования нашёл своё выражение и в протесте против усиливающейся урбанизации, против ущелий домов и «стен серых городов», а также в жалобах на разрастающуюся, как плесень, промышленность, заслонившую фабричными трубами тихие долины, — перед лицом безжалостно проводимого «превращения всей планеты в единую фабрику по использованию её сырья и энергии» впервые в широких Массах была поколеблена вера в прогресс; цивилизация разрушает мир, — гласит протест, — земля превращается «в разбавленное

сельским хозяйством Чикаго»[227]. И именно страницы «Фелькишер беобахтер» первых лет её издания кишмя кишат яркими свидетельствами этого страха перед гибелью того, что было таким своим и близким. «До какой же величины дойдут наши города, — говорится в одной из статей, — прежде чем начнётся противоположное движение, когда снесут казармы, разрушат каменные громады, проветрят пещеры и… насадят сады между стенами и дадут человеку вздохнуть?» Строения из готовых деталей, машины жилья Ле Корбюзье, стиль «Баухауза», мебель из стальных трубок, весь этот, как гласил девиз времени, «технический конструктивизм» вызывал сопротивление приверженного традициям сознания, способного увидеть тут только своего рода «тюремный стиль»[228]. Эмоциональная отрицательная реакция на современный мир сказалась в 20-е годы и в широком движении за поселения, и в первую очередь в создании «союзов артаманов», противопоставлявших счастье простой жизни на лоне земли «цивилизации асфальта», а естественные связи людей — потерянности человека в массовом мире городов. Наиболее же чувствительно задевал резкий и вызывающий разрыв с существующими нормами в сфере морали. Брак, говорилось в некой «Социальной этике коммунизма», есть не что иное, как «дурное отродье капитализма», революция ликвидирует его точно так же, как и аборты, гомосексуализм, бигамию и кровосмешение[229]. Но для восприятия самых широких буржуазных средних слоёв, всегда рассматривавших себя как «представителей и хранителей нормальной морали» и видевших в покушении на неё личную угрозу самим себе, брак как простой акт регистрации — а именно так понимался он первоначально в Советском Союзе — был столь же неприемлем, как и «теория стакана воды», согласно которой сексуальная потребность является такой же элементарной потребностью, как и жажда, и удовлетворяется без всяких церемоний. Фокстрот и короткие юбки, погоня за наслаждениями в этой «клоаке рейха — Берлине», «похабные картинки» сексопатолога Магнуса Хиршфельда и мужские типы того времени («резиновый кавалер на креповых подошвах в брюках „чарльстон“ и с причёской „шимми“ — гладким зачёсом назад») были для широкого сознания безнравственными, что, правда, весьма трудно понять вне исторического контекста. Пользовавшиеся широчайшей популярностью театральные постановки 20-х годов провокационно увлекались такими темами как отцеубийство, кровосмешение и преступление; глубоким симптомом времени было высмеивание самих себя. Так, в заключительной сцене оперы Брехта и Вайля «Махагони» исполнители выходили к рампе

и демонстрировали на плакатах лозунги «За хаос в наших городах!», «За продажную любовь!», «Честь и слава убийцам!», «За бессмертие пошлости!»[230]

В изобразительном искусстве революционный прорыв произошёл ещё до первой мировой войны, и сам Гитлер был нейтральным свидетелем этого сначала в Вене, а затем в Мюнхене. Но то, что первоначально воспринималось как оригинальничанье кучки фантазёров, видится теперь, на фоне потока полотен о перевороте, революции и избавлении, объявлением войны традиционной европейской картине человека. Фове, «Голубой всадник», «Брюкке», «Дада» — все это кажется столь же радикальной угрозой, как и революция; это ощущение внутренней связи зафиксировано в популярном термине «культур-большевизм». Соответственно и защитная реакция была не только такой же страстной, но и пронизанной все той же нотой страха перед анархией, произволом и бесформенностью; как гласил тогдашний характерный вердикт, современное искусство — это «царство хаоса»[231], и все эти симптомы выливаются в единое в своём многообразии полотно страха, для которого модный пессимизм того времени нашёл формулировку «Закат Европы». И можно ли было не ожидать в страхе того дня, когда все эти чувства неприятия выльются в акт отчаянного сопротивления?

Радость разрушения устарелых или скомпрометированных социальных и культурных форм спровоцирует консервативный темперамент немцев в особой степени — ведь быстро проявлявшее себя сопротивление этому могло здесь сильнее, чем где бы то ни было, опираться на настроения и аргументы конца XIX века. Процесс технической и экономической модернизации произошёл в Германии позднее, быстрее и радикальнее, чем в других странах, а решимость, с которой Германия проводила промышленную революцию, была, по формулировке Торстейна Веблена, «среди европейских стран беспримерной»[232]. По той же причине этот процесс вызвал тут дикую боязнь поражения и породил мощнейшие ответные реакции. Вопреки широко распространённому мнению Германия, превратившаяся в прямо-таки неразрывный сплав достижений и упущений, в коем соединились элементы феодализма и прогресса, авторитарности и социального государства, могла в канун первой мировой войны, пожалуй, по праву претендовать на звание самого современного в промышленном отношении государства Европы.

Только за последнюю четверть века её валовой национальный доход увеличился более чем вдвое, а доля населения с

подлежащим налогообложению минимумом доходов выросла с тридцати до шестидесяти процентов, и выплавка стали, к примеру, ещё в 1887 году составлявшая только половину того, что выплавлялось в Англии, возросла почти в два раза. Покорялись колонии, строились города, создавались промышленные империи, число акционерных обществ увеличилось с 2143 до 5340, а товарооборот гамбургской гавани вышел, по мировой статистике, на третье место — позади Нью-Йорка и Амстердама, но впереди Лондона. В то же время управление страной было достаточно корректным и экономным и обеспечивало, вопреки всем антилиберальным вкраплениям, в немалой степени внутреннюю свободу, соблюдение законности и социальную защищённость.

Так что печать анахронизма на портрете кайзеровской Германии в целом объясняется отнюдь не экономическими явлениями, равно как и не её многоликими феодальными структурами. Над этой занятой своими делами и, казалось бы, так уверенной в своём завтрашнем дне страной, над её растущими крупными городами и промышленными районами довлел некий своеобразный романтический небосвод, тёмный купол которого населяли мистические образы, древние герои и боги, — отсталость Германии имела идеологическую природу. Конечно, в немалой степени к этому приложили свою руку академический обскурантизм, фольклор германистов, а также потребности в украшательстве со стороны того слоя буржуазии, которому так хотелось поверх материальных целей; кои он преследовал с такой неугомонностью и динамизмом, увидеть более высокие ориентиры. Но в то же время за всеми этими пристрастиями постоянно ощущалась бюргерская строптивость в культурной сфере по отношению как раз к тому современному миру, возведению которого помогали столь энергично и успешно, — это была своего рода оборонительная жестикуляция в адрес новой, лишённой поэзии реальности, имевшая своим истоком не дух скептицизма, а дух пессимистического романтизма, и позволявшая распознавать в себе латентную готовность к контрреволюционному протесту.

Это противодействие проявит себя в первую очередь в настроениях критики в адрес цивилизации и найдёт своих апологетов в таких авторах как Пауль де Лагард, Юлиус Лангбен и Ойген Дюринг. Конечно, обличавшееся ими недомогание относилось к симптомам общецивилизационного кризисного настроения, представлявшего собой реакцию на лишённый фантазии, прагматический оптимизм эпохи. На рубеже веков оно наделало немало шума как в Соединённых Штатах, так и во

Франции, привлекло внимание к делу Дрейфуса, к «Аксьон франсэз», к манифестам Морраса и Барреса. Габриеле д'Аннунцио, Энрико Коррадини, Мигель Унамуно, Дмитрий Мережковский и Владимир Соловьёв, Кнут Гамсун, Якоб Буркхардт и Дэвид Герберт Лоуренс стали, при всех их индивидуальных различиях, выразителями сходных страхов и противодействий. Однако в Германии этот, подобный вторжению и чрезвычайно глубокий перелом, так внезапно перебросивший страну из её бидермайера[233] в модерн и требовавший при этом все новых разрывов и расставаний, придал здешнему протесту несравнимую с остальной Европой экзальтированную окраску, где страх и отвращение по отношению к действительности сочетались с романтической тоской по канувшим в Лету идиллическим порядкам.

И эта традиция тоже пришла издалека. Страдание по поводу «опустошений», приносимых процессом цивилизации, можно было проследить до Руссо или «Вильгельма Майстера» Гёте. Апологеты этого неприятия презирали процесс и не без гордости признавались в своей — не от мира сего — отсталости; все они были наблюдателями вне своего времени, стремившимися, как писал Лагард, увидеть такую Германию, которой никогда не было и, может быть, никогда и не будет. Ко всем фактам-возражениям они относились с высокомерным пренебрежением и горько сетовали на «одноглазый разум». Свой порою весьма остроумный иррационализм они обращали против биржевого дела и урбанизации, принудительных прививок, мирового хозяйства и позитивистской науки, против «коммунизации» и первых аэропланов — короче говоря, против всего процесса эмансипации современного мира, того процесса, из проявлений которого они рисовали общее полотно катастрофического «заката души».

Будучи «пророками озлобленной традиции», они жаждали прихода дня, когда будет положен конец опустошению и «старые боги вновь выйдут из вод».

Противопоставлявшиеся ими новому времени представления о ценностях, включали в себя естественность, искусство, прошлое, аристократию и любовь к смерти, а также право сильной цезаристской личности. Бросается в глаза, что этот протест, содержавший сетования по поводу упадка немецкой культуры, нередко был пронизан идеями империалистического мессианства, в которых страх обращался в агрессию, а отчаяние искало утешения в величии. Самая известная книга, выразившая эту тенденцию времени, принадлежала перу Юлиуса Лангбена и называлась «Рембрандт-воспитатель». Вышедшая в свет в 1890 году, она пользовалась невероятным успехом и уже за полтора-

два года насчитывала до сорока переизданий. Такая широкая популярность этого эксцентричного свидетельства паники, антисовременности и националистического мессианского бреда приводит к мысли, что сама книга была выражением того кризиса, который она изгоняла своими заклинаниями с такой страстью и ожесточением.

Чуть ли не ещё более чреватым последствиями нежели соединение враждебного отношения к цивилизации с национализмом эпохи явилась — как это уже имело место с социал-дарвинистскими и расистскими теориями — смычка этих чувств с антидемократическими идеями. И это было диагнозом, свидетельствовавшим о болезни того либерального западного общества, которое основало свой политический строй на принципах Просвещения и Великой французской революции. Этот поворот носил общеевропейский характер, так, «в частности, во Франции и в Италии», как писал позднее Жюльен Бенда, около 1890 года писатели «с поразительной проницательностью осознали, что доктрины абсолютного авторитета, дисциплины, традиции, отрицания духа свободы, утверждения нравственной оправданности войны и рабства дали возможность занять гордые и несгибаемые позиции, и в то же время они в значительно большей степени отвечали представлениям простых людей, нежели сентиментальные либерализм и гуманизм»[234]. И хотя страдание по поводу модерна, было, несмотря на все литературные успехи, все ещё делом лишь какого-то исключительного меньшинства, эти настроения — снова говоря о Германии — постепенно станут, и в первую очередь через молодёжное движение, которое было не просто ими охвачено, а стало прямо-таки фанатическим и чистым их выражением, сказываться всё сильнее и сильнее. «Вся великая тяга немцев, — опишет эту позицию Фридрих Ницше, — направлялась против Просвещения и против революции в обществе, которая с грубым непониманием принималась за следствие первого: пиетет по отношению ко всему ещё существующему пытался обратиться в пиетет по отношению ко всему, что существовало, только чтобы вновь наполнились сердце и дух и не оставили в себе места для будущих и обновляющих целей. На месте культа разума был воздвигнут культ чувства…»[235]

И, наконец, враждебные цивилизации настроения времени сомкнутся и с антисемитизмом. «Немецкий антисемитизм реакционен, — такой вывод сделает в 1894 году из обширных, проводившихся по всей Европе исследований Герман Бар, — это бунт маленьких бюргеров против промышленного развития»[236]. Постановка знака равенства между евреями и модерном и впрямь

не была лишена оснований, равно как и утверждение об их особой приспособляемости к условиям капиталистической экономики, построенной на конкуренции. Вот это и являлось двумя сильнейшими мотивами всех страхов за будущее. Вернер Зомбарт напишет даже, что «еврейская миссия» заключается в том, чтобы «ускорить переход к капитализму… (и) устранить пока ещё сегодня законсервированные остатки докапиталистической организации, разлагая последние ремесла и ремесленного толка торговлю»[237](193). На фоне этого развития традиционно мотивировавшаяся религиозными причинами ненависть к евреям становится во второй половине XIX века антисемитизмом, обосновывающимся уже причинами биологическими или социальными. В Германии для популяризации этой тенденции особенно много сделают философ Ойген Дюринг и неудавшийся журналист Вильгельм Марр (в своём труде под характерным заголовком «Победа иудеев над германцами, рассмотренная с неконфессиональной точки зрения. Via Victis![238]), но те же рефлексы были характерны и для Европы в целом. Антисемитизм в Германии был, несомненно, не более интенсивен, чем во Франции, и, уж конечно же, куда слабее, чем в России или в Австро-Венгрии, в антисемитских публикациях того времени то и дело встречаются сетования на то, что их идеи при столь широком распространении не могут все же похвастаться успехом. Но в ту пору, когда иррациональные ожидания бродили повсюду, как бездомные собаки, антисемитизм именно по причине содержавшейся в нём полуправды представлял собой питательную среду для распространения дурных настроений, хотя он и не был ничем иным, как возведённым в мифологическую степень проявлением страха. Воздействие и резонанс творчества Рихарда Вагнера как раз и состоят в том, что он, как никто другой, мобилизовал магию искусства против явственно просматривавшегося во всех этих явлениях процесса снятия чар и что это настроение времени, переведённое на язык мифа, обрело в его творчестве всепокоряющий эффект — тут и пессимизм по отношению к будущему, и осознание наступающего господства золота, и расовый страх, и трепет перед грядущим веком плебейской свободы и уравниловки, и предчувствие близящегося заката.

Многообразные самоуничижительные аффекты буржуазного времени будут, наконец, выпущены на свободу и одновременно радикализованы войной; она вернёт бытию утерянную в безрадостных буднях цивилизации возможность неслыханного самовозвышения, узаконит насилие и уготовит триумфы разрушению, явится, как писал Эрнст Юнгер, с помощью

огнемётов «великим очищением через ничто»[239]. Война и была как раз отрицанием либеральной и гуманистической идеи цивилизации. Чуть ли не магическая сила военных впечатлений, тоже освещённых соответствующей литературой европейского покроя и ставших опорными пунктами разнообразнейших концепций обновления, имела своим истоком именно этот опыт. Одновременно война научила тех, кто назовёт потом себя её наследниками, смыслу и преимуществу быстрых и единоличных решений, абсолютного подчинения и одинакового образа мыслей. Компромиссный характер парламентских режимов, их слабость в принятии решений и их частый паралич не обладали притягательной силой для поколения, вынесшего с войны миф об отлично слаженном боевом коллективе.

Только с учётом всех этих взаимосвязей можно понять, почему провозглашение демократической республики и включение Германии в систему послеверсальского мира было воспринято отнюдь не просто и не только как результат поражения. Для сохранивших свою силу настроений неприятия цивилизации и то, и другое означало не просто изменение политического положения, а грехопадение, некий акт метафизического предательства и глубокой измены самому себе, ибо в жертву сложившимся в данный момент обстоятельствам приносилась Германия, романтичная, погруженная в раздумья и чуждая политике Германия, которую теперь отдавали на заклание той самой идее западной цивилизации, что несла угрозу уже самой её сути. Примечательно, что «Фелькишер беобахтер» назвала Версальский договор «сифилитическим миром», который, как и эта болезнь, «рождается от короткого запретного удовольствия, начавшись с маленькой твёрдой опухоли, поражает постепенно все члены и суставы, да и всю плоть, включая сердце и мозг согрешившего»[240]. Страстное, принципиальное неприятие «этой системы» вытекало именно из нежелания оказаться в составе ненавистной «империи цивилизации» со всеми её правами человека, демагогией насчёт прогресса и страстью просвещать, с её тривиальностью, испорченностью и тупыми апофеозами благосостояния. Немецкие же идеалы верности, божьего милосердия, любви к отечеству оказались, как это сказано в одном из многочисленных жалобных писаний того времени, «безжалостно выкорчеванными в бурях революционных и послереволюционных времён», а на их место пришли «демократия, движение нудистов, безудержный натурализм, товарищеский брак»[241].

И во все годы существования республики наблюдается — в том числе и среди правой интеллигенции, продолжавшей

враждебную традицию вильгельмовской эры по отношению к цивилизации, — тяга к союзу с Советским Союзом, вернее, с Россией, бывшей, как материнское чрево, сердцевина, «четвёртое измерение», предметом эмфатических ожиданий. В то время как Освальд Шпенглер призывает к борьбе против «внутренней Англии», Эрнст Никиш, другой апологет сопротивления во имя духовной идентичности нации, пишет: «Пора немецкому пробуждению обратить взоры на восток… ход на запад был немецким нисхождением; поворот на восток будет снова восхождением к немецкому величию». «Мелкотравчатому либерализму» противопоставляется «прусско-славянский принцип», а столице Лиги наций Женеве — «ось Потсдам — Москва». Страх засилья над немецким духом материалистического и демифологизированного западного мира оказывается тут сильнее страха перед угрозой всемирного коммунистического господства.

Первая послевоенная фаза явилась катализатором не только страха перед революцией, но и чувства отрицания цивилизации, а они, в свою очередь, породили синдром необычайного динамизма. Тот же слился с комплексами страха и обороны потрясённого до самых основ общества, утратившего своё национальное самосознание, благополучие, авторитеты, а также всю систему сверху донизу, и в слепом ожесточении жаждавшего получить назад то, что, казалось, было отнято несправедливо. Эти всеобщие чувства недовольства ещё более усугублялись и обретали дополнительный радикализм наличием множества неудовлетворённых групповых интересов. Подверженность великой мании тотального критиканства проявляет в первую очередь непрерывно растущий слой служащих, ибо промышленная революция перекинулась теперь уже и на конторы и сделала вчерашних «унтер-офицеров капитализма» последними жертвами «современного рабства»[242], к тому же у них, в отличие от рабочих, никогда не было собственной классовой гордости и уж тем более какого-то рода утопии, которая бы выводила из катастроф существующего строя благие предзнаменования для них самих. Не менее восприимчивыми оказываются и ремесленники из среднего сословия с их страхом перед засильем крупных предприятий, универсальных магазинов и конкурирующей рационализацией; то же самое касается и широких слоёв сельскохозяйственного населения, привязанных традиционной неповоротливостью и отсутствием средств к давно уже изжившим себя структурам, а также многих людей с высшим образованием и вчера ещё солидных, разорившихся буржуа, оказавшихся сегодня затянутыми в омут пролетаризации. Без

средств к существованию «тут же становишься изгоем, деклассированным элементом; быть безработным — это все равно, что быть коммунистом», — так заявил один такой потерпевший крушение во время одного из проводившихся в те времена опросов[243]. Никакая статистика, никакие данные об уровне инфляции, о количестве самоубийств и числе пошедших с молотка хозяйств не могут передать чувства тех, кто оказался под угрозой безработицы, нищеты, потери места, или же выразить опасения другой стороны — тех, кто ещё чем-то владел и страшился взрыва накапливающегося недовольства. Общественные учреждения с их вечной беспомощностью были не в силах застраховать от коллективного чувства злобы, подспудно бродившего повсюду, тем более, что со времени Лагарда и Лангбена страх вышел за рамки заклинаний и проповедей — война дала ему в руки оружие.

В дружинах самообороны и добровольческих отрядах, создававшихся в большом числе, частично по личной, частично по скрытой государственной инициативе, преимущественно для отпора угрозе коммунистической революции, сорганизовался один из тех элементов, которые с угрюмым, но решительным настроем были готовы сопротивляться при всех обстоятельствах и высматривали ту волю, которая повела бы их в новый порядок. Поначалу была ещё, помимо этого, и огромная масса вчерашних фронтовиков, тоже представлявших собой резервуар воинственной энергии. Многие из них влачили бесцельное солдатское существование в казармах, что создавало впечатление их растерянного, затянувшегося прощания с амбициозными мечтами военной молодости. В окопах на фронте и те, и другие приблизились к очертаниям какого-то нового, ещё до конца не ясного смысла жизни, который они тщетно пытались теперь обрести вновь в налаживающейся с трудом нормальности послевоенного времени. Не ради же этого немощного, опрокинутого последним из вчерашних врагов режима с его заёмными идеалами сражались и страдали они четыре года. И ещё они страшились, имея за плечами более взыскательный опыт существования на войне, деклассирующей силы бюргерской обыденности.

Гитлер придаст этим чувствам недовольства, как среди гражданских, так и среди военных, единение, руководство и движущую силу. Его появление и впрямь кажется синтезированным продуктом всех этих страхов, пессимистических настроений, чувств расставания и защитных реакций, и для него война была могучим избавителем и учителем, и если и есть некий «фашистский тип», то именно в нём он и нашёл своё

олицетворение. Ни один из его приверженцев, которых он после несколько затянувшегося старта быстро начнёт собирать, не выразит все главные психологические, общественные и идейные мотивы движения так, как он; он всегда был не только вождём этого движения, но и его экспонентом.

Уже опыт ранних лет помог ему узнать то всеподавляющее чувство страха, которое сформирует всю систему его мыслей и чувств. И именно оно, это чувство, лежит в основе почти всех его высказываний и поступков — страх, насторожённым зверем притаившийся во всём и имевший столь же будничные, сколь и космические размеры. Многие ранние свидетели, от его крёстного отца в Линце до Августа Кубицека и Грайнера, обрисовали его бледное, «испуганное» естество, представлявшее подходящую почву для проявившейся у него уже в ранние годы тяги к безудержным фантазиям. И его «постоянный страх» перед соприкосновением с чужими людьми является тут вполне объяснимым, равно как и его крайняя недоверчивость или же ставшая потом маниакальной чистоплотность[244]. Тот же комплекс был и источником часто выражавшейся им, как мы знаем, боязни заразиться венерической болезнью, боязни любой инфекции вообще: «Микробы просто набрасываются на меня», — считал он[245]. Он был охвачен привитым австрийским пангерманским движением страхом перед чужим засильем, перед «нашествием подобных саранче русских и польских евреев», перед «превращением немецкого человека в негра», перед «изгнанием немца из Германии» и, наконец, перед «полным истреблением» последнего; он велел напечатать в «Фелькишер беобахтер» одно якобы французское солдатское стихотворение с повторяющейся, как рефрен, строчкой: «Мы поимеем, немцы, ваших дочерей!» Но беспокойство у него вызывали также и американская техника, и цифры растущей рождаемости у славян, и крупные города, и «столь же безудержная, сколь и вредная индустриализация», и «коммерциализация нации», и анонимные акционерные общества, и «трясина культуры удовольствий в крупных городах», равно как и современное искусство, стремящееся голубыми лугами и зелёными небесами «убить душу народа». Куда бы он ни взглянул, он всюду открывал «явления разложения медленно догнивающего мира» — в его представлениях присутствуют буквально все элементы упомянутой пессимистической критики цивилизации[246].

Что объединяло Гитлера с ведущими фашистскими деятелями других стран, так это решимость, с которой они стремились противостоять этому процессу. А выделяла его та маниакальная исключительность, с которой он сводил все

элементы когда-либо испытанного страха к одному-единственному их виновнику — в фокусе его доведённой до исполинских размеров концентрации страха стояла чёрная и волосатая кровосмесительная фигура еврея, дурно пахнущая, плотоядная и охочая до белокурых девиц, но, как с беспокойством говорил сам Гитлер даже летом 1942 года, «в расовом отношении более крепкая»[247]. Поражённый до самого нутра своим гибельным психозом, Гитлер видит Германию объектом некоего всемирного заговора, осаждаемой со всех сторон большевиками, масонами, капиталистами, иезуитами, выступающими в едином союзе и руководимыми в этом истребительном деле стратегом в лице «жаждущего крови и денег, тиранящего народы еврея». Он завладел семьюдесятью пятью процентами мирового капитала, он покорил себе биржи и марксизм, Золотой и Красный Интернационал, он был зачинщиком ограничения рождаемости и идеи эмиграции, он подорвал устои государства, привёл к вырождению расы, воспел братоубийство, организовал гражданскую войну, оправдывал низость и поливал грязью благородство — он, этот «закулисный вершитель судеб человечества»[248]. Всему миру грозит опасность, заклинающе возглашал Гитлер, оказаться «в объятиях этого полипа». Рисуя все новые и новые картины, он пытается как можно нагляднее передать своё отвращение — тут и «ползучая отрава», занятая своим делом, и изображение еврея «личинкой», «опухолью», «жалящей тело народа гадюкой». И если, формулируя свой страх, он допускает иной раз нелепые и смешные обороты, то тот же страх помогает ему создавать впечатляющие или хотя бы запоминающиеся картины. Он находит такие выражения как «объевреивание нашей духовной жизни», «маммонизация нашего полового влечения» или «вытекающее отсюда осифиличивание тела народа»; но ещё он пишет и так: «Если еврей с помощью своего марксистского вероисповедания одержит победу над народами нашего мира, то его корона станет надгробным венком человечеству и наша планета опять, как когда-то, миллионы лет назад, будет необитаемой совершать свой путь в эфире»[249].

С появлением Гитлера соединились энергии, обладавшие, в условиях кризиса, перспективой огромного политического эффекта. Дело в том, что фашистские движения в своей социальной субстанции опирались в общем на три элемента: мелкобуржуазный с его моральным, экономическим и антиреволюционным протестом, военно-рационалистический, а также харизматический — в лице единственного в своём роде вождя-фюрера. Этот вождь есть преисполненный решимости голос порядка, возвещающий конец смуте, стихии хаоса, он и

смотрит дальше и мыслит глубже, ему знакомы чувства отчаяния, но он знает и средства спасения. Этот сверхъестественный тип создан не только многочисленными литературными предвестиями, уходящими своими корнями в немецкую народную сагу. Подобно мифологии многих других, невезучих в своей истории народов, ей знакомо появление охваченных вековым сном где-то далеко в горах фигур вождей, фюреров, которые когда-нибудь воспрянут ото сна, выведут на верный путь свой народ и накажут виновный мир, и именно пессимистическая литература, в том числе и в 20-е годы, в своих тысячекратных заклинаниях напоминала об этих страстных чаяниях, что и нашло выражение в знаменитых строках Стефана Георге: «Он сорвёт кандалы и вернёт на руины/ Порядок, заблудившихся он возвратит к очагу/ К вечному праву, где великое снова станет великим/ Господин — господином. Повиновение — повиновеньем. Он начертит/ Истинный символ на знамя народа. / Он поведёт через бурю и под литавр громыханье/ С ранней зарёй своих воинов верных на дело/ Светлого дня и Новое Царство воздвигнет»[250]. Примерно в это же время и Макс Вебер создал образ личности вождя-фюрера с его плебисцитарной легитимностью и правом на «слепое» подчинение ему, но в этом автор усматривал в первую очередь определённый элемент сопротивления бесчеловечным бюрократическим организационным структурам будущего. В целом же эпоха была подготовлена к явлению вождя-фюрера разными, далеко отстоящими друг от друга источниками и самыми различными мотивами — идея одинаково получает поддержку из необразованных, в большей степени подверженных эмоциям слоёв, и из поэзии, и из доводов науки.

Мысль о фюрере в том виде, как она развивалась в фашистских движениях, обрела свою актуальность вновь благодаря войне. Дело в том, что все эти движения поголовно считали себя не партиями в привычном смысле, а группами с воинствующим мировоззрением, «партиями над партиями», и борьба, которую они начинали под мрачными символами и с решительным выражением лиц, была не чем иным, как перенесением войны, — причём с помощью почти не изменившихся средств, — в сферу политики: «В настоящий момент мы находимся в состоянии продолжения войны», — неоднократно будет провозглашать Гитлер, а итальянский министр иностранных дел граф Чиано как-то скажет о фашистской «ностальгии по войне»[251]. Культом вождя было в условиях «фикции перманентной войны» не в последнюю очередь и перенесение принципов военной иерархии на внутреннюю

организацию этих движений, а само явление фюрера представляло собой не что иное, как поднятую на сверхчеловеческую высоту, магически вознесённую потребностью в вере и стремлением к преданности фигуру офицера-командира. Маршировка по всем мостовым Европы демонстрировала убеждение, будто бы и проблемы общества эффективнее всего могут быть решены моделями наподобие военных. Именно их ригоризм и обладал мощной притягательной силой — прежде всего для ориентирующейся на будущее молодёжи, которая в войне, революции и хаосе открыла для себя веру в «геометричность» порядка.

Названные мотивы лежали в основе полумилитаризованных внешних форм этих движений, их обмундирования, ритуала приветствия и доклада, стойки «смирно», а также пёстрой, хотя и сводившейся к немногим элементам символики — преимущественно это крест (от креста Святого Олафа в норвежском «нашонал самлинг» до красного андреевского креста у национал-синдикалистов Португалии), либо стрелы, ликторские пучки, косы, — и все это непременно воспроизводилось как символ принадлежности на флагах, значках, штандартах и нарукавных повязках. Значение этих элементов состояло не только в отказе от старой буржуазной традиции ношения сюртуков и стоячих воротничков — скорее, они казались более точно отвечавшими строгому, техническому, наделённому чертой анонимности духу времени. Одновременно же обмундирование и военная атрибутика позволяли затушёвывать общественные антагонизмы и подниматься над серостью и эмоциональной нищетой цивильного быта.

Соединение мелкобуржуазных и военных элементов, столь характерное именно для национал-социализма, с самого начала придаёт НСДАП весьма своеобразный, двойственный характер. Он выражается не только в организационном размежевании между штурмовыми отрядами (СА) и Политической организацией (ПО), но и проявляется в вводящей в заблуждение разнородности её состава. Убеждённые идеалисты стоят тут в одном строю с оступившимися в социальном плане, с полууголовными и оппортунистами, образуя пёструю смесь из жажды дела, стремление выстоять, нежелания трудиться, поиска выгоды и иррационального активизма. Отсюда же родом и присущая большинству фашистских организаций подавленная консервативность. Ведь хотя они и заявляли, что служат разрушенному и оскорблённому миропорядку, но там, где это было в их власти, они демонстрировали лишённую традиций охоту к переменам. Характерной для них была единственная в

своём роде мешанина из средневековья и нового времени, авангардистское восприятие, обращённое спиной к будущему и поселившее своё пристрастие к фольклору в заасфальтированных эмпиреях тоталитарного государства принуждения. В очередной раз снились им выцветшие сны их предков, и они славили то прошлое, в размытых контурах которого являлись им надежды на славное, ориентированное на территориальную экспансию будущее — в образе Римской империи, Испании его католического величества, Великой Бельгии, Великой Венгрии, Великой Финляндии. Вступление Гитлера на путь борьбы за гегемонию — наиболее планомерное, хладнокровное и реалистическое предприятие при поддержке целого арсенала современных технических средств — развёртывалось в обрамлении витиеватых реквизитов и символов, это была попытка завоевания мирового господства под знаком соломенной крыши и передававшегося по наследству крестьянского двора, под знаком народного танца, праздника солнцеворота и материнского креста. Томас Манн назвал это «взрывающейся архаичностью»[252].

И всё же за всем этим всегда стояло нечто большее, нежели какая-то лишённая рефлексов реакционная воля. То, на что претендовал Гитлер, было не больше и не меньше как исцеление всего мира. Он отнюдь не собирался просто вернуть добрые старые времена, а ещё меньше — их феодальные структуры, как это полагали сентиментальные реакционеры, которые в течение долгого времени будут сопровождать и поддерживать его на пути. То, что он взялся преодолеть, было не чем иным, как самоотчуждением человека, вызванным процессом развития цивилизации.

Правда, ставку при этом он делал не на экономические или социальные средства, которые презирал; подобно одному из апологетов итальянского фашизма, он считал социализм «омерзительным возбуждением предъявляющего свои права желудка»[253]. Скорее, его намерение нацеливалось на некое внутреннее обновление, где компонентами были кровь и потёмки души, т. е. не на политику, а на высвобождение инстинкта, — по своим замыслам и лозунгам фашизм представлял собой не классовую, а культурную революцию, и претендовал он на то, чтобы служить не освобождению, а избавлению людей. И вызванный им мощный резонанс, конечно же, объясняется ещё и тем, что он искал Утопию там, где, если следовать естественному движению человеческого духа, только и мог находиться во всех его ипостасях тот самый утерянный рай, — в архаичной,

мифической первобытности. Доминирующий страх перед будущим усиливал тягу к перенесению всех апофеозов в прошлое. Во всяком случае, в фашистской «консервативности» проявлялось желание революционным путём повернуть историческое развитие вспять и ещё раз вернуться к отправной точке, в те лучшие, определяющиеся природой, гармоничные времена до начала вступления на ложный путь. В одном из писем 1941 года Гитлер напишет Муссолини, что последние пятнадцать столетий были не чем иным, как паузой, а теперь история собирается «вернуться на прежние пути». И если даже в его задачу не входило восстановление допотопных порядков, то восстановить их систему ценностей, их мораль перед лицом врывавшихся со всех сторон сил распада ему хотелось: «Наконец-то плотина против надвигающегося хаоса!» — так провозглашал Гитлер[254].

Так что, вопреки всей революционной выразительности, национал-социализм никогда не был в состоянии скрыть свой оборонительный характер, являющийся его сутью и находящийся в очевидном противоречии с той смелой гладиаторской позой, которую он любил принимать. Конрад Хайден назвал фашистские идеологии «хвастовством во время бегства», «страхом перед восхождением, перед новыми ветрами и незнакомыми звёздами, протестом жаждущей покоя плоти против не знающего покоя духа»[255]. И именно этим оборонительным настроем было продиктовано высказывание самого Гитлера вскоре после начала войны против Советского Союза, что теперь он понимает, почему китайцы решили отгородить себя стеной, и у него вот тоже возникло искушение «помечтать о таком гигантском вале, который отгородит новый восток от среднеазиатских масс. Вопреки всей истории которая учит, что в огороженном пространстве наступает упадок сил».

Превосходство фашизма по отношению ко многим его конкурентам объясняется поэтому не в последнюю очередь тем, что он острее осознал суть кризиса времени, чьим симптомом был и он сам. Все другие партии приветствовали процесс индустриализации и эмансипации, в то время как он со всей очевидностью разделял страхи людей и пытался заглушить эти страхи, превращая их в бурное действо и драматизм и привнося в прозаические, скупые будни магию романтических ритуалов — факельные шествия, штандарты, черепа со скрещёнными костями, боевые призывы и возгласы «хайль!», «новую помолвку жизни с опасностью», идею «величественной смерти». Современные задачи он ставил людям в окружении маскарадных аксессуаров, напоминающих о прошлом. Но его успех объясняется ещё и тем, что он выказывал пренебрежение к материальным интересам и

рассматривал «политику как сферу самоотречения и жертвы индивидуума ради идеи»[256]. Тем самым он полагал, что отвечает более глубоким потребностям, нежели те, кто обещал массам более высокую почасовую оплату. Кажется, он раньше всех своих соперников уяснил, что руководствующийся будто бы только разумом и своими материальными интересами человек, как это считали марксисты и либералы, был некой чудовищной абстракцией.

Вопреки всем своим однозначно реакционным чертам, он тем самым куда более действенно, нежели его антагонисты, стал соответствовать страстной тоске времени по коренному повороту; казалось, только он один и выражал ощущение эпохи, что все идёт совсем не так и что мир оказался на великом ложном пути. Меньшая притягательная сила коммунизма объяснялась не только его репутацией классовой партии и вспомогательного отряда чужеземной державы — скорее, тот навлекал на себя и смутное подозрение в том, что и сам-то был одним из элементов этого ложного пути и одним из возбудителей той болезни, за рецепт от которой он себя выдавал, — не радикальный отказ от буржуазного материализма, а лишь его инверсия, не слом несправедливого и неспособного строя, а обезьянье подражание ему и его зеркальное отражение, только вверх ногами.

Непоколебимая, порою кажущаяся экзальтированной уверенность Гитлера в своей победе и была ведь всегда в немалой степени продиктована его убеждённостью в том, что он — единственный истинный революционер, ибо он вырвался из тисков существующего строя и восстановил в правах человеческие инстинкты. В союзе с ними Гитлер и видел свою непобедимость, ибо они, в конечном счёте, всегда прорываются «сквозь экономические интересы, сквозь давление общественного мнения и даже сквозь разум». Конечно, обращение к инстинкту повлекло за собой немало проявлений неполноценности и человеческой слабости, да и традиция, честь которой хотел восстановить фашизм, была во многом только искажённым отражением оной, как и прославлявшийся им порядок — всего лишь театром порядка. Но когда Троцкий презрительно называл приверженцев фашизма «человеческой пылью»[257], он только демонстрировал этим характерную беспомощность левых в понимании людей, их потребностей и побуждений, что и имело своим следствием столь многочисленные заблуждения при оценке эпохи у тех, кто полагал, что лучше других понимает её дух и назначение.

И дело тут не только в потребности в романтике, которую удовлетворял фашизм. Порождённый страхом эпохи, он был стихийным восстанием за авторитет, мятежом за порядок, и

противоречие, содержащееся в такого рода формулах, как раз и составляло его суть. Он был бунтом и субординацией, разрывом со всеми традициями и их освящением, народной общностью и строжайшей иерархией, частной собственностью и социальной справедливостью. Но все постулаты, которые он сделал своими, непременно включали в себя всевластный авторитет сильного государства. «Больше, чем когда бы то ни было, народы испытывают сегодня тягу к авторитету, управлению и порядку», — заявлял Муссолини[258].

С презрением говорил он о «более или менее истлевшем трупе богини Свободы» и считал, что либерализм уже собирается «закрыть врата своих храмов, покинутых народом», потому что «весь политический опыт современности — антилиберальный». И в самом деле, по всей Европе, и прежде всего в странах, перешедших к системе либерального парламентаризма только в конце мировой войны, наблюдались растущие сомнения в способности этой системы к функционированию. Они проявлялись тем сильнее, чем решительнее эти государства устремляли свой шаг к современности. Ощущение, что средств либеральной демократии во взрывной и в силу обстоятельств кризисной обстановке переходной фазы недостаточно, а её возможности вести за собой обретшие самосознание массы слишком малы, распространялось с огромной быстротой. На фоне мелочных парламентских споров, игр и беспомощных вожделений многопартийного правления у людей пробуждалось старое желание оказаться перед fait accompli (свершившимся фактом), а не стоять перед выбором[259]. За исключением Чехословакии, в период между двумя мировыми войнами во всех государствах Восточной и Центральной Европы, а также во многих государствах Южной Европы система парламентаризма потерпела крах — в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Венгрии, Румынии, Австрии, Италии, Греции, Турции, Испании, Португалии и, наконец, в Германии. К 1939 году осталось всего лишь девять государств с парламентской формой правления, причём многие из них, как Третья республика во Франции, находились в drole d'etat (странном положении), а некоторым другим придавала стабильность монархия, так что «фашистская Европа (была уже) в сфере возможного»[260].

Поэтому дело тут было не в агрессивной злобе какой-то одной нации, стремившейся перевернуть ситуацию в мире. Широкое настроение усталости, презрения и разочарования предвещало, поверх всех границ, расставание с веком либерализма. Оно происходило под знаком реакции и прогресса, тщеславия и бескорыстия. В Германии уже начиная с 1921 года не

было в рейхстаге большинства, которое было бы по убеждению привержено парламентской системе. Либеральная мысль почти не имела поборников, но зато много потенциальных противников; им нужен был только толчок, зажигательный лозунг, вождь-фюрер.

КНИГА ВТОРАЯ
ПУТЬ В ПОЛИТИКУ

Глава I
ЧАСТЬ НЕМЕЦКОГО БУДУЩЕГО

Государство свихнулось. Если бы кто-то явился с Луны, он не узнал бы Германию, сказал бы: «И это прежняя Германия?»

Адольф Гитлер

Я высмеял бы любого, кто стал бы мне пророчить, что это — начало новой эпохи всемирной истории.

Конрад Хайден, вспоминая о годах учёбы в Мюнхене.

Эйснер и попытка революции в Мюнхене. — Организация контрреволюции. — Добровольческие отряды и группы самозащиты граждан. — Поручение войсковой команды рейхсвера. — Письмо Гитлера Адольфу Гемлиху. — Общество «Туле» и Немецкая рабочая партия. — «Самое главное решение моей жизни». — 16 октября 1919 г.: истинное пробуждение. — Шаг в люди. — Провозглашение 25 пунктов. — Решение стать политиком.

Сцена, на которую вступил Гитлер весной 1919 года, имела своим задником особые баварские условия. Из мельтешащей череды фигур, на мгновение выталкивающей под яркий свет рампы то одного, то другого актёра из их великого множества, постепенно начинает выделяться его бледное, невыразительное лицо. В этой суматохе революции и контрреволюции, среди всех этих эйснеров, никишей, людендорфов, лоссовых, росбахов и каров, никто не казался столь мало подходящим на роль избранника истории, на которую все они претендовали, нежели он, ни у кого не было столь ничтожно мало средств и более анонимной исходной позиции, и никто не казался таким беспомощным, нежели «один из тех, кто вечно торчал в казарме, не зная, куда себя деть»[261]. Потом он охотно назовёт себя «неизвестным ефрейтором первой мировой войны», пытаясь засвидетельствовать тем самым неожиданную для него самого, улавливаемую только в мифологизированных взаимосвязях природу своего восхождения, ибо три года спустя он был уже

хозяином сцены, на которую вступил в первой половине 1919 года, если и не против своей воли, то все же поначалу весьма неуверенной походкой.

Ни один город в Германии не был так охвачен и потрясён революционными событиями, аффектами и противодействиями первых послевоенных недель, как Мюнхен. На два дня раньше, чем в Берлине, 7 ноября 1918 года, стремление нескольких леваков-одиночек улучшить мир свергло тысячелетнюю виттельсбахскую династию и внезапно вознесло их на вершину власти. Под руководством бородатого представителя богемы, театрального критика газеты «Мюнхен пост» Курта Эйснера они попытались — совсем в духе буквального прочтения ноты Вудро Вильсона — путём революционной смены ситуации «подготовить Германию к Лиге наций» и добиться для страны «мира, который избавит её от самого худшего»[262].

Однако слабость и непоследовательность американского президента, а также ненависть правых, сказывающаяся ещё и сегодня в отказе почитать память пришлых «бродяг без рода и племени» и швабингских большевиков, сорвали все планы Эйснера[263]. Уже сам факт, что ни он сам и ни один из этих новых людей не были баварцами, а, напротив, являли собой яркий тип антибуржуазного интеллигента, да притом нередко еврея, обрекал революционное правительство в этой пронизанной сословным духом земле на неудачу. К тому же режим наивного спектакля, установленный Эйснером, все эти беспрерывные демонстрации, публичные концерты, шествия с флагами и пламенные речи о «царстве света, красоты и разума» отнюдь не способствовали укреплению его позиций. Такое ведение государственных дел вызывало скорее столько же смеха, сколько и озлобления, но никак не симпатию, на которую рассчитывал Эйснер своим «правлением доброты», — утопические порядки, обладавшие на бумаге, из далёкой философской перспективы, такой силой воздействия, при соприкосновении с действительностью рассыпались в прах. И в то время как сам он с иронией именовал себя «Куртом I», как бы связывая себя с традицией свергнутого правящего дома, повсюду распевали песенку с издевательским припевом: «Революцья-люцья — во! Нам не надо ничего. Все заботы об одном — чтоб всё было кверху дном. Все перевернём!»

Даже критическое отношение Эйснера к экстремистским вождям Союза «Спартака» и таким агентам мировой революции как Левин, Левине и Аксельрод, его возражения анархистским фантазиям писателя Эриха Мюзама и пусть даже словесные уступки, которые он делал распространённым сепаратистским

настроениям, распространённым в Баварии, никак не могли в этой ситуации улучшить его положение. После выступления на социалистическом конгрессе в Берне с признанием вины Германии в развязывании войны он сразу же оказался в эпицентре организованной кампании безудержных нападок, требовавшей его устранения и заявившей, что его время истекло. Сокрушительное поражение на выборах вынудило его вскоре вслед за этим принять решение об уходе. 21 февраля, когда он в сопровождении двух сотрудников направился в ландтаг, чтобы заявить о своей отставке, его застрелил двадцатидвухлетний граф Антон фон Арко-Валлей. Это был бессмысленный, ненужный и чреватый катастрофическими последствиями поступок.

Уже несколько часов спустя, во время панихиды по убитому, в здании ландтага ворвался левак Алоис Линднер, бывший мясником и кельнером в пивной, и, открыв дикую пальбу, застрелил министра Ауэра и ещё двух человек. Все собрание в панике разбежалось. Однако, вопреки тому, чего ожидал Арко-Валлей, общественное мнение в своём большинстве стало склоняться влево. У всех ещё в памяти было убийство Розы, Люксембург и Карла Либкнехта, и в новом преступлении увидели выражение стремления реакции вновь объединится и вернуть утраченную власть. В Баварии объявляется чрезвычайное положение и раздаётся призыв ко всеобщей забастовке. Когда часть студентов выступила в поддержку Арко-Валлея, считая его поступок героическим, университет был закрыт и начались многочисленные аресты — брали заложников, была введена беспощадная цензура, банки и общественные здания захватили отряды Красной армии, на улицах появились броневики и грузовики с солдатами, которые через громкоговорители кричали: «Отомстим за Эйснера!». В течение целого месяца вся исполнительная власть была сосредоточена в руках некоего Центрального совета во главе с Эрнстом Никишем, и только затем был сформирован парламентский кабинет. Но когда в начале апреля из Венгрии пришло известие о захвате там власти Белой Куном и провозглашении диктатуры пролетариата, что говорило о распространении советской системы уже и за пределы России, только что стабилизировавшаяся ситуация снова заколебалась. Под лозунгом «Германия идёт вслед!» меньшинство, состоявшее из леворадикальных утопистов и не имевшее массовой опоры, провозгласило в Баварии, вопреки очевидной воле граждан и вопреки её традициям и эмоциям, республику Советов. Поэты Эрнст Толлер и Эрих Мюзам опубликовали свидетельствовавший об их романтической оторванности от жизни и неспособности к руководству указ, в котором говорилось о превращении мира в

«луг, усеянный цветами», где «каждый может срывать свою долю», упразднялись труд, субординация и правовая мысль, а газетам предписывалось публиковать на первых страницах рядом с последними революционными декретами стихотворения Гёльдерлина или Шиллера[264] Когда же Эрнст Никиш и большинство министров правительства, перебравшегося к тому времени в Бамберг, ушли в отставку, то государство оказалось вообще без руля и без ветрил, и не оставалось ничего, кроме путаного евангелия поэтов, хаоса и перепуганных обывателей. И тут власть захватила группа беспощадных профессиональных революционеров.

То, что происходило далее, забыть уже невозможно: комиссии по конфискации имущества, практика взятия заложников, поражение буржуазных элементов в правах, революционный произвол и растущий голод вызвали в памяти столь недавние страшные картины Октябрьской революции в России и оставили такой след, что их не вытеснили потом и кровавые преступления ворвавшихся в начале мая в Мюнхен соединений рейхсвера и добровольческих отрядов, когда были убиты в Пуххайме пятьдесят выпущенных на свободу русских военнопленных, безжалостно уничтожена на железнодорожной насыпи у Штарнберга санитарная колонна армии Советов, захвачен в своём мюнхенском помещении двадцать один ни в чём не повинный член союза подмастерьев-католиков (их бросили в тюрьму на Каролиненплац и там расстреляли по приговору полевого суда), а также безвинно ликвидированы двенадцать рабочих из Перлаха, причисленных потом следствием к числу ста восьмидесяти четырех лиц, погибших «по собственному легкомыслию и роковому стечению обстоятельств», и, наконец, зверски убиты или расстреляны вожди советского эксперимента Курт Эглхофер, Густав Ландауэр и Евгений Левине — все они вскоре оказались забытыми, потому что была заинтересованность в этом забвении. А вот восемь заложников, членов общества праворадикальных заговорщиков «Туле», содержавшихся в подвале гимназии Луитпольда и ликвидированных в ответ на эти бесчинства какой-то мелкой сошкой, остались в общественном сознании ещё на много лет одной из тщательно пестовавшихся устрашающих картин. Где бы ни появились вступившие войска, читаем мы в одном дневнике того времени, повсюду «люди машут платками, высовываются из окон, аплодируют, восторг царит неописуемый… все торжествуют»[265]. Из земли революции Бавария стала землёй контрреволюции.

В более трезвых и стойких буржуазных кругах этот опыт

первых послевоенных месяцев пробудил новое самосознание. Растерянная и в общем-то весьма и весьма маломощная воля революции продемонстрировала бессилие и концептуальное замешательство левого крыла, явно имевшего в своём распоряжении больше революционного пафоса, нежели революционного мужества. И если в мире социал-демократии оно показало себя энергичным фактором порядка, то в попытке правления Советов в Баварии обернулось прямо-таки фантастической стихией, не имевшей никакого представления ни о власти, ни о народе. Впервые в те месяцы буржуазия, или хотя бы её наиболее уравновешенная часть, осознала, что она нисколько не слабее хвалёного, окружённого аурой непобедимости, но, собственно говоря, простодушного рабочего класса.

И это новое самосознание стремились привить буржуазии главным образом вчерашние фронтовики-офицеры среднего звена — все эти жаждавшие дела капитаны и майоры. Говоря словами Эрнста Юнгера, они наслаждались войной, как вином, и были все ещё опьянены ею. Несмотря на многократное превосходство противника, они не чувствовали себя побеждёнными. Призванные правительством на помощь, они укротили бунтовщиков и строптивые солдатские советы и подавили советский эксперимент в Баварии; они выполняли функции по охране незащищённых восточных границ Германии, и в первую очередь с Польшей и Чехословакией, до того как Версальский договор и положения о стотысячной армии не перечеркнули их будущего; теперь они чувствовали себя обманутыми, социально приниженными и уязвлёнными в национальном плане. Своеобразное сочетание самоосознания и чувства потерянности толкает их отныне в политику. К тому же многие уже не хотят или не могут расстаться с прекрасной беспорядочностью солдатской жизни, военным ремеслом и мужским товариществом. Обладая превосходным опытом и принесённой с войны практикой планомерного применения силы, они организовывают отпор революции — давно уже подавленной и утонувшей в страхе и потребности нации в порядке.

Частные милитаризованные отряды, возникавшие повсюду, вскоре превратили отдельные регионы в военные лагеря ландскнехтов, драпированные национальными цветами, и окружённые ореолом политических сражений. Опираясь на реальную силу пулемётов, ручных гранат и пушек, бывших в их распоряжении и вскоре рассредоточенных в состоянии боевой готовности на тайных складах оружия по всей стране, они, пользуясь бессилием политических институтов, обеспечивали

себе в некоторых регионах весьма значительную долю власти. В частности, в Баварии они могли — в качестве реакции на злополучный опыт времени Советов — разворачивать свою деятельность почти беспрепятственно: «Организовать всеми средствами противодействие революции», — так гласило одно из указаний социал-демократического правительства в период правления Советов[266], Рядом с рейхсвером, а порою и незаметно срастаясь с ним, действовали, опираясь на такого рода поощрения, добровольческий отряд барона фон Эппа, затем союз «Оберланд», объединение офицеров «Железный кулак», «Организация Эшериха», Немецкий народный союз защиты и борьбы, объединение «Флаг старого рейха», добровольческие отряды Байрейт, Вюрцбург и Вольф, отряды особого назначения Богендерфера и Пробстмайра, а также многочисленные другие организации тщеславного и одновременно боящегося политической и военной нормализации своеволия[267].

Однако все эти союзы находили поддержку не только правительства и государственной бюрократии, но и в настроении широких народных слоёв. Одной из поразительных странностей общества, воспитанного на солдатских традициях, является то, что носители индивидуальных аффектов могут обрести особые национальные и моральные полномочия, коль скоро они облачают своё негодование в форму и пускают его маршировать по улицам. На фоне хаотической сумятицы революции и Советов военное формирование уже само по себе казалось образцовым антиподом всему этому, антиподом, выражающим идею жизни и порядка и заслуживающим всемерной поддержки. В строгом равнении, чётко отбивая шаг, проходят по Людвигштрассе части добровольческого отряда Эппа, а вот и подразделения бригады Эрхардта, принёсшие из сражений в Прибалтике эмблему, упоминаемую в походной песне этой части: «Свастикой украшен шлем стальной…». Всей своей примечательной силой они олицетворяли в глазах общественного сознания нечто такое, что говорило о славных и спокойных временах, ставших ныне лишь предметом ностальгических воспоминаний. И это было лишь отражением господствовавшего мнения, когда в одной из основополагающих директив Баварской четвёртой войсковой команды в июне 1919 года рейхсвер именовался «краеугольным камнем», на котором следовало строить «разумную новую основу всех внутригосударственных отношений», а отсюда делался вывод о необходимости активной и широко разветвлённой пропагандистской деятельности. В то время как партии левого крыла в своей наивности переносили своё негативное отношение к войне и бойне народов и на солдат, переживших все её ужасы и

жертвы на своей шкуре[268], правый фланг в своей обработке тех же солдат апеллировал к их уязвлённой гордости и потребности в достоверном объяснении того, почему многие их надежды так и не сбылись.

В ряду разнообразных мероприятий, которые организовывались, в частности, разведывательно-пропагандистским отделом войсковой команды под начальством энергичного капитана Майра, были и курсы «гражданственности»; именно на них и откомандировали Гитлера после успешного выполнения им задания по выявлению сторонников Республики Советов. Целью читавшихся на этих курсах в аудиториях университета известными и благонадёжными в плане национальных убеждений преподавателями лекций с тщательно отработанной тематикой было просвещение слушателей главным образом в области истории, экономики и политики.

В своём постоянном стремлении к отрицанию или, по крайней мере, преуменьшению любых влияний, оказавших на него своё воздействие, Гитлер будет говорить, что эти курсы помогли ему на его дальнейшем пути не столько занятиями, сколько контактами: благодаря им он получил возможность «познакомиться с несколькими камрадами — единомышленниками, с которыми я мог подробно обсуждать текущий момент». Вот только на лекциях инженера Готфрида Федерал по экономической теории он, как признается потом, впервые «узнал в принципе, что такое международный биржевой и ссудный капитал»[269].

Однако, строго говоря, значение этих занятий состояло в том внимании, которое смог привлечь Гитлер среди избранной публики своей напористостью, своим интеллектуальным темпераментом — в дискуссиях участников курсов он впервые имел перед собой аудиторию, состоящую не из неграмотных, случайных слушателей. Один из преподавателей, историк Александр фон Мюллер, расскажет позднее, как он после окончания одной лекции задержался в начавшем пустеть зале около группы, «столпившейся вокруг человека, который гортанным голосом, без остановки и все с большей горячностью о чём-то говорил им. У меня было странное чувство, будто их возбуждённость была его рук делом и в то же время придавала голос и ему самому. Я видел бледное, худое лицо, на которое не по-солдатски спадал клок волос, с коротко подстриженными усами и на удивление большими, голубыми, фанатично блестевшими глазами». Вызванный на следующем занятии к кафедре, он подошёл «послушно, неуклюжей походкой и, как мне показалось, с каким-то упрямым смущением». Однако «разговор

оказался бесплодным»[270].

В этих наблюдениях встречаешь, в контурном виде, то странное явление, что уже многократно засвидетельствовано, когда речь идёт о молодом Гитлере, — с явной силой воздействия и уверенный в себе в своём риторическом раже и одновременно беспомощный в личном разговоре. По его собственному признанию, свою первую незабываемую победу по убеждению словом он одержал, бурно возражая своему оппоненту, — не мог не ответить на вызов, когда «один из участников посчитал, что надо вступиться за евреев». И вот историк фон Мюллер обращает внимание капитана Майра на этот природный ораторский талант, открытый им среди своих слушателей; затем Гитлера направляют в качестве «доверенного лица» в один из мюнхенских полков. Вскоре после этого его фамилия появляется под номером 17 в одном из списков личного состава так называемой команды по проверке лагеря-пропускника Лехфельд: «Пех. Гитлер Адольф, 2-й пех. полк, ликвидационный отдел». У команды было задание вести среди возвращающихся из плена солдат пропаганду в национальном, антимарксистском духе, одновременно она должна была быть для входящих в неё лиц «практическими курсами по подготовке ораторов и агитаторов»[271].

На этом фоне, в бараках и сторожевых помещениях лагеря Лехфельд, и накапливал Гитлер свой первый ораторский и психологический опыт, здесь он учился так наполнять изначальный материал своих маниакальных мировоззренческих идей актуальным содержанием, чтобы его основные положения казались неопровержимо подтверждёнными, а текущие политические события обретали видимость судьбоносного масштаба. И те черты оппортунизма, которые придадут твердолобости национал-социалистической идеологии столь своеобразный характер беспринципности, тоже не в последнюю очередь имели своим истоком неуверенность начинающего оратора, которому приходилось опробовать на публике эффективность своей одержимости и искать для своих экзальтированных мыслей гарантирующие отклик формулировки. «Эта тема особенно разжигала интерес участников, что можно было прочитать по их лицам», — говорится одном из свидетельств очевидца выступлений Гитлера в лагере. На глубокое и агрессивное чувство разочарованности у возвращающихся из плена солдат, увидевших себя после лет войны обманутыми во всём, что придавало вес и величие их молодости, и предъявлявших теперь свой счёт за весь оказавшийся никому не нужным героизм, за все многочисленные упущенные победы и за свою абсурдную веру, Гитлер отвечал

первыми чётко очерченными представлениями о враге. В фокусе его ораторских упражнений, чьими наиболее выдающимися признаками, по отзывам, были «популярность выступления», «легко доступная манера» изложения и страстный «фанатизм», находились поэтому нападки на ту группу, которую он после, используя ставшее народным выражение, назовёт «ноябрьскими преступниками», а также безудержные обличения «версальского позора» и пагубного «интернационализма» — все это растолковывалось и обосновывалось закулисными махинациями некоего «всемирного еврейеко-марксистского заговора»[272].

Уже здесь проявилась его способность без всякого интеллигентского стеснения валить в одну кучу обрывки мыслей из где-то читанного и лишь наполовину усвоенного. Так, темой одного из его докладов в Лехфельде — в «прекрасном, понятном и темпераментном» исполнении — послужили связи между капитализмом и еврейством, о чём он только вчера узнал из лекции Готфрида Федерал. Для его мыслительной хватки были одинаково характерны насилие и упорство. В какой мере отдельные элементы его убеждений обрели уже в это время свой окончательный вид, не претерпев потом изменений вплоть до мира подземного бункера, доказывает первое сохранившееся письменное высказывание Гитлера по конкретному политическому вопросу — его письмо «Об опасности, которую представляет еврейство для нашего народа». Бывшее «доверенное лицо» мюнхенской войсковой команды, некий Адольф Гемлих из Ульма, попросил капитана Майра прояснить позицию по этому вопросу, а Майр переадресовал это письмо вместе с сопроводительной запиской, содержавшей необычное в рамках военной субординации обращение «Глубокоуважаемый господин Гитлер», для ответа своему сотруднику. И Гитлер дал подробное обоснование своего неприятия эмоционального антисемитизма, который, считает он, главным образом может опираться только на случайные личные впечатления, в то время как антисемитизм, претендующий на то, чтобы стать политическим движением, должен основываться на «знании фактов»[273]:

> «А факты таковы: в первую очередь еврейство — это раса, а не религиозное товарищество. Путём тысячелетнего кровосмешения, часто происходящего в самом узком кругу, еврей в общем острее сохранил свою расу и своё своеобразие, нежели многие из народов среди которых он живёт. И результат этого — тот факт, что между нами живёт не немецкая, чужая раса, не желающая да и не могущая пожертвовать своими

расовыми своеобразиями, отказаться от своих чувств, мыслей и стремлений, и всё же политически обладающая всеми правами как мы сами. И если уж чувство еврея занято только материальным, то тем более его мысли и стремления… Все, что побуждает людей стремиться ввысь, будь то религия, социализм и демократия, для него это все только средство для достижения цели — удовлетворения жажды денег и власти. Его деяния оборачиваются по своим последствиям расовым туберкулёзом народов.

И отсюда следует такой вывод: антисемитизм по чисто эмоциональным причинам будет находить своё конечное выражение в форме прогромов (!). Но антисемитизм разума должен вести к планомерному законному одолению и устранению еврейских привилегий… Но конечной его целью должно быть безвозвратное удаление евреев вообще. То и другое способно совершить лишь правительство национальной силы, а никак не правительство национального бессилия».

За четыре дня до написания этого письма, 12 сентября 1919 года, капитан Майр поручил доверенному лицу Гитлеру побывать на собрании одной из маленьких партий — их было великое множество, этих разного рода радикальных объединений и групп, которые зачастую развивали вдруг, на какое-то короткое время, отчаянную активность, объединялись и распадались, чтобы потом в виде новых группировок появиться на свет божий; это был грандиозный, лежащий втуне потенциал для приобретения приверженцев и сторонников. Именно в этом нередко связанном с завихрениями сектантском своеобразии и проявлялась та прямо-таки слепая готовность, с которой столь долго политически индифферентные буржуазные массы требовали доходчивых лозунгов для своих чувств национального протеста и успокоения своих страхов перед лицом социального кризиса.

Центральное значение в качестве исходной точки для конспиративных инициатив, а также заметной пропагандистской деятельности, равно как и в качестве места для контактов крайне правых сил принадлежало обществу «Туле», его штаб-квартирой была фешенебельная гостиница «Четыре времени года»; это общество поддерживало связи с самым широким спектром баварского общества. В то время оно насчитывало около 1500 членов, в том числе и весьма влиятельных лиц, имело свой

символ — снова свастику — и свою газету — «Мюнхенер беобахтер». Во главе общества стоял некий политический авантюрист с сомнительным прошлым, усыновлённый одним потерпевшим крушение на востоке австрийским дворянином и унаследовавший от него звучное имя барона Рудольфа фон Зеботтендорфа[274]. По его собственному признанию, он рано попал под влияние таких идеологов-радикалов как Теодор Фрич и Ланц фон Либенфельс, чей безоглядный и не свободный от оккультных приправ расистский бред оказал в своё время влияние и на молодого Гитлера. Созданное Зеботтендорфом на рубеже 1917-1918 годов и сразу же развившее лихорадочную деятельность мюнхенское общество «Туле» продолжило традицию антисемитских объединений «фелькише» довоенной поры и уже одним своим названием вызывало в памяти основанную в 1912 году в Лейпциге секту «Германен-Туле», члены которой должны были быть «арийских кровей» и представлять перед приёмом в это сходное с ложей содружество данные о росте волос на различных участках своего тела, а также отпечаток ступни в качестве расового отличительного признака[275].

Детище Зеботтендорфа развернуло ещё во время войны, в январе 1918 года, разнузданную, главным образом воинствующе антисемитскую пропагандистскую деятельность, рисовавшую еврея «смертным врагом немецкого народа» и воспользовавшуюся в конечном счёте кровавыми и хаотическими событиями времени Советов, чтобы с триумфальным видом выдать их за доказательство своей правоты. Своими дикими, экстремистскими лозунгами это общество в определяющей мере нагнетало ту атмосферу безудержной и непристойной расовой ненависти, в которой только и мог рассчитывать на продолжительный эффект радикализм «фелькише». Уже в октябре 1918 года в его кружках ковались планы правого переворота, оно же было инициатором различных проектов убийства Курта Эйснера, а 13 апреля предприняло попытку путча против правительства Советов. От него же тянулись многочисленные нити к русским эмигрантским кругам, имевшим штаб-квартирой Мюнхен; в поддержании этих контактов особая заслуга принадлежала молодому студенту-архитектору из Прибалтики Альфреду Розенбергу, которому революция в России нанесла глубокую травму. В помещениях общества и на его собраниях можно было встретить почти всех тех актёров, которые будут в последующие годы главными действующими лицами на баварской сцене. И некоторых из будущих деятелей партии Гитлера впервые сведёт вместе это общество; чередой проходят по источникам такие имена как Дитрих Эккарт и Готфрид Федер, Ханс Франк, Рудольф Гесс и

Карл Харрер.

По поручению общества «Туле» спортивный журналист Карл Харрер вместе со слесарем-механиком Антоном Дрекслером организует в октябре 1918 года некий «Политический рабочий кружок». Эта группа считала себя «объединением избранных личностей для обсуждения и изучения политических вопросов», хотя намерение её инициаторов состояло в том, чтобы преодолеть отчуждение между массами и правыми националистами. Однако поначалу членами кружка были всего несколько рабочих, товарищей Дрекслера — тихого, неуклюжего, несколько чудаковатого человека, работающего в мюнхенских железнодорожных мастерских и не находящего выхода для своей тяги к политической деятельности в рамках существовавших партий. Ещё в марте 1918 года он по собственному почину организовал «Свободный рабочий комитет за добрый мир», целью которого была борьба с ростовщиками и укрепление воли рабочего класса к победе. Главный опыт, усвоенный в политике этим серьёзным человеком в очках, состоял, в частности, в том, что марксистский социализм неспособен справиться с национальным вопросом или хотя бы дать на него сколь-нибудь удовлетворительный теоретический ответ; этот его вывод отразился и в заголовке статьи, опубликованной им в январе 1918 года, — «Фиаскопролетарского интернационала и крах идеи братского единения»[276]. Это был все тот же, только лишний раз подтверждённый готовностью социалистов в августе 1914 года воевать опыт, что ещё в 1904 году свёл немецких рабочих Богемии в Тратенау для основания Немецкой рабочей партии (ДАП). И вот под тем же названием Антон Дрекслер, собравшись 5 января 1919 года с двадцатью пятью другими рабочими тех же мастерских в ресторации «Фюрстенфельдер Хоф», основал теперь свою партию. Несколько дней спустя, по инициативе общества «Туле», ей был придан в гостинице «Четыре времени года» статус национальной организации. А Карл Харрер назначил себя её «Имперским председателем»[277]. Как видим, титул достаточно претенциозный.

Итак, в действительности новая партия, собиравшаяся раз в неделю в заднем помещении пивной «Штернэккерброй» в доме № 54 по улице Имталь, замышлялась отнюдь не как партия скромного покроя, рассчитанного на маленьких людей. Хотя Дрекслеру иной раз удавалось привлечь в качестве докладчиков некоторых местных знаменитостей «фелькише» — вроде Дитриха Эккарта или Готфрида Федерал, — дальше хмурых разговоров о политике на уровне их кругозора, мотивов и целей дело не шло. Характерно, что партия совсем не проявляла себя на публике, да

и вообще была не столько партией в общественном смысле, сколько разновидностью типичной для Мюнхена тех лет смеси тайного союза и застольной компании, которую свела вместе горькая смутная потребность поиска единомышленников. В списках участников-собраний фигурировало от десяти до сорока человек. Позор Германии, травма, нанесённая проигранной войной, антисемитские настроения и жалобы на порвавшиеся «узы порядка, права и морали» — таковы доминирующие темы этих собраний. «Основополагающие линии», зачитанные Дрекслером на учредительном заседании, были свидетельством косноязычной искренности, преисполненной злости на богатых, пролетариев и евреев, спекулянтов и на подстрекательство вражды между народами. Они содержали требования ограничить годовой доход десятью тысячами марок, настаивали на паритетном представительстве землячеств в штате германского министерства иностранных дел, а также на праве «квалифицированного и оседлого рабочего… быть причисленным к среднему сословию» — ведь счастье «не во фразе и пустых разговорах, не в собраниях, демонстрациях и выборах», а в «хорошей работе, полной кастрюле и успехах детей»[278].

Однако какой бы мещанской и интеллектуально ущербной ни казалась обстановка в партии, все же уже первая фраза «Основополагающих линий» содержала мысль, которая превращала исторический опыт и насущную потребность в программу и ставила неловкого чудаковатого Антона Дрекслера из заднего помещения «Штернэккерброй» далеко впереди других — на высоту духа времени. Ведь ДАП определяла себя бесклассовой «социалистической организацией, руководимой только немецкими вождями»; «великая мысль»[279] Дрекслера была нацелена на то, чтобы примирить нацию и социализм. Конечно, не он первый высказал эту мысль, а забота о детях и кастрюлях, казалось, отнимала у неё всю её великую страстность; да, это была всего лишь скромная мысль, порождённая тривиальным стремлением обрести хоть какую-то национальную защищённость и, во всяком случае, несоизмеримая с принудительными системами марксистского толкования мира и истории. Но те условия, в которых Дрекслер пришёл к ней, — в патетической, лихорадочной ситуации побеждённой, оскорблённой и подвергаемой революционным испытаниям страны, — а также встреча с Гитлером придали этой мысли, равно как и этой ютившейся на задворках партии, перед которой Дрекслер впервые её сформулировал, колоссальный резонанс.

На собрании 12 сентября 1919 года с докладом на тему «Как

и какими средствами можно устранить капитализм?» выступил Готфрид Федер. Среди сорока с небольшим присутствующих находился — как сказано, по поручению капитана Майра, — и Адольф Гитлер. Когда Федер излагал свои известные тезисы, гость собрания отметил для себя одно из новых обоснований, бывшее, как он писал, «подобно многим другим тоже», убийственным «по своему доходящему до смешного мещанству». «Я был рад, когда Федер наконец закончил. Мне уже было всё ясно». И всё-таки Гитлер остался и на последовавшую за докладом дискуссию, и только когда один из присутствующих потребовал отделения Баварии от рейха и вступления её в союз с Австрией, он возмутился, и попросил слова. «Тут уж я не стерпел». Он с такой яростью обрушился на предыдущего оратора, что Дрекслер прошептал сидевшему около него машинисту паровоза Лоттеру: «Ну, силён парень, вот такой-то нам и нужен»[280]. Когда же Гитлер сразу после своего выступления направился к двери, чтобы покинуть «эту скучную компанию», Дрекслер поспешил за ним и попросил захаживать ещё. Уже в дверях он сунул в руку Гитлера маленькую брошюрку собственного сочинения под названием «Моё политическое пробуждение». Потом Гитлер опишет в не без труда давшейся ему жанровой сценке, как он на следующее утро в казарме, бросая хлебные крошки шмыгавшим по помещениям мышам, начал читать это сочинение и обнаружил, что жизненному пути Дрекслера были присущи и элементы его, Гитлера, собственного развития: потеря работы в результате профсоюзного террора, добывание жалкого куска хлеба с помощью полусамодеятельного искусства (тот играл на цитре[281] в ночном кафе), и, наконец, прямо-таки сопровождавшееся страхом и чувством озарения открытие — сделанное будто бы в результате попытки одного еврея из Антверпена отравить его, — о пагубном воздействии еврейской расы на мир — все эти параллели, несомненно, вызвали у него интерес, хотя они, как не уставал потом говорить Гитлер, обязаны своим происхождением жизни рабочего[282].

Когда же ему несколько дней спустя присылают — без всякой просьбы с его стороны — членскую карточку под номером 555, это вызывает у него раздражение и одновременно улыбку, но, поскольку других дел у него все равно нет, он решает пойти на предстоящее заседание комитета. Как он потом расскажет, в «весьма непрезентабельной пивной» под вывеской «Альтес розенбад» на Херренштрассе он встретил за столом в «освещённой наполовину разбитой газовой лампой „комнате, где проходило заседание, нескольких молодых людей. В соседней комнате хозяин и его жена обслуживали немногих завсегдатаев, а

они в это время „будто правление маленького клуба игроков в скат“, зачитывали протоколы заседаний, пересчитывали партийную кассу (дебет: семь марок пятьдесят пфеннигов), распределяли нагрузки и сочиняли письма в адрес идейно близких объединений в Северной Германии — «клубная мелочёвка самого низкого пошиба“[283].

Целых два дня Гитлер мучился сомнениями; потом он, как всегда, когда вызывал в памяти поворотные ситуации в своей жизни, будет говорить о том, как нелегко далось и каких «трудных», «тяжких» и «горьких» мыслей ему стоило, прежде чем он принял решение вступить в ДАП и стал 7-м членом комитета, ответственным за агитацию и пропаганду: «После двух дней мучительных раздумий и размышлений я пришёл, наконец, к убеждению сделать этот шаг. Это было самое поворотное решение в моей жизни. Пути назад быть уже не могло». На самом же деле в этих словах не только проявилась склонность Гитлера давать становящимся потом очевидными поворотам в своей биографии определённую драматическую подсветку и — коли уж никак не находилось никаких эффектов, обусловленных внешними обстоятельствами, — представить само решение по меньшей мере результатом одинокого, мучительного борения с самим собой; в ещё большей степени все имеющиеся источники единодушно свидетельствуют о характерной для него до самого последнего момента нерешительности, глубокой боязни перед выбором. Этой боязнью диктовалось и засвидетельствованная его позднейшим окружением склонность после тягостных колебаний и противоборства с собой, будучи вконец измученным, отдавать в конечном итоге вопрос на волю случая и принимать решения с помощью подброшенной монетки, что и выливалось в культ судьбы и провидения, с помощью которого он маскировал свою боязнь перед принятием решений. Есть много причин утверждать, что все его решения личного плана и даже некоторые из его политических решений были не чем иным, как стремлением уклониться, избежать какой-то другой, воспринимаемой как более угрожающая, альтернативы. Во всяком случае, везде, начиная с ухода из училища, потом переездов в Вену и Мюнхен, записи добровольцем и до шага в политику, без труда распознается мотив бегства — и это подтверждается многочисленными примерами его поведения в последующие годы, вплоть до оттягивания, в растерянности, своего неминуемого конца[284].

Желание избежать груза требований буржуазного мира по части обязанностей и порядка, прежде чем наступит вызывающий страх момент перехода в гражданскую жизнь, и было тем, что

определяло в решающей степени все шаги вчерашнего фронтовика и постепенно привело его на баварскую политическую сцену — он понимал политику и занятие ею как профессию человека, не имеющего профессии и не желающего её приобретать. Столь раздутое в его воспоминаниях решение вступить в ДАП, принятое осенью 1919 года, было, под этим углом зрения, равно как и все предыдущие решения тоже, отказом от буржуазного порядка и диктовались потребностью оградить себя от строгости и обязательности социальных норм оного.

С силой, за которой явно прослеживается присущий всей его жизни мотив бегства, Гитлер даёт теперь выход своей накопившейся за многие годы жажде деятельности — наконец-то перед ним нет препятствий в виде формальных требований, а лежит поле, где не требуется никаких других предпосылок, кроме тех, какими он располагает: страстность, фантазия, организаторский талант и дар демагога. В казарме он без устали пишет и печатает на машинке приглашения на собрания, сам их разносит, разузнает адреса людей и говорит с ними, ищет связи, поддержку и новых членов. Поначалу его успехи остаются скромными, и каждое новое лицо, появляющееся на мероприятиях, радостно регистрируется. Уже тут становится очевидным, что превосходство Гитлера перед всеми его соперниками заключается не в последнюю очередь в том, что только у него есть столько свободного времени. И в парткоме из семи человек, заседавшем раз в неделю в кафе «Гастайг» за угловым столиком, который станет позднее предметом культового поклонения, он тоже быстро выдвигается, потому что по сравнению с другими у него больше идей, и смекалки, и энергии.

Под растерянными взглядами остальных членов, довольствовавшихся своим прозябанием, он уже довольно скоро начинает настаивать на выходе «скучной компании» на публику. 16 октября 1919 года становится решающим днём и для Немецкой рабочей партии, и для её нового деятеля. На её первом публичном собрании, в присутствии ста одиннадцати слушателей, Гитлер выступает вторым. В этом непрерывно нараставшем по накалу тридцатиминутном выступлении нашли выход все эмоции, все скопившиеся со времён мужского общежития и проявлявшиеся ранее в бессвязных монологах чувства ненависти, и, словно вырвавшись из немоты и одиночества минувших лет, перегоняли друг друга слова, галлюцинации, обличения; к концу выступления «люди в маленьком помещении наэлектризовались», и то, чего он раньше

«не знал, а просто ощущал по наитию, теперь оказалось правдой», и он с ликованием осознал потрясающий факт: «Я мог говорить!»[285].

Это и стало моментом — если вообще есть какой-то конкретный, поддающийся точной датировке момент — его прорыва к самому себе, тем самым «ударом молота судьбы», пробившим «оболочку будней», и его спасительное значение наложит отпечаток экстаза на его воспоминания о том вечере. Ведь в принципе в прошедшие недели он уже не раз испытывал силу своего ораторского воздействия, узнал свои возможности уговаривать людей и обращать их в свою веру. Но с её субъективной мощью, триумфальным самозабвением вплоть до седьмого пота, полуобморока и полного изнеможения он встретился, если верить его собственным словам, впервые именно в эти тридцать минут; и как когда-то он не знал удержу во всём — в своих страхах, самокопании или же чувстве счастья от услышанного в сотый раз «Тристана», — так и начиная с этого момента он уже одержим только одним — своим красноречием. И над всеми политическими страстями первенствует с того момента эта однажды и навсегда разбуженная потребность «доходяги» (так он сам обозвал себя в воспоминаниях того времени[286]) в самоутверждении, которая будет снова и снова бросать его на трибуны в стремлении вновь испытать пережитое когда-то чувство оргазма.

И его решение стать политиком, которое он в сочинённой им самим легенде отнесёт ко времени пребывания в лазарете в Пазевальке и опишет как реакцию отчаявшегося, зарывшегося лицом в подушку, но несломленного патриота на «ноябрьское предательство», в действительности следует датировать более поздним и куда более близким к этому его выступлению осенью 1919 года временем. В протоколах, членских списках и списках присутствующих он указывает себя в этот период художником, иногда — писателем, но можно предполагать, что эти конфузливые ссылки на профессию говорят лишь о его попытках удержать ускользающую юношескую мечту о величии и занятии искусством. В одном из агентурных донесений мюнхенской полиции в середине ноября 1919 года говорится: «Он — коммерсант, собирающийся стать профессиональным рекламным агентом». Опять здесь не отмечено принятое уже больше года тому назад решение его жизни, однако — впервые — указывается на его склонности и возможности: «Что ему было нужно, так это говорить, и чтобы был кто-то, кто его слушал», — такое же наблюдение сделал Кубицек[287]. В ораторском даре, чью триумфальную мощь он открыл в себе реально только теперь, он

видит для себя выход из дилеммы прахом пошедших жизненных ожиданий, хотя и не имеет сколько-нибудь внятного представления о своём будущем, — ведь он собирается стать профессиональным рекламным агентом. И это вновь было очередным стремлением уклониться. Именно между этим стремлением и более поздними мифами, с помощью которых он так тщился возвести вокруг своей главы нимб проявившейся якобы уже в ранние годы предназначенности, и лежит все различие между личным мотивом и мотивом социальным, побуждающем сделать шаг в политику. И многое говорит за то, что преобладающим был первый мотив; во всяком случае, Гитлер так и не скажет, что же явилось подлинным толчком для его политического пробуждения, как и не назовёт того дня, когда он почувствовал, что «несправедливость мира, как поток кислоты, пролилась на его сердце» и он не мог уже не выступить в поход, чтобы истребить и эксплуататоров, и лицемеров[288].

Уже вскоре после своего вступления в ДАП Гитлер принимается за превращение боязливой, неподвижной застольной компании в шумную, публичную боевую партию. Несмотря на сопротивление, оказываемое главным образом Карлом Харрером, не хотевшим расставаться со старыми, унаследованными от общества «Туле» представлениями о ДАП как о тайном союзе и рассматривающим партию по-прежнему как кружок политизированных мужчин, занятых в милом их сердцу чаду пивной переливанием из пустого в порожнее своих чувств, Гитлер с самого начала мыслил категориями массовой партии. Это не только отвечало стилю его представлений, не желавшему смириться с ситуацией ущербности, но и его мнению о причинах неудач старых консервативных партий. Во взглядах же Харрера странным образом продолжала жить та тяга к исключительности, что была слабостью партий буржуазной знати в кайзеровские времена и в значительной степени отталкивала от буржуазных позиций как массы мелкой буржуазии, так и рабочих.

Ещё до конца 1919 года ДАП по настоянию Гитлера организовала в сводчатом, лишённом дневного света подвальном помещении пивной «Штернэккеброй» свой постоянный штаб; аренда помещения составляла пятьдесят марок, договор об аренде был подписан Гитлером, который снова называет себя здесь «художником». Там поставили стол и пару взятых на прокат стульев, установили телефон и привезли несгораемый шкаф для членских карточек и партийной кассы; вскоре появилась старая пишущая машинка «Адлер» и печать — критически настроенный Харрер заявил, обнаружив все признаки готовящегося

обюрокрачивания, что Гитлер «страдает манией величия»[289]. Примерно в то же время Гитлер добивается расширения состава комитета сперва до десяти, а потом до двенадцати, а иной раз и больше членов, привлекая главным образом знакомых и преданных ему лично людей, нередко им же сагитированных товарищей по казарме. Возникающий аппарат позволяет ему сменить примитивно-убогие, написанные на листочках от руки объявления о собраниях на размноженные машинным способом приглашения; одновременно партия начинает публиковать объявления о своих мероприятиях в «Мюнхенер беобахтер». На столики в пивных, где они проводились, выкладываются проспекты и листовки, и здесь же Гитлер впервые в своей технике пропаганды продемонстрировал ту, собственно говоря, абсолютно лишённую почвы и неадекватную реальности, а потому столь вызывающую самоуверенность, которая потом будет часто способствовать его успехам, решившись на неслыханный шаг взимания входной платы за присутствие на публичных мероприятиях маленькой, неизвестной партии.

Растущий авторитет Гитлера-оратора постепенно укрепляет и упрочивает его положение в партии. Уже к началу следующего года ему удаётся оттеснить строптивого Харрера и побудить его выйти из партии. Теперь первый отрезок пути был свободен. Вскоре правление — со скепсисом и немалой боязнью оказаться публичным посмешищем — соглашается с настойчивым требованием своего честолюбивого ответственного за агитацию обратиться к массам. На 24 февраля, примерно через полгода после вступления в неё Гитлера, партия назначает свой первый большой митинг в парадном зале пивной «Хофбройхауз».

На ярко-красном плакате, возвещавшем об этом овеянном легендами собрании, имя Гитлера даже не упоминалось. Главной фигурой вечера должен был быть испытанный национальный оратор, врач д-р Иоганнес Дингфельдер, выступавший в публикациях «фелькише» под псевдонимом Германус Агрикола и являвшийся апологетом экономической теории, в интеллектуальных туманностях которой причудливым образом отражались социальные страхи послевоенного времени: в пессимистических галлюцинациях своей мысли он уже видел предстоящую производственную забастовку природы, ибо её ресурсы, угрожал он, будут сокращаться, их остатки догрызают паразиты, и, следовательно, близок конец человечества — и все эти утверждения, преисполненные отчаяния, освещались лишь одной надеждой, а она исходила от новой идеологии — идеологии «фелькише». Вот и в тот вечер он предавался все тем же заклинаниям — «с полным знанием дела», как отмечалось в

агентурном донесении, «и часто в глубоко религиозном духе»[290].

И только потом выступил Гитлер. Ради использования уникальной возможности познакомить большую аудиторию с планами ДАП он ещё до этого настоял на выработке программы партии. В своей речи он, согласно одному документальному свидетельству того времени, нападал на трусость правительства, на Версальский договор, на евреев и банду «пиявок» — спекулянтов и ростовщиков. Затем под аплодисменты и шум присутствующих он зачитал новую программу. В конце «кто-то что-то кричит. Начинается большое волнение. Все вскакивают на столы и стулья. Немыслимый хаос. Крики „Вон!“, „Вон!“. Собрание закончилось всеобщим шумом. Несколько сторонников крайних левых с криками „Да здравствует Интернационал!“, „Да здравствует республика Советов!“ направились из „Хофбройхауз“ в расположенный напротив „Ратхаустор“. „Никаких нарушений помимо не отмечено“, — говорится в полицейском донесении.

Прессой — даже того направления, где преобладало влияние «фелькише», — это мероприятие, носившее, очевидно, вместе со всеми сопровождавшими его шумными перипетиями весьма обыденный характер, замечено почти не было, и только найденные в самое последнее время документальные свидетельства позволяют реконструировать ход собрания. Правда, последующая мифологизация его Гитлером придала ему характер мощного, включившего в себя потасовку в зале и завершившегося всеобщим ликованием массового обращения в новую веру: «Единогласно и ещё раз единогласно», напишет Гитлер, принимали участники собрания программу пункт за пунктом, «и когда таким образом нашёл путь к сердцу массы последний тезис, передо мной стоял зал, полный людей, сплочённых новым убеждением, новой верой, новой волей». Но если Гитлер с характерными для него представлениями в стиле оперных постановок увидел тут вспыхнувший огонь, «из чьего пламени когда-нибудь должен явиться меч, который… вернёт свободу германскому Зигфриду», и услышал даже шаги «богини неумолимого отмщения… за клятвопреступления 9 ноября 1918 года», то национальный «Мюнхенер беобахтер» написал всего лишь, что после речи д-ра Дингфельдера Гитлер «проиллюстрировал её рядом точных политических картин и огласил затем программу ДАП»[291].

И всё же автор «Майн кампф» в определённом, более широком смысле прав. Ведь именно с этого собрания началось развитие организованной Дрекслером, собиравшейся за пивными столиками скромной компании сторонников «фелькише» в массовую партию Адольфа Гитлера. И хотя ему и тут ещё

приходилось играть второстепенную роль, но, так или иначе, в итоге уже были две тысячи человек, заполнившие большой зал «Хофбройхауза» и весьма впечатляюще утвердившие политическую позицию Гитлера. Начиная с этого момента именно его воля, его стиль, его руководство были тем, что, непрестанно возрастая и сосредоточиваясь исключительно на нём самом, повело партию вперёд и стало решающим для её успехов или неудач. Партийная легенда сравнит потом собрание 24 февраля 1920 года с теми минутами, когда Мартин Лютер прибивал свои тезисы к дверям Виттенбергского собора[292]. Но как в одном, так и в другом случае предание нарисовало свою собственную и несостоятельную в историческом смысле картину, потому что история имеет обыкновение не считаться с потребностью людей в драматических эффектах. Однако как событие, положившее начало движению, это собрание имело определённые основания для того, чтобы его потом торжественно отмечали, хотя сам акт основания новой партии на тот день не планировался, основной оратор не был её членом, а имя Гитлера на плакатах, зазывавших на собрание, и не упоминалось.

Зачитанная им в тот вечер программа была сочинена Антоном Дрекслером — предположительно, не без участия Готфрида Федерал — и затем переработана комитетом. Определить конкретный вклад Гитлера в эту переработку уже едва ли представляется возможным, хотя лозунговый характер некоторых тезисов выдаёт его редакторскую руку. Программа содержала 25 пунктов и соединяла в себе более или менее произвольно собранные и объединённые их эмоциональной притягательностью элементы уже знакомой идеологии «фелькише» с актуальными потребностями нации в протесте и её стремлению к отрицанию действительности — об этом наглядно свидетельствовало бросавшееся в глаза преобладание позиции отрицания. Она была антикапиталистической, антипарламентской и антисемитской и резко отрицательно относилась к итогам и последствиям войны. Позитивные же цели, как например варьирующиеся требования о защите среднего сословия, были большей частью неопределёнными, и нередко имели характер стимулирующих, умножающих страхи и вожделения маленького человека постулатов. Так, например любые нетрудовые доходы должны быть изъяты (пункт 11), любая военная прибыль должна быть конфискована (пункт 12), и должно быть введено участие в прибылях на крупных предприятиях (пункт 14). Другие пункты предусматривали перевод крупных универмагов в муниципальное ведение и передачу их «по дешёвой цене» в аренду мелким торговцам, было

там и требование о земельной реформе и запрет на спекуляцию землёй (пункт 17).

Несмотря на все свои откровенно оппортунистические и продиктованные спешными требованиями момента черты, эта программа имела, однако, не столь уж несущественное, как будут иной раз утверждать, значение — во всяком случае, она представляла собой нечто намного большее, нежели соблазнительно поблёскивавший, декоративный проспект по развёртыванию демагогических талантов грядущего партийного фюрера. Если рассматривать программу в целом, то она включала в себя, пусть даже в зачаточном виде, все самые существенные тенденции будущей идеи национал-социализма: агрессивный тезис о жизненном пространстве (пункт 3), основополагающую антисемитскую черту (пункты 4, 5, 6, 7, 8, 24), а также тоталитарную амбицию, скрывавшуюся за безобидно звучащими общими фразами, которые содержали в себе и уверенность в широкой поддержке (пункты 10, 18, 24), и в то же время — как, скажем, в формуле о примате общей пользы перед эгоизмом — нечто, из чего в любой момент можно было бы вывести основной закон тоталитарного государства[293]. В эту в целом неуравновешенную и часто затмеваемую широковещательными максимами программу вошли уже, однако, все элементы того национального социализма, что подчёркивал решимость устранить неправильный капитализм, преодолеть позицию классового противостояния, занимаемую марксизмом, и, наконец, добиться примирения всех слоёв в рамках мощного, сплочённого народного сообщества.

Думается, что именно это представление и обладало особой притягательностью в стране, заблудившейся как в национальном, так и в социальном плане. Идея или формула «национального социализма», в которой встретились друг с другом обе господствующие мысли XIX века, могла быть найдена на почве многочисленных политических программ и касающихся общественного устройства планов эпохи. Она проступала как в непритязательном рассказе Антона Дрекслера о своём «политическом пробуждении», так и берлинских лекциях Эдуарда Штадтлера, основавшего ещё в 1918 году при поддержке промышленников свою «Антибольшевистскую лигу»; она была предметом просветительских курсов, организованных мюнхенской войсковой командой рейхсвера, она придала внушительный резонанс работе Освальда Шпенглера под названием «Пруссачество и социализм» и находила отклик даже в кругах социал-демократии, где разочарованность крахом Второго Интернационала толкнула некоторых независимых мыслителей

на путь национально-революционных и социально-революционных проектов. «Национальный социализм, его становление и его цели» — так назывался, наконец, объёмистый теоретический труд, выпущенный в 1919 году в Ауссинге одним из основателей «Немецкой социальной рабочей партии», инженером-железнодорожником Рудольфом Юнгом. Не лишённый самоуверенности автор этого труда видел в национальном социализме эпохальную политическую мысль, способную, по его мнению, с успехом дать отпор марксистскому социализму. Чтобы продемонстрировать воинствующее неприятие всех интернационалистических устремлений, Юнг вместе со своими австрийскими единомышленниками уже в мае 1918 года переименовал свою партию в Немецкую национальную рабочую партию[294].

Через неделю после собрания в «Хофбройхаузе» изменила своё название и ДАП. В подражание родственным группировкам в Судетах и в Австрии она назвала себя Национал-социалистической немецкой рабочей партией (НСДАП) и одновременно переняла и боевой символ своих единомышленников по ту сторону границы — свастику. Руководитель австрийских национал-социалистов д-р Вальтер Риль организовал незадолго до того «межгосударственную канцелярию», которая должна была служить связующим звеном между всеми национал-социалистическими партиями. Оживлённые контакты поддерживались также и с другими объединениями, разделявшими социальную программатику «фелькише», в первую очередь с «Немецкой социалистической партией» дюссельдорфского инженера Альфреда Бруннера, считавшего, что она «крайне левая, а наши требования радикальнее, чем у большевиков». У этой партии были местные организации во многих больших городах; в Нюрнберге во главе такой организации стоял учитель Юлиус Штрайхер.

1 апреля 1920 года Гитлер окончательно распрощался с воинской службой, потому что теперь у него была альтернатива, — он твёрдо решил целиком отдаться политической работе, взять руководство НСДАП в свои руки и построить партию в соответствии со своими представлениями. Он снимает комнату в доме № 41 по Тиршштрассе, вблизи Изара. Основную часть дня он проводит в подвале, где находится штаб-квартира партии, однако в документах избегает называть себя партслужащим. И вопрос о том, на какие средства он живёт, сыграет в предстоящем первом кризисе партии определённую роль. Его хозяйка считает своего хмурого молодого жильца при всей его немногословности и занятости «настоящим

представителем богемы».

Ему нечего терять. Уверенность в себе он черпает в своём ораторском даре хладнокровие и готовность идти на риск, но куда в меньшей мере — в непреложности идеи; да его и вообще куда меньше способно привлечь познание как таковое, чем те инструментальные возможности, которые оно даёт, — может ли оно, как он как-то заметил, выдать «мощный лозунг». В его «отвращении» и «глубочайшем омерзении» по отношению к «косматым теоретикам фелькише», этим «словоблудам» и «похитителям мыслей», столь же ярко проявляется его полное непонимание существования идейного багажа без поддающейся политической формовке субстанции, как и в том факте, что слово для своих риторических извержений он вначале брал только тогда, когда мог ответить на полемический выпад ударом. Мысль делает убедительной не её ясность, а доходчивость, не её истинность, а способность разить: «Любая, в том числе и самая лучшая идея, — заявит он с той не терпящей возражений нечёткостью формулировки, которая была так характерна для него, — становится опасной, если она внушает себе, что является самоцелью, хотя в действительности представляет лишь средство для таковой». В другом месте он подчёркивал, что в политической борьбе насилию нужна поддержка идеей, а не наоборот, — и это весьма примечательно[295]. И «национальный социализм», под чьим знаменем он теперь выступает, он тоже рассматривает в первую очередь как средство для достижения куда более высоких, честолюбивых целей.

Лозунг, с которым он вышел теперь на сцену, имеет романтический, привлекательно туманный вид. Содержащаяся в нём идея примирения кажется более современной и своевременной, нежели лозунги классовой борьбы, начинавшие теперь, в результате опыта войны и мужского товарищества на фронте, уже утрачивать часть своего будущего. Консервативный писатель Артур Мёллер ван ден Брук, который ещё в самом начале века поддерживал представления о национальном социализме, считает его теперь «разумеется, частью немецкого будущего»[296]. Что нужно, так это рука влиятельного политика, без пиетета перед привычным, хитроумного и в то же время полного презрения к нормальному человеческому разуму. У идеи было очень много женихов. Но только до поры, до времени — пока Гитлер не извлёк из нарастающего массового восторга убеждение, что именно он и будет этой частью немецкого будущего.

Глава II
ЛОКАЛЬНЫЕ ТРИУМФЫ

Гитлер будет когда-нибудь самым великим среди нас

Рудольф Юнг, 1920 г.

Рационализм Гитлера. — «Комбинаторский талант». — Стиль агитации. — Эрнст Рем. — Знамёна и кокарды. — Рост известности Гитлера-оратора. — Капповский путч. — Роль Баварии, — Благосклонность власть предержащих. — Дитрих Эккарт. — Мюнхенское общество. — Антураж. — Гитлер в Берлине. — Летний кризис 1921 г. — «Фюрер». — С А. — Битва в пивной «Хофбройхауз». — Социология НСДАП. — Цирк, оперная постановка, церковная литургия: демагогия Гитлера. — Угроза высылки. — День Кобурга. — У истоков обретения собственного стиля. — Катализатор и продукт катализа.

Правда, в те напряжённые и шумные дни 1920 года, когда он вступил в политику, Гитлер был ещё очень далёк от каких-либо притязаний на немецкое будущее и оставался всего-навсего агитатором местного мюнхенского масштаба. Вечер за вечером обходит он бурлящие, прокуренные пивные, чтобы своими доводами завоёвывать поначалу нередко враждебные или насмешливые аудитории. Во всяком случае, имя его становится все более известным. Охочий до слова и готовый соблазниться любым эксцентрическим жестом темперамент этого города был необычайно восприимчив к театральному стилю его самопредставлений и буйным ораторским излияниям и, без сомнения, стимулировал его ничуть не меньше, нежели осязаемые исторические факторы. Утверждение, что восхождение Гитлера было в решающей степени стимулировано условиями времени, представляется неполным без указания на особые условия места, где он своё восхождение начинал.

Не менее важной была и та степень целеустремлённости и расчёта, с которой он действует. Дело в том, что он обладал необыкновенной, прямо-таки женской восприимчивостью, помогавшей ему выражать и эксплуатировать настроение

времени. Его первый биограф Георг Шотт не без боязливого восхищения перед дьяволом, говорившем, казалось, его устами, назовёт его «чревовещателем в трансе»[297], но всё-таки и сегодня ещё распространённое представление о Гитлере как о человеке инстинкта, шедшем своим путём с уверенностью ясновидящего или — им же самим употреблявшееся выражение — «как сомнамбула», упускает из виду рациональность и запланированное хладнокровие, которые лежали в основе всего его поведения и которые обеспечили его восхождение в не меньшей степени, нежели все очевидные медиальные способности.

В частности, оно упускает из виду его необыкновенную способность обучаться, ненасытную жажду к усвоению, завладевшую им именно в то время. В лихорадке первых ораторских триумфов его чуткость и восприимчивость обострились, как никогда, его «комбинаторский талант»[298] схватывал самые несовместимые элементы и соединял их в компактные формулы. Большему, чем у своих кумиров и соратников, научился он у своих противников; он всегда очень многому учился у них, только дураки или слабаки, считал он, боятся потерять при этом собственные идеи. И вот таким образом собрал он под одну крышу Рихарда Вагнера и Ленина, Гобино, Ницше и Лебона, Людендорфа, лорда Нортклиффа, Шопенгауэра и Карла Люгера и соткал из всего этого своё полотно — произвольное, курьёзное, полное полулюбительского куража, но и не лишённое цельности. Тут нашлось место и для Муссолини и итальянского фашизма — и их роль будет все возрастать; и даже так называемых сионских мудрецов с их, как общеизвестно, сфальсифицированными протоколами он тоже сделал своими учителями[299].

И всё-таки наиглавнейшему он научился у марксизма. Уже сама энергия, которую он уделял, вопреки своему внутреннему равнодушию к идеологии, формированию национал-социалистического мировоззрения, свидетельствует о силе влияния на него марксистского примера. Одна из его исходных мыслей заключалась как раз в том, что традиционный тип буржуазной партии был уже не в силах состязаться с мощью и боевой динамикой левых массовых организаций. И только подобным же образом организованная, но ещё более решительная, обладающая собственным мировоззрением партия сможет одержать верх над марксизмом, считал он[300].

В области тактики он более всего научился у опыта революционного времени. События в России, а также правление Советов в Баварии продемонстрировали ему шансы на власть

горстки целеустремлённых актёров. Но если Ленин научил его, как надо усиливать и использовать революционный импульс, то Фридрих Эберт, как и Филипп Шайдеман показали ему, как этот импульс можно потерять.

Позднее Гитлер скажет:

> «Я многому научился у марксизма. Я сознаюсь в этом без обиняков. Но не этому скучнейшему учению об обществе и не материалистическому взгляду на историю, этой абсурдной чепухе… Но я научился их методам. Только я всерьёз взялся за то дело, которое робко начали эти мелкие торгашеские и секретарские душонки. В этом и заключается весь национал-социализм. Приглядитесь только повнимательнее… Ведь эти новые средства политической борьбы идут, по сути, от марксистов. Мне надо только было взять и развить эти средства, и я имел, по сути, то, что нам нужно. Мне надо было только последовательно продолжить то, что десять раз сорвалось у социал-демократии, в частности, вследствие того обстоятельства, что они хотели осуществить свою революцию в рамках демократии. Национал-социализм — это то, чем марксизм мог бы быть, если бы высвободился из абсурдной, искусственной привязки к демократическому строю»[301].

Однако всему тому, что он перенимает, Гитлер не просто придаёт последовательность — одновременно он умеет и превзойти заимствованное. Его характеру свойственна инфантильная черта старания перещеголять, поразить чем-то необыкновенным, стремление произвести впечатление, жаждавшее прилагательных в превосходной степени и признания своей идеологии самой радикальной — точно так же как потом здания самым грандиозным или танка самым мощным. Свои взгляды, свои тактические ходы, свои цели он, по собственным его словам, собирал «по всем кустам на обочине жизненного пути»; сам же он придавал всему этому твёрдость, последовательность и столь характерную неустрашимость перед последним шагом.

Рационалистические соображения отличали его тактику уже с самого начала. Он исходил из того, что всю энергию первоначально следует направить на то, чтобы вырваться из гетто безымянности и одновременно выделиться из массы соперничающих групп «фелькише». И регулярно появляющееся в его более поздних выступлениях, когда речь заходит о периоде становления партии, упоминание об анонимном начале

свидетельствует, как сильно страдало его лишённое шансов честолюбие от сознания непризнанности его величия и отсутствия почтения к нему. С потрясающей беззастенчивостью, в которой, собственно говоря, и заключалось вся новизна его выступления и раз и навсегда наглядно проявилось его нежелание соблюдать правила и соглашения, он приступает теперь к тому, чтобы сделать себе имя — не знающей устали активностью, потасовками, скандалами, нарушающими общественный порядок скоплениями, даже террористическими актами, если при этом ему представлялась возможность вместе с нарушением закона нарушить и молчание и обратить на себя внимание публики: «Кем бы они нас не выставляли, шутами или преступниками, главное — о нас говорят, с нами возятся»[302].

Этой целью определились стиль и средства всей деятельности партии. Возбуждающий красный цвет флагов использовался не только из-за его психологического эффекта, но и потому, что тем самым в то же время вызывающе узурпировался традиционный цвет левых. Плакаты, звавшие на собрания и тоже всегда выдержанные в кричащем красном цвете, часто содержали запоминающиеся передовицы, напечатанные огромными буквами и снабжённые заголовками и подзаголовками в форме легко усвояемых лозунгов. Чтобы создать впечатление величия и несокрушимой мощи, НСДАП то и дело организовывала уличные шествия, её многочисленные распространители листовок и расклейщики плакатов неустанно действовали повсюду. Подражая методам пропаганды левых, в чём он и сознавался, Гитлер отправлял на улицы грузовики, набитые людьми, — только невздымавшими вверх кулаки верными Москве пролетариями, которые уже посеяли в буржуазных кварталах столько ненависти и страха, а вчерашними солдатами, продолжавшими — вопреки прекращению огня, окончившейся войне и демобилизации — с показным радикализмом, уже на новый лад воевать под флагами штурмовых отрядов НСДАП. Они накладывали на эти демонстрации, которым Гитлер любил придавать форму волны митингов по всему Мюнхену — а вскоре и по другим городам, — внушавший страх полувоенный отпечаток.

Благодаря этим солдатам начал постепенно изменяться и социальный портрет партии — уютная застольная компания из рабочих и ремесленников все больше стала сменяться жёстким типом привыкшего к насилию вчерашнего фронтовика. Самый ранний список членов партии содержит 193 фамилии, в том числе не менее 22 кадровых военных[303], которые увидели в новой партии не только возможность уйти от проблемы, как

обеспечить себе существование на гражданке, но и надеялись обрести в её рядах свою укрепившуюся в легендарном окопном товариществе потребность в новых формах общежития и проявить и в мирных условиях то презрение к жизни и смерти, в котором их воспитало время.

С помощью этого военного пополнения, привыкшего к полному подчинению, дисциплине и готовности жертвовать собой, Гитлеру удаётся придать партии жёсткую внутреннюю структуру. Многие из новых людей были присланы ему командованием мюнхенского военного округа, и когда Гитлер будет утверждать, что он выступил против враждебного мира, не имея ни имени, ни средств и рассчитывая только на самого себя, то это верно лишь в том смысле, что он действительно выступил против господствующей тенденции времени. Но верно, однако, и то, что тут он никогда не был в одиночестве. Более того, с самого начала рейхсвер и частные военные формирования протежируют ему в таком масштабе, какой только и сделает возможным его восхождение вообще.

Как никто другой поможет в этом плане НСДАП Эрнст Рем, бывший в чине капитана политическим советником в штабе полковника Эппа и, по существу, возглавлявший замаскированный военный режим в Баварии; он будет поставлять партии сторонников, оружие и деньги. В этой его деятельности поддержку ему оказывали не в последнюю очередь и офицеры союзнической контрольной комиссии, которые благоволили его нелегальной активности по ряду причин — частью потому, что они были заинтересованы, чтобы в Германии царила обстановка, близкая к гражданской войне, частью потому, что хотели укрепить военную власть перед лицом продолжавшегося натиска левых и, кроме того, несмотря на вчерашнюю вражду по-рыцарски протянуть руку помощи господам коллегам. И хотя Рем, с самого детства лелеявший «одну только мысль и желание — стать солдатом», к концу войны служил в генштабе, где показал себя выдающимся организатором, он куда в большей мере олицетворял собой тип воина-фронтовика. Этот маленький толстый человек с помятым, всегда немного покрасневшим лицом был отчаянным смельчаком и пришёл с войны с множеством ранений. Всех людей он, ничтоже сумняшеся, делил на военных и штатских, на друзей и врагов, был честным, без затей, грубоватым, трезвым, осмотрительным и прямолинейным воякой, которого не отягощали угрызения совести; и хотя один из его соратников времён нелегальных интриг скажет, что туда, где он появлялся, он всегда «приносил жизнь», было, конечно, достаточно много случаев, когда приносил он и нечто совсем

противоположное. Будучи с ног до головы практичным баварцем, он не страдал маниакальными идеологическими комплексами и всей своей беспокойной деловитостью, которую он быстро развивал повсюду, преследовал только одно — примат солдата в государстве. Руководствуясь этой целью, он создал и то особое отделение генерального штаба по пропаганде и слежке за политическими группами, по чьему поручению «доверенное лицо» Адольф Гитлер и посетил собрание ДАП. Как и почти все остальные, Рем был поражён ораторским гением начинающего агитатора, помог ему установить новые ценные контакты с политиками и военными и сам вступил в партию довольно рано, получив членский билет № 623.

Командный инстинкт, привнесённый в партию людьми Рема, получил пёстрое обрамление в виде широкого применения политической символики и соответствующей атрибутики. Правда, знамя со свастикой не было изобретением Гитлера, как тот будет ложно утверждать в «Майн кампф», его придумал один из членов партии, зубной врач Фридрих Крон, для организационного собрания местной группы в Штарнберге в середине мая 1920 года, а ещё за год до этого он же рекомендовал в одной докладной записке использовать этот распространённый в лагере «фелькише» знак «как символ национал-социалистических партий»[304]. Собственный вклад Гитлера заключается и тут, опять же, не в том, что идея пришла ему в голову первому, а в том, что он моментально уловил силу психологического воздействия этого широко известного символа и стал последовательно внедрять его, включив свастику в партийный значок, ношение которого он сделал обязательным.

Сходным образом обстояло дело и со штандартами, заимствованными им у итальянского фашизма и вручавшимися штурмовым отрядам как знаки боевого отличия. Гитлер ввёл «римское» приветствие, следил за правильностью в воинском отношении рангов и обмундирования и вообще придавал необыкновенное значение всем вопросам формального характера — режиссуре выходов, декоративным деталям, все более усложнявшемуся церемониалу освящения знамён, демонстрациям и парадам, вплоть до массовых спектаклей партийных съездов, где он дирижировал колоннами людей на фоне каменных колонн, щедро удовлетворяя тем самым и свой талант комедианта и свой талант архитектора. Немало времени потратил он, перелистывая старые журналы по искусству и роясь в геральдическом отделении Мюнхенской государственной библиотеки, в поисках изображения орла, который должен был быть воспроизведён на официальной печати партии. И свой первый циркуляр в качестве

председателя НСДАП от 17 октября 1921 года он посвящает подробнейшему изложению партийной символики и обращает внимание руководства местных партийных групп на то, чтобы «самым строжайшим образом пропагандировать ношение партийного значка (партийной кокарды). Неукоснительно требовать от всех членов везде и всегда появляться с партийным значком. С евреями, которым это не понравится, обходиться тут же на месте безо всякой жалости»[305].

Сочетание церемониальных и грубо террористических форм определит с самого раннего начала, каким бы жалким оно ни было, становление партии и окажется наиболее эффективным рекламным трюком Гитлера. Дело в том, что тут возвращались в современном облике традиционные элементы, придававшие в Германии популярность в политике, — в виде народного увеселения и эстетизированного представления, грубые приёмы которого отнюдь не отталкивали от него, а, напротив, придавали ему масштаб фатальной серьёзности — во всяком случае, оно казалось более соответствовавшим историческому моменту, нежели лжеделовитость обычной партийной суеты.

Однако плюсом НСДАП было ещё и то, что выступала она как национальная партия, не претендующая на какую-либо исключительность в обществе, что было присуще всем прежним национальным партиям. Будучи свободной от сословных предрассудков, она порвала с традицией, согласно которой истинно патриотические взгляды являются как бы преимущественным правом знати и только люди с состоянием и образованием имеют отечество; она же была и национальной, и плебейской одновременно, грубой и готовой нанести удар, она породнила национальную идею с улицей. У буржуазии, видевшей до того в лице масс исключительно элемент социальной угрозы и выработавший преимущественно оборонительные рефлексы, здесь, казалось, впервые появился агрессивный авангард. «Нам нужна сила для нашей борьбы, — не уставал повторять Гитлер. — пусть другие нежутся (!) в своих клубных креслах, мы же будем влезать на столы в пивной»[306]. Многим, даже если они и не следовали за ним, этот театральный демагог, завораживающий массы в пивных залах и цирковых шатрах, казался именно тем человеком, который владеет техникой усмирения и покорения масс.

Эта деловая активность оставляла позади всех конкурентов, он был всё время в пути, его принцип гласил: каждые восемь дней — массовый митинг. В перечне сорока восьми мероприятий партии, проведённых с ноября 1919 года по ноябрь 1920 года, на

тридцати одном он фигурирует как выступающий. Уже сам все ускоряющийся темп этих выступлений отражает лихорадочный характер его встреч с массами. «Господин Гитлер… впал в такую ярость и так кричал, что сзади мало чего можно было понять», — свидетельствует один из слушателей. А в одной афише, извещавшей о его выступлении в мае 1920 года он уже называется «блестящим оратором», так что слушателям предстоит «необыкновенно впечатляющий вечер». Начиная с того же времени в донесениях о собраниях указывается все более возрастающее число их участников; часто он выступает перед тремя тысячами человек и более, и всякий раз осведомители отмечают, что, когда он в своём синем, перешитом из военной формы костюме появляется на сцене, «вспыхивают бурные аплодисменты»[307]. Сохранившиеся от того времени протоколы таких собраний отражают победы начинающего оратора, зафиксированные в неуклюжих записях, что делает их, пожалуй, более ценными в качестве документальных свидетельств:

> «Собрание началось в 7 1/2 часов и закончилось в 10 3/4 часов. Докладчик говорил о евреях. Докладчик сообщил, что везде куда ни глянь евреи. По всей Германии правят евреи. Позор, что немецкий рабочий класс позволяет евреям в хвост и гриву травить себя. Конечно, потому ведь, что у еврея деньги. Еврей сидит в правительстве и спекулирует и торгует из-под полы. Когда он опять набивает себе карманы, то опять разгоняет рабочих, чтобы снова быть у руля, а мы бедные немцы все это терпим. Он говорил также и о России… и кто это все устроил? Опять же еврей. Поэтому немцы будьте все заедино и боритесь с ЕВРЕЯМИ. Потому что они у нас последнюю корку хлеба отымут… Заключительное слово докладчика: Мы будем бороться до тех пор пока из Германского Рейха не будет убран последний еврей и если даже для этого нужен путч и даже больше того революция. Оратору сильно аплодировали… Он ругался также ещё и на прессу…. потому что на последнем собрании один такой пачкун все записал».

А в другом месте, где передаётся выступление 28 августа 1920 года, написано следующее:

> «Докладчик Гитлер изложил как было у нас до войны и как у нас сейчас. О ростовщичестве и спекулянтстве, что всех их ждёт виселица. Потом а

наёмной армии. Он сказал, что молодым парням это бы пожалуй не повредило, если бы их опять призвали, потому что это никому не повредило, потому что из них никто не знает, что молодой должен слушаться старшего, потому что у них повсюду отсутствует дисциплина… Потом он прошёл ещё по всем пунктам, которые в программе, где ему очень сильно хлопали. Зал был переполнен. Одного человека, который назвал господина Гитлера обезьяной, выставили безо всяких»[308].

С растущей самоуверенностью начинает он превращать партию в «фактор порядка» — она срывает собрания левых, заглушает своим рёвом выступления участников дискуссий, задаёт кое-кому «жару» и добивается как-то раз даже удаления с публичной выставки скульптуры, якобы не отвечающей народному вкусу. В начале января 1921 года Гитлер заявляет перед слушателями в погребке «Киндл», «что национал-социалистическое движение в Мюнхене будет впредь беспощадно срывать — если понадобится, то силой, — все мероприятия и доклады, которые способны разлагающе влиять на наших и без того уже больных соотечественников»[309].

Такое своеволие партии стало тем более возможным, что теперь она пользуется не только благоволением со стороны командования мюнхенского военного округа, но и становится также «невоспитанным, избалованным любимчиком»[310] самого правительства земли Бавария. В середине марта правые круги во главе с до того времени никому не известным генеральным директором по земельным отношениям в Восточной Пруссии д-ром Каппом и при поддержке бригады Эрхардта предприняли в Берлине попытку государственного переворота, потерпевшего провал из-за их собственного дилетантства и вспыхнувшей всеобщей стачки. Более успешной оказалась предпринятая одновременно попытка рейхсвера и добровольческих формирований в Баварии. В ночь с 13 на 14 марта они сместили правительство социал-демократов и буржуазии, возглавлявшееся Хофманом, и заменили его правительством правой ориентации во главе с «сильным человеком» Густавом фон Каром.

Эти события, понятным образом, встревожили левых, чьё радикальное ядро сразу же увидело тут шанс соединить отпор притязаниям правых на власть с борьбой за собственные, революционные цели. В ряде мест, в первую очередь в Центральной Германии и Рурской области, им удалось во время всеобщей стачки захватить руководство и найти поддержку своим

обращённым к пролетариату призывам к оружию. Вскоре в результате почти безупречно проведённой мобилизации, что говорило о её тщательной спланированности, большое количество людей оказалось в рядах крепких военных формирований — только между Рейном и Руром «Красная Армия» выставила свыше 50 000 человек. В течение всего нескольких дней она захватила почти весь промышленный район, слабые попытки частей рейхсвера и полиции задержать её продвижение были подавлены, в некоторых местах дело доходило до настоящих боев. И по Баварии прокатилась волна убийств, грабежей и насилия и обнажила здесь, как и в Центральной Германии, Саксонии и Тюрингии, оттеснённую умиротворяющими мерами половинчатой революции социальную и идеологическую напряжённость. Последовавший затем кровавый ответный удар военных, коллективные аресты, карательные налёты и расстрелы вынесли на поверхность скрытые чувства ненависти и неулаженные конфликты. Постоянно подвергавшаяся в своей истории расколу, раздираемая многими антагонизмами страна все отчаяннее требовала порядка и примирения. Но вместо этого оказывалась ещё глубже в тупике ненависти, неверия и анархии.

Благодаря новому соотношению сил Бавария ещё в большей степени, чем прежде, становится естественным сборным пунктом праворадикальных происков. Неоднократно выражавшиеся по настоянию союзников требования о роспуске полувоенных формирований натолкнулись тут на сопротивление правительства Кара, для которого именно они и были главной опорой его власти. К дружинам самообороны и частным вооружённым формированиям, насчитывавшим уже свыше трех тысяч человек, постепенно присоединялись и все те непримиримые противники республики из других регионов рейха, которым грозили меры со стороны государства и даже преследования в уголовном порядке: сторонники Каппа, нерасформированные остатки добровольческих отрядов из восточных областей, «национальный полководец» Людендорф, участники расправ, совершенных по приговорам тайных судилищ, авантюристы, революционеры-националисты самой различной окраски — и всех их объединяло желание покончить с этой ненавистной «жидовской республикой». При этом они умело использовали традиционно особое баварское сознание, искони настроенное резко отрицательно к прусско-протестантскому Берлину и возведшее теперь — в форме девиза «Бавария — ячейка порядка» — свои враждебные чувства в степень национальной

миссии. В своей все более открытой и вызывающей поддержке баварского правительства они доходили до того, что организовывали склады оружия, превращали замки и монастыри в тайные опорные пункты, строили планы покушений, переворотов и выступлений — это была непрестанная деятельность, включавшая в себя все, — от конспиративного перешёптывания до подготовки многочисленных, порою пересекавшихся друг с другом проектов государственного переворота.

Такое развитие не осталось без последствий и для восхождения НСДАП. Ибо начиная с этого времени она получает откровенную поддержку со стороны военных, полувоенных, а также гражданских носителей власти, и каждый одержанный ею новый успех побуждает их ещё более усердно охаживать её. После приёма Гитлера фон Каром один из сопровождавших его соратников, студент Рудольф Гесс, обратился к главе правительства с посланием, в котором говорилось: «Ключевым моментом является то, что Г. убеждён, что новый подъем возможен только в том случае, если удастся вернуть большие массы, в том числе и рабочих, к национальной идее… Я лично знаю господина Гитлера очень хорошо, поскольку почти ежедневно общаюсь с ним и близок к нему и в человеческом плане. Это на редкость неиспорченный, чистый характер, полный сердечной доброты, религиозный, ревностный католик. У него только одна цель — благо своей страны. Этому он отдаёт себя самым самоотверженным образом». Когда же премьер-министр, наконец, с похвалой отозвался о Гитлере в ландтаге, а шеф полиции Пенер стал покровительствовать каждому его шагу, то тут впервые начала обрисовываться расстановка ролей, которая будет названа типичной для процесса подъёма фашистов и завоевания ими власти[311], — с этого момента Гитлер находился в союзе с утвердившейся консервативной властью, в чьих глазах он показал себя авангардом в борьбе против общего противника — марксизма. Но если власть рассчитывала использовать энергию и гипнотизирующее искусство неистового агитатора, чтобы потом в нужный момент переиграть его в силу своего собственного духовного, экономического и политического превосходства, то его цель заключалась в том, чтобы направить те батальоны, что были созданы с благословения и поддержки властей, после разгрома противника против самих партнёров и захватить всю власть. Это была та удивительная, запутанная, преисполненная иллюзий, предательства и лжеклятв игра сил, с помощью которой Гитлер одержит почти все свои победы и перехитрит Кара точно так же, как потом Гугенберга, Папена и Чемберлена. И напротив, все его

неудачи, включая и конечное фиаско в войне, имеют одной из своих причин то, что в нетерпении, азарте или упоении от успехов ставил эти обстоятельства на карту, терял их и, как бы потом ни спохватывался, уже не мог выровнять игру.

Благодаря этим влиятельным и богатым покровителям, все более энергично опекавшим теперь уже перспективного деятеля, Гитлер становится в декабре 1920 года хозяином газеты «Фелькишер беобахтер». Дитрих Эккарт и Эрнст Рем содействовали нахождению 60 000 рейхсмарок, составивших основной капитал для покупки этого безнадёжно погрязшего в долгах листка «фелькише», выходившего в то время два раза в неделю и имевшего около одиннадцати тысяч подписчиков[312]. Среди лиц, ссудивших деньги, было немало имён из верхов мюнхенского общества, в которое Гитлер получает теперь доступ, в чём помог ему Дитрих Эккарт с его многочисленными связями. Этот грубый и странный человек с большой круглой головой, любитель хороших вин и примитивных речей, не пользовался как поэт и драматург тем успехом, на который рассчитывал — большой отклик нашёл разве что его перевод «Пера Гюнта» Ибсена — и ради компенсации своих амбиций он примыкает к политизированной богеме. Как политик он выступает основателем «Немецкого гражданского общества», однако и тут его поджидает неудача, равно как и с изданием газеты «Ауф гут дойч» (Чисто по-немецки), которая с язвительной остротой и не без претензии на образованность выступает апологетом распространённых антисемитских настроений. Следуя за Готфридом Федером, Эккарт требует в ней революции против процентной кабалы и за «истинный социализм», настаивает — под влиянием Ланца фон Либенфельса — в самом резком тоне на запрете смешанных браков между расами и на защите чистой немецкой крови от загрязнения. Советскую Россию он обзывает «направленной на заклание христиан диктатурой еврейского мессии Ленина», и заявляет, что ему «больше всего бы хотелось погрузить всех евреев в один эшелон и направить его в Красное море»[313].

Эккарт познакомился с Гитлером ещё раньше, а в марте 1920 года, во время капповского путча, оба они по поручению своих закулисных хозяев-националистов ездили наблюдателями в Берлин. Будучи начитанным, хорошо разбиравшимся в людях человеком, обладая обширными познаниями и родственными им предубеждениями, он оказывал большое влияние на по-провинциальному беспомощного Гитлера и был, благодаря своим непритязательным манерам, первым человеком буржуазной

образованности, чьё присутствие Гитлер мог выносить, не проявляя своей глубокой закомплексованности. Эккарт давал и рекомендовал ему книги, наводил на него внешний лоск, поправлял его выражения и открыл ему немало дверей — какое-то время они были неразлучны на мюнхенской общественной сцене. Ещё в 1919 году Эккарт в одном превосходно архаически стилизованном стихотворении предсказал появление спасителя нации, «парня», как писал он в другом месте, «который может слушать пулемёт. Чтобы подонки от страха наложили в штаны. Офицер мне не нужен, народ их больше не уважает. Лучше всего, чтобы это был рабочий с хорошо подвешенным языком… Много ума ему не надо, политика — это самое глупое дело на свете». Тот, у кого есть всегда «сочный ответ» красным, для него милее, нежели «дюжина учёных профессоров, которые, теряясь от страха, сидят на мокрой заднице фактов». И, наконец, он восклицает: «Это должен быть холостяк! тогда у нас будут бабы!». Не без восхищения глядит он на Гитлера как на олицетворение этой модели и уже в августе 1921 года впервые называет его в одной статье в «Фелькишер беобахтер» «фюрером». Он был и автором одной из первых боевых песен НСДАП «На штурм, на штурм, на штурм!», в которой заключительная строка каждой строфы звучала рефреном и послужила партии её самым действенным лозунгом: «Пробудись, Германия!». По мнению Гитлера, выраженному в одном его хвалебном выступлений, Эккарт «писал стихи так же прекрасно, как Гёте». И он будет публично называть поэта своим «отчим другом», а себя — его учеником; и представляется, что Эккарт, наряду с Розенбергом и прибалтийскими немцами, оказывал на него в ту пору самое сильное влияние. Одновременно он же, очевидно, впервые открыл Гитлеру глаза на его собственное значение. Второй том книги «Майн кампф» заканчивается набранной вразрядку фамилией поэта[314].

Успех Гитлера в мюнхенском высшем свете, куда ввёл его Эккарт, едва ли можно объяснить политическими мотивами. Фрау Ханфштенгль, родом из Америки, одной из первых открыла ему двери в свой салон, где собиралось благородное богемное общество из писателей, художников, исполнителей Вагнера и профессоров. Для этой традиционной либеральной прослойки странный тип молодого народного трибуна с немыслимыми взглядами и угловатыми манерами был скорее предметом отстранённого интереса; он фыркал по поводу «ноябрьских предателей» и подслащивал вино в своём бокале ложечкой сахара — может быть, эти шокирующие черты как раз и умиляли хозяев. Его окружала аура фокусника, запахи цирка и трагического

ожесточения, яркий блеск «пресловутого чудовища». Контактным элементом тут было искусство, в первую очередь Рихард Вагнер, о котором он любил восторженно распространялся длинными, запинающимися речами, под знаком Мастера из Байрейта и завязывались, совершенно вне всякой логики, интересные контакты, — он был все тем же «братцем Гитлером», только сбежавшим в поисках приключений в сферу политики. Все описания этого времени, которыми мы располагаем, представляют собой смешанную картину его эксцентрических и неуклюжих черт; в присутствии людей с репутацией Гитлер чувствовал себя скованным, замкнутым и не лишённым подобострастия. На одной из бесед с Людендорфом, состоявшейся в ту пору, он после каждой фразы генерала приподнимался со стула, чтобы почтительнейше сказать: «Так точно, Ваше Превосходительство!» или «Я согласен с Вами, Ваше Превосходительство!»[315].

Эта неуверенность, мучившее его чувство аутсайдера в буржуазном обществе сохранилось у него надолго. Если верить имеющимся свидетельствам, он изо всех сил старался обратить на себя внимание — приходил с опозданием, его букеты были больше, а поклоны глубже, чем принято; периоды угрюмого молчания сменялись вдруг холерическими словоизвержениями. Голос его был резким, и о незначительных вещах он тоже говорил со страстью. Как-то, рассказывает один очевидец, он молча и устало просидел почти час, пока хозяйка не обронила какое-то благоприятное замечание о евреях. И тут «он начал говорить. И говорил, и говорил без конца. Через какое-то время он отодвинул стул и встал, продолжая говорить или, лучше сказать, кричать, причём таким пронзительным голосом, какого я никогда больше не слышал ни у одного другого человека. В соседней комнате проснулся ребёнок и начал кричать. После того, как он более получаса произносил эту весьма забавную, но очень одностороннюю речь о евреях, он вдруг остановился на полуслове, подошёл к хозяйке, извинился и, поцеловав ей руку, распрощался»[316].

Страх оказаться униженным в обществе, явно преследовавший его, отражал непоправимо утраченную связь бывшего обитателя ночлежки с буржуазным обществом. И в его одежде долго и неизбывно ощущался запах мужского общежития. Когда Пффефер фон Заломон, ставший потом главарём его штурмовых отрядов, встретился с ним впервые, на Гитлере была старая визитка, жёлтые кожаные башмаки и рюкзак за спиной; руководитель добровольческого отряда так растерялся, что даже отказался познакомиться с ним. Ханфштенгль вспоминал, что

Гитлер носил к своему синему костюму фиолетовую рубашку, коричневую жилетку и ярко-красный галстук, а оттопыривавшийся задний карман выдавал присутствие в нём автоматического оружия[317]. Только со временем Гитлер научился определять свой стиль, соответствовавший его представлению о великом народном трибуне, — вплоть до его авантюрного кителя. И эта картина тоже выдаёт его глубокую неуверенность, объединяя в себе откровенно бросающиеся в глаза элементы и цитаты из того давнего видения на тему «Риенци», из Аль-Капоне и генерала Людендорфа. Но уже в описаниях того времени всплывают сомнения — а не стремился ли он использовать эту свою неуверенность и не превращал ли свои неуклюжие повадки в средство, чтобы подать себя; во всяком случае, было такое впечатление, что он меньше руководствовался желанием показаться приятным, нежели стремлением заставить запомнить себя.

Историк Карл Александр фон Мюллер встречался с ним в это время становления его самосознания политика у Эрны Ханфштенгль, «за чашкой кофе, в связи с пожеланием аббата Альбана Шахляйтера познакомиться с ним; моя жена и я были тут декорацией. Мы все сидели уже вчетвером за стоявшим у окна полированным столом красного дерева, когда зазвонил дверной колокольчик; через открытую дверь было видно, как в узком коридоре он вежливо, чуть ли не подобострастно, поздоровался с хозяйкой, как он повесил свой хлыст, велюровую шляпу и макинтош и в заключение снял с себя ремень с револьвером и тоже пристроил на вешалку. Выглядело это курьёзно и напоминало Карла Мая. Все мы тогда ещё не знали, насколько каждая из этих мелочей в одежде и поведении уже тогда была рассчитана на эффект, точно так же как и его вызывающе коротко подстриженные усики, более узкие, чем нос с некрасивыми широкими ноздрями… В его взоре читалось уже сознание успеха у публики, нов нем все ещё оставалось что-то неуклюжее, и было неприятное ощущение, что он это чувствует и обижается на того, кто это замечает. И лицо его было по-прежнему худым и бледным, почти страдальческим. Только водянисто-синие глаза навыкате смотрели иной раз с неумолимой твёрдостью, а над переносицей между глубокими глазницами скапливалась, почти выпячиваясь наподобие желвака, фанатичная воля. И в этот раз сам он говорил очень мало, а большую часть времени с подчёркнутым вниманием слушал»[318].

Вместе с интересом, который он стал вызывать, появились женщины, окружавшие его вниманием, — главным образом немолодые дамы, которые угадывали за судорогами и

комплексами начинающего популярного трибуна определённые щекотливые обстоятельства и инстинктивно делали вывод о наличии напряжённости, чтобы её снимать умелой рукой. Сам Гитлер будет потом иронизировать по поводу тех женщин, что столь докучали ему своими материнскими заботами. Была, например, одна, «чей голос садился от волнения, когда я обращался к какой-нибудь другой женщине всего лишь с парой слов»[319]. Своего рода домашний очаг обрёл он у вдовы одного штудиендиректора, «мамочки Гитлера» Каролы Хофман, в мюнхенском пригороде Золлн. Двери своего дома открыла перед ним и происходившая из старой европейской аристократии супруга издателя Брукмана, выпустившего труды Хьюстона Стюарта Чемберлена, равно как и жена владельца фабрики пианино Бехштайна, которая говорила: «Я хотела бы, чтобы это был мой сын», и позднее, дабы получить возможность посещать его в тюрьме, выдавала себя за его приёмную мать[320]. Все они, их дома, их компании расширяли пространство вокруг него и делали ему имя.

В партии же он, напротив, продолжает находиться в окружении недалёких представителей среднего сословия и громил-полууголовников, отвечающих его глубоко укоренившейся потребности в агрессии и физическом насилии. Среди немногих друзей, с кем он на ты, Эмиль Морис — типичный любитель потасовок в пивных залах, толстобрюхий Кристиан Вебер — бывший барышник, работавший теперь вышибалой в третьеразрядной пивной и ходивший, как и Гитлер, с хлыстом. Кроме того, в этот узкий круг, являвшийся одновременно и его лейб-гвардией, входят ученик мясника Ульрих Граф и Макс Аман — бывший фельдфебель Гитлера, тупой и послушный его сторонник, который станет вскоре делопроизводителем партии и директором её издательства. Эта шумная и ревностная компания постоянно окружает Гитлера. Вместе с ними он идёт вечером после очередного мероприятия в «Остерию Бавария» или в «Братвурстглекль» близ церкви «Фрауенкирхе», с ними просиживает часами в разговорах за кофе и пирожными в кафе «Хек» на Галериштрассе, где ему оставляют столик в глубине помещения, откуда можно хорошо наблюдать за залом, а самому оставаться незамеченным. Сызмальства страдая от одиночества, он всё время нуждается в людях вокруг себя — слушателях, охранниках, прислуге, шофёрах, но также и в людях, с которыми можно поговорить, любителях искусства и рассказчиках анекдотов, таких, как фотограф Генрих Хофман или Эрнст Ханфштенгль по прозвищу «Путци»; они и придают его двору облик «мира богемы и стиля кондотьеров»[321]. Он не

возражает, когда его величают «мюнхенским королём», и только поздней ночью добирается до своей меблированной комнаты на Тирштрассе.

Наиболее колоритной фигурой его окружения был молодой Герман Эссер. До того он практиковался в редакции газеты и служил референтом по печати в войсковой команде рейхсвера. Кроме Гитлера это был единственный талантливый демагог, которым располагала в то время партия, «мастер устраивать шум, умеющий это делать чуть ли не лучше Гитлера… оратор-дьявол, хоть и из ряда разрядом пониже». Умный и ловкий, он умел составлять общепонятные и образные формулировки и представлял собой тип бульварного журналиста, неутомимого в сочинении историй, разоблачающих приватную жизнь евреев и спекулянтов. Добропорядочные мелкие буржуа в рядах партии стали вскоре упрекать его в присущем его компаниям «тоне свинопаса»[322]. Ещё будучи школьником в Кемптене, он призывал совет солдатских депутатов поднять на штыки кое-кого из буржуев. Вместе с Дитрихом Эккартом он был одним из первых и самых рьяных творцов мифа о Гитлере. Сам же Гитлер, порой не очень жаловал своего радикального соратника и, если верить источникам, не раз заявлял, «что Эссер — сукин сын» и что он терпит его только, пока у него в нём есть нужда»

В каком-то отношении Эссер был схож со школьным директором из Нюрнберга Юлиусом Штрайхером, заставившем говорить о себе как об апологете порнографического махрового антисемитизма и казавшемся одержимым в своих безудержных фантазиях насчёт ритуальных убийств, еврейского сластолюбия, мирового заговора, кровосмешения и всепоглощающего маниакального представления о черноволосых похотливых бесах, сопящих над непорочной, арийской женской плотью. Конечно, Штрайхер был ограниченнее и глупее, но в плане локальной эффективности он мог даже соперничать с Гитлером, к которому относился поначалу с нескрываемой враждебностью. Кое-какие факты говорят в пользу того, что вождь мюнхенской НСДАП так обхаживал Штрайхера не только потому, что хотел использовать его популярность в собственных целях, но и потому, что чувствовал себя связанным с ним одними и теми же комплексами ненависти и бредовыми представлениями. И он до самого конца, всем нападкам вопреки, сохранит лояльность по отношению к «фюреру франконцев» и скажет уже во время войны, что хотя Дитрих Эккарт как-то и сказал, что Штрайхер кое в чём идиот, но обвинения в адрес «Штюрмера»[323] он разделить не может: «на деле Штрайхер еврея идеализировал»[324].

В противоположность этим личностям, придававшим партии,

несмотря на все её стремление к массовости, узкий профиль и державшим её в тисках пошлости и обывательщины, капитан авиации Герман Геринг, последний командир легендарной эскадрильи истребителей Рихтхофена, привнёс в окружение Гитлера определённый светский акцент, олицетворявшийся до того одиноким, презрительно стоявшим выше всего этого антуража «Путци» Ханфштенглем. Этот жизнерадостный человек с широко расставленными ногами и зычным голосом был свободен от отталкивающих психологических черт, отличавших, как правило, гитлеровских приближённых; он пришёл в партию, потому что она обещала удовлетворить его потребность в вольности, активности и товариществе, а отнюдь не из-за, как он подчёркивал «идеологической чепухи». Он немало попутешествовал по свету, имел самые широкие связи и, появляясь со своей привлекательной женой-шведкой, словно бы открывал изумлённой партии глаза на то, что люди живут не только в Баварии. По своим авантюристическим наклонностям он был схож с Максом Эрвином фон Шойбнер-Рихтером, авантюристом с бурным прошлым и богатым даром устраивать выгодные закулисные сделки. Не в последнюю очередь именно благодаря его умению раздобыть денежные средства у Гитлера и не было в первые годы забот с материальным обеспечением своей активности, согласно записи в одном официальном документе, Шойбнер-Рихтеру удалось раздобыть «колоссальные суммы денег»[325]. Он был личностью, окутанной тайной, но при всём при том широко принимался в обществе, знал несколько языков и имел многочисленные связи среди промышленников, с королевским домом Виттельсбахов, с великим князем Кириллом и церковной знатью. Его влияние на Гитлера было огромным, и он был единственным из сподвижников Гитлера, погибших 9 ноября 1923 года у «Фельдхеррнхалле», кого тот считал незаменимым.

Шойбнер-Рихтер входил в число тех немногих прибалтийских немцев, которые вместе с русскими эмигрантами-радикалами имели немалое влияние в рядах НСДАП в начальный период её становления. Гитлер потом шутливо заметит, что «Фелькишер беобахтер» тех лет следовало бы, собственно говоря, снабдить подзаголовком «Прибалтийское издание»[326]. Розенберг познакомился с Шойбнер-Рихтером ещё в Риге, когда, будучи молодым и не интересовавшимся политикой студентом, занимался Шопенгауэром, Рихардом Вагнером, проблемами архитектуры и индийским учением о мудрости. И только русская революция привела к тому, что у него создалась картина мира, носившая равно и антибольшевистские, и антисемитские краски,

и источником представлений об ужасах, что перенял Гитлер, включая сюда и метафоры, частично явился и Розенберг, считавшийся в партии специалистом по России. В частности ему принадлежит, по всей вероятности, и тог тезис о тождественности коммунизма и всемирного еврейства, который этот — часто переоценивающийся по степени его влияния — «главный идеолог НСДАП» добавил к миропониманию Гитлера; надо полагать, он немало способствовал тому, что Гитлер снял своё первоначальное требование о возврате колоний и стал искать удовлетворения немецких притязаний на жизненное пространство на просторах России[327]. Но тут-то и разошлись пути между прагматичным, ориентировавшим идеологию исключительно на властные цели Гитлером и чудаковатым Розенбергом, защищавшим свои мировоззренческие постулаты с прямо-таки религиозной истовостью и начавшим, примешивая порой сюда разного рода фантазии, превращать их в идейные системы немыслимейшей абсурдности.

Всего через год после провозглашения программы партия уже могла похвастаться немалыми успехами. В Мюнхене она провела более сорока мероприятий и почти столько же в земле Бавария. Были образованы или взяты под контроль местные организации в Штарнберге, Розенхайме и Ландсхуте, а также в Пфорцхайме и Штутгарте, число членов выросло за это время более чем в десять раз. О том, какое значение имела теперь партия внутри движения «фелькише», свидетельствует письмо, направленное в начале февраля 1921 года «братом Дитрихом» из «Мюнхенского ордена германцев» одному своему единомышленнику в Киле: «Покажите мне хоть одно место, — говорится в нём, — где в течение одного года Ваша партия провела бы 45 массовых митингов. Местная группа в Мюнхене насчитывает сегодня свыше 25 000 членов и около 45 000 сторонников. Насчитывает ли хоть одна из Ваших местных групп хотя бы примерно столько же?» Далее в письме говорится, что его автор связывался с братьями по ордену в Кёльне, Вильгельмсхафене и Бремене, «все считают…. что партия Гитлера — это партия будущего»[328].

Это восхождение идёт на фоне вступавших в силу, и все более воспринимавшихся как оскорбительные положений Версальского договора, быстро прогрессировавшего обесценивания денег и растущей экономической нужды. В январе 1921 года конференция союзников по репарациям принимает решение об общей сумме возмещения ущерба — 226 миллиардов марок золотом, которые страна обязана выплатить в течении сорока двух лет, и помимо этого о поставке в те же сроки 12 процентов германского

экспорта. В ответ на это патриотические союзы, дружины самообороны жителей и НСДАП созвали в Мюнхене на площади Одеонсплац митинг протеста, в котором приняли участие 20 000 человек. Поскольку организаторы этого мероприятия отказались дать на нём слово Гитлеру, он, не долго думая, собрал на следующий вечер свой собственный митинг. Дрекслер и Федер, будучи людьми осмотрительными, считали, что тут уж он окончательно утратил меру и разум. По улицам разъезжали грузовики с флагами, громкоговорителями и спешно нарисованными плакатами, призывавшими жителей Мюнхена собраться 3 февраля в цирке «Кроне». Объяснялось, что «господин Гитлер» будет говорить на тему «будущее или гибель!» — такой же была и поставленная на карту этим его решением альтернатива для его собственной карьеры. Но когда он вошёл в гигантский шатёр цирка, тот был переполнен — 6500 человек бурно приветствовали его, а в конце запели национальный гимн.

С этого времени Гитлер только и ждёт случая, чтобы стать хозяином партии, обязанной ему тем, чем она стала, Слабость времени к типу «сильного человека» играет ему на руку и отвечает его намерениям. Правда, в руководстве партии уже до того проявлялась иной раз озабоченность неуёмной энергией его ответственного за пропаганду члена, а в записи в дневнике партии от 22 февраля 1921 года сказано: «Объяснить господину Гитлеру необходимость поубавить активность». Но когда Готфрид Федер в это же время пожаловался на становящиеся все более явными амбиции Гитлера, Дрекслер ответил ему, что «каждое революционное движение должно иметь диктаторскую голову и потому я и считаю как раз нашего Гитлера наиболее подходящим для нашего движения и не нахожу что из-за этого меня оттесняют на задний план»[329]. А пять месяцев спустя Дрекслер обнаружит, что именно там он и оказался.

Подходящий случай дали в руки Гитлера обстоятельства, являвшиеся, как и его противники, на протяжении всей жизни его главными союзниками. Сочетая хладнокровие, хитрость и решимость, а также ту готовность пойти на больший риск даже для достижения ограниченных целей, которую он постоянно будет проявлять в критических ситуациях, ему удастся захватить власть в НСДАП и одновременно укрепить свои притязания на руководящую роль в движении «фелькише».

Исходным пунктом летнего кризиса 1921 года явились переговоры, шедшие уже в течение нескольких месяцев с конкурирующими партиями «фелькише», в частности, с Немецкой социалистической партией, и имевшие своей целью установление более тесного сотрудничества между ними. Однако все попытки

добиться согласия наталкивались на непримиримость Гитлера, который требовал ни больше, ни меньше, как полного подчинения групп партнёров, и не шёл даже на их коллективный переход в НСДАП; он настаивал на том, чтобы все прежние союзы были распущены, а их члены принимались в партию в индивидуальном порядке. Неспособность Дрекслера хотя бы понять эту твёрдость Гитлера характеризует всю разницу между безусловным инстинктом власти у одного и тягой к сплочению у другого. Явно желая подтолкнуть своих противников в руководстве партии к необдуманному шагу, Гитлер в начале лета уезжает на полтора месяца в Берлин, оставив в Мюнхене в качестве наблюдателей Германа Эссера и Дитриха Эккарта, которые оперативно информируют его обо всём. Под влиянием некоторых единомышленников, стремившихся осадить этого «выскочку-фанатика» Гитлера[330], склонный к компромиссам и ничего не подозревавший Дрекслер, действительно, использует это время для того, чтобы возобновить прерванные переговоры об объединении или хотя бы сотрудничестве всех правых социалистических партий.

А в это время Гитлер выступает в «Национальном клубе» и завязывает контакты с консервативными и праворадикальными единомышленниками — он знакомится с Людендорфом и с графом Ревентловом, чья жена, урождённая графиня д'Аллемон, сводит его в свою очередь с бывшим руководителем добровольческих отрядов Вальтером Стеннесом, представив его при этом как «грядущего мессию».

Сумасшедшая суета Берлина, пришедшая сюда в знаменитые двадцатые годы, его легкомыслие и алчность дают гитлеровской антипатии к этому городу новую пищу, ибо слишком уж он контрастировал с мрачным характером Гитлера. И тот охотно сравнивает царившую тут атмосферу с Римом времён упадка, только тогда, считает он, ослабление города было использовано «чужеродным христианством», а теперь моральным упадком Германии воспользовался большевизм. Речи Гитлера того времени кишат нападками на порочность большого города, коррупцию и разврат, представший перед ним на сверкающем асфальте Фридрихштрассе или Курфюрстендамм: «развлекаются и танцуют, чтобы забыть о нашей нужде, — с возмущением заявил он однажды, — ведь не случайно придумывают все новые развлечения. Нас же хотят искусственно изнурить». Как когда-то в семнадцать лет, приехав в Вену, стоял он и теперь растерянным и чужим перед феноменом большого города, потерявшись в его шуме, суматохе и суете, — собственно говоря, он чувствовал себя как дома только в атмосфере провинции с неотъемлемым для неё

бидермайером, обозримостью и моральной упорядоченностью. В ночной жизни он видит изобретение смертельного классового врага, систематическую попытку «ставить сами собой разумеющиеся гигиенические правила расы с ног на голову; из ночи он (еврей) делает день, он организует эту пресловутую ночную жизнь и точно знает, что действует она медленно, но верно… (чтобы) разрушить одного физически, другого духовно, а в сердце третьего вложить ненависть, когда тот видит, как разгульно живут другие». Театры, продолжает он, «те места, которые человек по имени Рихард Вагнер хотел видеть когда-то затемнёнными, чтобы добиться высшей меры освященности и святости, и строгости, и… высвобождения индивидуума из-под всех нужд и бед», стали «рассадником порока и бесстыдства». В его глазах город наводнён сутенёрами, а любовь, которая для «миллионов других означает высочайшее счастье», превратилась в товар, «в не что иное как гешефт». Он обличает унижение семьи, разложение религии, говорит, что все распадается и компрометируется: «Тот, кто сегодня оказался внутри этого века самого низкого обмана и надувательства, для того остаются только две возможности — или отчаяться и повеситься, или стать подлецом»[331].

Как только Гитлер узнал в Берлине о самоуправстве Дрекслера, он тут же возвратился в Мюнхен. А когда партком, обретший за это время энергию и самоуверенность, потребовал от него оправдаться в своём поведении, Гитлер прореагировал на это неожиданным драматическим жестом — он просто заявил 11 июля о своём выходе из партии. Написанное им три дня спустя многословное послание содержит безудержные упрёки, а также поставленные в форме ультиматума условия, при которых он соглашался вернуться в партию. В частности, он требует отставки комитета, требует«поста первого председателя с диктаторскими полномочиями», а также «очищения партии от проникших в неё чуждых элементов»; затем, не разрешается изменение названия и программы партии; за мюнхенской НСДАП должно сохраниться абсолютное первенство, не допускается слияние с другими партиями, а возможно только их присоединение. И с безапелляционностью, в которой уже виден завтрашний Гитлер, он заявляет: «Компенсации с нашей стороны полностью исключаются»[332].

О том, каких размеров достигли за это время авторитет и власть Гитлера, свидетельствует незамедлительное, датированное уже следующим днём ответное послание парткома. Не рискуя пойти на противоборство, комитет принимает с робкими возражениями все обвинения Гитлера, заявляет о своём

подчинении и даже о готовности ввиду гнева Гитлера сделать козлом отпущения нынешнего первого председателя Антона Дрекслера. В решающем пассаже послания, где впервые слышится византийский тон последующей практики обожествления, говорилось: «Комитет готов в порядке признания Ваших колоссальных познаний, Ваших достигнутых редкой самоотверженностью и на общественных началах заслуг в деле процветания движения и Вашего редкостного ораторского дара предоставить Вам диктаторские полномочия и будет очень рад, если Вы после Вашего возвращения в партию займёте уже неоднократно и ещё задолго до этого предлагавшийся Вам Дрекслером пост первого председателя. Дрекслер останется тогда в комитете на правах члена и если это отвечает Вашему пожеланию, то и членом исполкома. Если Вы сочтёте необходимой для движения его полную отставку, то это должно быть заслушано на очередном годичном собрании».

Насколько завязка и кульминация этой афёры уже позволяют распознать будущее умение Гитлера направлять и решать кризисные ситуации, настолько её развязка продемонстрировала и всегдашнее «умение» Гитлера, зарываясь разрушать уже достигнутый триумф. Как только партком заявил о своём подчинении ему, Гитлер, дабы насладиться этой победой, самочинно собирает чрезвычайное общее собрание. И тут уж склонный к уступчивости Дрекслер не желает больше уступать. 25 июля он приходит в VI-й отдел мюнхенского полицейского управления и обращается с жалобой: лица, подписавшие призыв к созыву собрания, не являются членами партии и, следовательно, неправомочны собирать её членов; далее он указал на то, что Гитлер планирует революцию и насилие, в то время как сам он собирается осуществлять цели партии законным, парламентским путём; однако в полицейском управлении заявляют, что это вне их компетенции. Одновременно Гитлер подвергся атаке в одной анонимной листовке, обозвавшей его предателем. «Властолюбие и личное тщеславие», говорилось в ней, обернулось тем, что он стал «вносить разброд и шатания в наши ряды и тем самым лить воду на мельницу еврейства и его пособников», он намеревается «использовать партию как трамплин для своих нечистых целей», и нет никаких сомнений в том, что он является инструментом тёмных закулисных заправил, недаром же он в страхе скрывает от всех свою личную жизнь и своё происхождение. «На вопросы со стороны отдельных членов, на что же он, собственно, живёт и кем он раньше работал, он всякий раз реагировал гневно и возбуждённо… Так что его совесть не может быть чиста, тем более, что его выходящие за все рамки связи с женщинами, перед

которыми он уже не раз называл себя „мюнхенским королём“, стоят очень много денег». А один плакат, чьё тиражирование, правда, не было разрешено полицией, обвинял Гитлера в «болезненной мании власти» и заканчивался призывом: «Тиран должен быть свергнут»[333].

Только благодаря посредническому вмешательству Дитриха Эккарта ссору удалось уладить. Чрезвычайное общее собрание членов партии 29 июля 1921 года поставило точку в этом кризисе, и Гитлер не мог лишить себя случая, чтобы не продемонстрировать свою победу. Хотя Дрекслер воспользовался выходом Гитлера из партии, чтобы формально исключить из НСДАП Германа Эссера, Гитлеру удалось добиться, чтобы собрание шло под председательством этого его приспешника. Встреченный «нескончаемыми аплодисментами», он сумел так представить суть разногласий, что получил одобрение зала — из 554 присутствующих за него голосовали 553. Дрекслеру пришлось довольствоваться должностью почётного председателя, в то время как устав был изменён в угодном Гитлеру духе. В комитет включили только его людей, а сам он стал председателем-диктатором — теперь НСДАП была в его руках.

Уже в тот же вечер в цирке «Кроне» Герман Эссер торжественно назвал Гитлера «нашим фюрером», тот же Эссер с прямо-таки религиозной страстью стал старательнейше проповедовать в ресторациях и пивных залах тот миф о фюрере, который одновременно начал, планомерно наращивая обороты, раздувать в «Фелькишер беобахтер» и Дитрих Эккарт. Уже 4 августа он публикует портрет Гитлера — «бескорыстного, самоотверженного, беззаветного и честного» человека, о котором в следующем предложении говорится, что он ещё и «целеустремлённый и бдительный». Несколько дней спустя в том же месте появился ещё один портрет, добавлявший в преимущественно мужественные контуры нарисованного Эккартом образа внеземные черты иконного лика, он принадлежал перу Рудольфа Гесса и восславлял «чистейшие чаяния» Гитлера, его силу, его ораторский дар, его поразительные знания, а также его ясный ум. До каких утрированных тонов доходит за очень короткий срок размах пропаганды культа Гитлера, свидетельствует работа, за которую примерно год спустя в конкурсе на тему «Каким должен быть человек, который снова приведёт Германию к величию?» Рудольф Гесс получил первую премию. В основу своего сочинения Гесс кладёт образ Гитлера и пишет:

«Глубокие знания во всех сферах государственной

жизни и истории, способность извлекать из этого уроки, вера в чистоту своего дела и в конечную победу, неукротимая сила воли придают мощь его зажигательной речи, которая заставляет массы рукоплескать ему. Ради спасения нации он не гнушается использовать оружие противника, демагогию, лозунги, демонстрации и т. д.… У него самого нет ничего общего с массой, весь он — личность, как подлинно великий человек.

Когда этого требует нужда, он не остановится перед пролитием крови. Великие вопросы всегда решаются кровью и железом… У него перед глазами одно и только одно, — достижение своей цели, даже если для этого приходится шагать по самым близким друзьям…

Вот каким видится нам образ диктатора — с острым разумом, ясного и правдивого, страстного и в то же время владеющего собой, холодного и смелого, целенаправленно принимающего взвешенные решения, не знающего преград в их быстром исполнении, безжалостного к себе и к другим, немилосердно твёрдого и в то же время нежного в любви к своему народу, не ведающего устали в труде, с железным кулаком в бархатной перчатке, способного, наконец, победить самого себя.

Пока мы ещё не знаем, когда произойдёт его спасительное вмешательство, этого «мужа». Но то, что он грядёт, чувствуют миллионы…»[334].

Сразу же вслед за покорением партии, 3 августа 1921 года, были образованы штурмовые отряды СА (SA — Sturmabteilungen), первоначально первая буква в этом сокращении расшифровывалась как «спортивные», либо Schutzabteilung — защитные. Ещё внутрипартийная фрондаупрекала Гитлера в том, что он создал для себя оплачиваемую гвардию охранников из числа бывших членов добровольческих отрядов, уволенных оттуда за «воровство и грабежи»[335]. Однако СА нельзя понимать ни как преимущественно организацию инстинктов насилия, развязанных войной и по-прежнему рассчитывающих на звучное прикрытие, ни как инструмент вынужденной обороны правых от сходных террористических формирований противника, хотя эти соображения и играли первоначально важную роль. Действительно, в лагере левых существовали боевые вооружённые объединения, как, например, «гвардия Эрхарда Ауэра» у социал-демократов, и имеются многочисленные документальные

свидетельства о заранее спланированных акциях беспорядка, направленных именно против НСДАП: «мир марксизма, обязанный своим существованием террору более чем какое другое явление эпохи, прибегал к этому средству и в отношении и нашего движения», — так сформулирует Гитлер одно из главных соображений при формировании СА[336].

Однако идея СА выходила далеко за пределы этих оборонительных целей — штурмовые отряды были с самого начала задуманы как инструмент нападения и захвата, ибо Гитлер в то время мог мыслить себе «захват власти» исключительно в категориях акта революционного насилия. В призыве к созданию СА говорилось, что они должны быть «тараном» и воспитывать своих членов как в духе подчинения, так и в духе некой революционной воли (какой — не уточнялось), Согласно характерному представлению Гитлера, слабость буржуазного мира по сравнению с марксизмом объяснялась принципом разделения духа и насилия, идеологии и террора — в буржуазных условиях, как он заявлял, политику приходилось пользоваться исключительно духовным оружием, солдат же был полностью выключен из любой политики. А вот в марксизме, напротив, «дух и жестокое насилие образовывали гармонию», и СА должны были следовать этому. И в этом смысле он назвал их в своём первом циркуляре по их формированию «не только инструментом для защиты движения, но и… в самую первую очередь начальной школой для грядущей борьбы за свободу внутри страны»[337]. А «Фелькишер беобахтер», исходя из этого расхваливает их «дух беззаветной решимости».

Внешней предпосылкой для создания этой частной армии послужила ликвидация в июне 1921 года полумилитаризованных дружин самообороны и последовавший месяц спустя роспуск возвратившегося из Верхней Силезии добровольческого отряда «Оберланд». И многочисленные участники этих формирований, считавшие, что одним ударом они оказались лишёнными чувства локтя, солдатской романтики, а значит, и всего смысла их жизни, присоединились теперь к тем оставшимся не у дел ландскнехтам, молодым искателям приключений, что уже были в рядах НСДАП. Пришедшие с войны и войной сформированные, они вновь обретали в организованных по-военному СА, в званиях, командах и форме тот хорошо знакомый им жизненный элемент, которого им так недоставало в казавшейся лишённой общественных структур республике. Почти все они были выходцами из мощного в количественного отношении слоя мелкой буржуазии, долго не имевшей в Германии возможностей для восхождения по общественной лестнице и только в годы войны, из-за больших

потерь в офицерском корпусе, выдвинувшейся на новые руководящие посты. Крепкие, с нерастраченными силами и жаждой действий, они полагали, что после войны их ожидает необыкновенная карьера, однако положения Версальского договора не только заставили их пережить чувство национального унижения, но и вновь отбросили их назад и в социальном плане — за столы учителей народных школ, за прилавки магазинов, за задвижные окошки учреждений, т. е. в ту повседневную жизнь, которая им казалась им стеснённой, жалкой и чужой. И то же самое стремление уйти от установленных норм, что привело в политику Гитлера, вело теперь, в свою очередь, и их к Гитлеру.

Сам же Гитлер увидит в этом столь родственном ему по духу притоке наиболее подходящий материал для воинственного авангарда движения и включит негативные чувства и энергию этих людей, их готовность к насилию в свои тактические соображения по захвату власти. Его психологические максимы содержали в себе и тот момент, что демонстрация облачённой в униформу готовности к насилию имеет не только запугивающий, но и притягательный эффект, а тёр — pop обладает способностью быть своего рода рекламой: «Жестокость импонирует, — так опишет он своё открытие, — люди нуждаются в целебном страхе. Они хотят чего-то бояться. Они хотят, чтобы их пугали, и чтобы они, дрожа от страха, кому-то подчинялись. Разве вы не были повсюду свидетелем того, как после побоищ в залах те, кого избили, первыми вступали в партию? Что Вы там болтаете о жестокости и возмущаетесь мучениями? Масса хочет этого. Ей нужно чего-то страшиться»[338].

С растущей уверенностью Гитлер будет все внимательнее следить за тем, чтобы за риторическими и литургическими средствами пропаганды не забывалась и рекламная роль акций грубого насилия. А один из его «унтерфюреров» выдвинул на одном собрании штурмовиков такой лозунг: «Бейте посильнее, а если одного-другого прикончите, то это не беда».

И так называемое «сражение в „Хофбройхаузе“ 4 ноября 1921 года, ставшее для СА мифом, тоже было, очевидно, спровоцировано Гитлером именно из этих соображений. На один из организованных им митингов явились целые команды социал-демократов, которые должны были его сорвать, — Гитлер определял число противников семью или восьмью сотнями. А штурмовиков в тот день — из-за переезда штаб-квартиры партии в другое помещение — было всего пятьдесят человек. Гитлер потом сам опишет, как он своим страстным выступлением воодушевил этот сначала растерявшийся по причине своей малочисленности отряд: сегодня идёт речь о жизни и смерти,

сказал он им, вы не имеете права покидать зал, даже если вас вынесут отсюда мёртвыми, у тех, кто струсит, он собственноручно сорвёт повязки и значки, а лучший вид обороны — это нападение. „Ответом было — так он живописал, — троекратное „хайль!“, прозвучавшее в этот раз резче и жёстче обычного“. Далее он рассказывает:

> «Тогда я вошёл в зал и смог собственными глазами определить ситуацию. Они сидели плотно сбившись в кучу, и старались продырявить меня уже одними своими взглядами. Бесчисленное количество лиц было с затаённой ненавистью обращено ко мне, в то время как другие с издевательскими гримасами разражались совершенно недвусмысленными выкриками. Сегодня они „покончат с нами“, пусть мы побеспокоимся „за свои кишки“.
>
> Полтора часа он, несмотря на все помехи, все же мог говорить и уже думал, что овладел положением, как вдруг кто-то вскочил на стул и закричал «Свобода!»
>
> Через несколько секунд во всём помещении началась потасовка рычащих и ревущих мужчин, над которыми, подобно гаубичным снарядам, полетели бесчисленные пивные кружки; слышался треск ломавшихся стульев, звон разбитых кружек, рёв и рыки, и крики. Это был идиотский спектакль…
>
> Свистопляска ещё не началась, как мои штурмовики, ибо так стали они называться с этого дня, кинулись в атаку. Как волки, стаями по восемь или по десять, набросились они на своих противников и осыпая их угрозами, начали действительно, шаг за шагом вытеснять их из зала. Не прошло и пяти минут, а я уже не видел, пожалуй, ни одного из них, кто уже не был бы весь в крови… И тут вдруг от входа в зал в сторону сцены раздались два револьверных выстрела, и тогда пошла дикая пальба. И словно снова зашлось сердце, освежая в памяти военные воспоминания…
>
> Прошло примерно минут двадцать пять; сам зал выглядел так, будто тут разорвался снаряд, Многих из моих сторонников как раз перевязывали, других пришлось увезти, но мы остались хозяевами положения. Герман Эссер, которому в этот вечер было поручено вести собрание объявил: «Собрание продолжается. Слово предоставляется докладчику…»[339]

Действительно, начиная с этого дня слово — в куда более

широком смысле — получил Гитлер. По его собственному свидетельству, с 4 ноября 1921 года улица уже принадлежит НСДАП, а с начала следующего года партия начинает все прочнее завоёвывать и баварскую провинцию. По выходным устраиваются пропагандистские поездки по всей земле Бавария, штурмовики шумно маршируют — сначала только с нарукавными повязками, а потом уже в серых штормовках и с заострёнными палками в руках, — по селениям, все громче и увереннее распевая свои воинственные песни. Их вид, как заметит один из ранних сподвижников Гитлера, был «отнюдь не для салонов», скорее уж это была «дикая и воинственная внешность»[340]. Они расклеивают лозунги на стенах домов и фабрик, затевают потасовки со своими противниками, срывают черно-красно-оранжевые флаги либо устраивают по всем правилам военного искусства нападения на спекулянтов или капиталистических кровопийц. Их песни и лозунги демонстрируют кровожадную похвальбу. На одном из собраний в пивном зале «Бюргербройкеллер» присутствовавших обходили с кружкой, на которой была надпись: «Жертвуйте на избиение евреев!»; так называемые «блюстители порядка» срывали митинги и неугодные концерты: «Мы умеем давать рукам волю!» — так весело звучал их девиз. Грубые выходки штурмовиков и на самом деле, как ожидал Гитлер, не наносили вреда партии, даже в глазах солидной, добропорядочной буржуазии они нисколько не умаляли притягательной силы движения. Причины этого следует искать не только в том, что войной и революцией была снижена планка норм, но и в большей степени в том, что партия Гитлера использовала тут и специфическую баварскую грубость, в чью политическую разновидность она как раз и превратилась. Побоища в залах с отрыванием ножек стульев и запусканием в противников пивных кружек, «избиения», кровожадные песни, «воля рукам» — всё это было элементами грандиозной потехи. Показательно, что именно в это время вошло в употребление слово «наци», что представляло собой лишь сокращённую форму слова «национал-социалист», а для баварского уха звучало как уменьшительно-ласкательное производное от имени Игнац и носило доверительно-фамильярный оттенок, что и свидетельствовало о том, что партия уже вошла в самое широкое сознание.

Поколение участников войны, сформировавшее ранее ядро СА, пополнилось вскоре и людьми более молодого возраста, и в этом смысле движение было на самом деле «восстанием недовольных молодых людей». «Два рода вещей, — скажет Гитлер в это время в одном своём публичном выступлении, — способны

объединить людей — общие идеалы и общее жульничество»[341], в СА одно вошло в другое неразрывным сплавом. В течении 1922 года в них наблюдается такой скачкообразный приток, что уже осенью была организована одиннадцатая сотня, возглавлявшаяся Рудольфом Гессом и состоявшая поголовно из одних студентов. В том же году в состав СА вошла самостоятельным соединением группа из бывшего добровольческого отряда Росбаха во главе с лейтенантов Эдмундом Хайнесом. Создание многочисленных спецформирований придавало СА все более военный облик. Сам Росбах составил отряд самокатчиков, имелись подразделения связи, моторизованный отряд, артиллерийская батарея и отряд кавалерии.

Возрастающее значение «штурмовых отрядов» и являлось в первую очередь тем, что придавало НСДАП характер партии нового типа. Правда, сами СА — вопреки апологетике в воспоминаниях некоторых штурмовиков — помимо самой общей программы национальной борьбы и драки не выдвинули никакой чёткой идеологической платформы и, конечно же, маршируя с развёрнутыми знамёнами по улицам, не считали себя шагающими в новый общественный строй. У них не было никакой утопии, а была лишь огромная обеспокоенность, не было никакой цели, а была динамическая энергия, с которой они не могли совладать. Строго говоря, большинство тех, кто вступил в её колонны, не были даже политическим солдатами, а куда в большей степени были наёмниками-ландскнехтами, натурами, пытавшимися скрыть свой нигилизм, свою неугомонность и свою тягу к субординации за несколькими высокопарными политическими вокабулами. Их идеологией была активность любой ценой на фоне общей, совершенно недифференцированной готовности верить и подчиняться, и, как это и отвечало гомоэротическому характеру их мужского союза, отнюдь не какие-то программы, а личности, «фюрерские натуры», были в состоянии пробудить у рядового штурмовика его преданность и самоотверженность: «Записываться должны только те, — подчёркивал Гитлер в своём призыве, — кто хочет слушаться своих руководителей и готов, если надо, пойти на смерть!»[342].

Однако именно идеологическая индифферентность и сделает СА тем крепким, сплочённым ядром, которое, будучи далеко от всякого сектантского упрямства, было готово выполнить любые приказания. Это придаёт НСДАП в целом сплочённость, незнакомую традиционным буржуазным партиям, а вместе с тем шанс стать партией, совмещающей в себе столь несовместимые настроения неудовлетворённости и комплексы недовольства. Чем дисциплинированнее и надёжнее было образованное СА боевое

ядро, тем быстрее смог Гитлер распространить свои призывы почти без разбора на все в принципе слои населения.

В этой особенности следует не в последнюю очередь искать и объяснение того разнородного социологического портрета НСДАП, чья безликость отнюдь не охватывается распространёнными формулами, что она, мол, была «партией среднего сословия». Разумеется, мелкобуржуазные средние слои накладывали на неё многие характерные черты, да к тому же и провозглашённая Гитлером программа формулировала — вопреки определению «рабочая партия» — в ряде своих пунктов страхи и политические настроения среднего, ремесленного сословия, его озабоченность возможностью поглощения крупными промышленными предприятиями и универсальными магазинами, равно как и чувства зависти маленького человека по отношению к легко приобретённому богатству, спекулянтам и владельцам капиталов. И пропагандистская шумиха партии была нацелена преимущественно на среднее сословие, а Альфред Розенберг, например, восхвалял его как единственный слой, который «ещё противится всемирному обману», да и сам фюрер не забывал об уроках своего кумира венских дней Карла Люгера, который, как писал Гитлер, мобилизовал «среднее сословие, коему грозила гибель» и тем самым обеспечил себе «едва поддающуюся потрясениям приверженность со столь же высокой степенью самоотверженности, как и боеготовности: „Из рядов среднего сословия должны приходить бойцы, — заявлял он, но тут же добавлял: «В наших национал-социалистических рядах должны собираться обездоленные и справа, и слева“[343].

Различные списки членов, сохранившиеся из начального периода истории партии, дают все же не слишком дифференцированную картину, примерно тридцать процентов они называют чиновниками либо служащими, затем шестнадцать процентов — торговцами, в их числе немало владельцев мелких и средних предприятий, искавших у НСДАП защиты от нажима профсоюзов, остаток же составляют солдаты, студенты, люди свободных занятий, в то время как в руководстве преобладают представители романтической городской богемы. Директива партийного руководства 1922 года содержала требование ко всем местным организациям, чтобы они отражали социологическую картину своего региона и чтобы в их руководящем органе лица с высшим образованием ни в коем случае не превышали трети его членов[344]. Примечательным для партии было как раз обстоятельство, что в то время она привлекает людей любого происхождения, любой социологической окраски и её динамика развивается как движение по объединению соперничающих групп,

интересов и эмоций. Когда национал-социалисты немецкого языкового региона на межгосударственной встрече в августе 1921 года в Линце называли себя «классовой партией», это происходило в отсутствие Гитлера, который всегда понимал НСДАП как решительное отрицание классового антагонизма и преодоление оного на пути антагонизма расового: «Наряду с представителями среднего сословия и буржуазии за национал-социалистическим следовало очень много рабочих, — говорилось в одном полицейском донесении в декабре 1922 года, — старые социалистические партии усматривают (в НСДАП) большую опасность для их дальнейшего существования». Тем, что приводило многочисленные противоречия и антагонизмы, из которых она была соткана, к общему знаменателю, и была как раз позиция ожесточённого отпора как пролетариату, так и буржуазии, как капитализму, так и марксизму: «Для классово сознательного рабочего нет места в НСДАП, точно так же как и для сословно настроенного буржуа», — заявлял Гитлер[345].

Если рассматривать все это в целом, то внимание и приверженцев давал национал-социализму раннего периода не какой-то класс, а менталитет — та якобы аполитичная, а на деле послушная начальству и жаждущая, чтобы ей руководили, конструкция сознания, которая имела место во всех слоях и классах. В изменившихся условиях республики обладатели этого сознания увидели, что их нежданно-негаданно оставили в беде. Смутные комплексы страха, которыми они были преисполнены, ощущались ими с особой силой ещё и потому, что новая форма государственности не создала никакого авторитета, могущего в будущем полагаться на их привязанность и лояльность. Рождение республики из беды поражения, проводимая державами-победительницами, в особенности Францией, диктуемая страждущим непониманием политика возмездия за давние грехи кайзеровских времён, гнетущий опыт голода, хаоса и расстройства денежного обращения, а также, наконец, неверно толковавшаяся как забвение национальной чести политика выполнения условий Версальского договора порождали глубочайшую неудовлетворённость в плане потребности отождествления себя с государственными порядками, той потребности, которой эти люди всегда были обязаны и какой-то частью уважения к самим себе. Будучи лишённым блеска и униженным, это государство было для них ничем — оно не побуждало их к преданности и не вызывало у них фантазии. Строгое понятие о порядке и почтении, которое они пронесли в своём неосознанном умонастроении неприятия через все хаотические события времени, представлялось им в условиях

республики с её конституцией как раз и поставленными под вопрос всей этой демократией и свободой печати, разногласиями и партийными торгами; с приходом новой государственности они во многом перестали понимать мир. В своём беспокойстве, они шли в НСДАП, которая была не чем иным, как политической организацией их собственной растерянности, обретшей развязные замашки. И в этой связи получает своё объяснение тот парадокс, что их тяга к порядку и добрым нравам, к верности и вере находила, как они это чувствовали, самое лучшее понимание именно у проникнутых духом авантюризма представителей партии Гитлера с их во многих отношениях тёмным и необычным жизненным фоном. «Он сравнил довоенную Германию, где царили только порядок, чистота и пунктуальность, с нынешней революционной Германией», — говорится в одном из отчётов о ранних выступлениях Гитлера; вот к этому-то внушённому нации инстинкту правил и дисциплины, либо принимавшему мир упорядоченным, либо не принимавшему его вообще, и обращался при все более возраставшем одобрении этот начинающий демагог, называя республику отрицанием немецкой истории и немецкого естества, отождествляя её с духом делячества и карьеризма, в то время как большинство хочет «мира, но никак не свинарника»[346].

Актуальные лозунги поставлялись Гитлеру инфляцией, которая хотя ещё и не приняла тех невиданных причудливых форм, как это будет летом 1923 года, но всё же привела практически к экспроприации значительной части среднего сословия. Уже в начале 1920 года марка упала до одной десятой своей довоенной стоимости, а два года спустя она составляла одну сотую («пфенниговая марка») её прежнего курса. Государство, задолжавшее со времён войны 150 миллиардов марок и видевшее во все ещё продолжавшихся переговорах о репарациях приближение новых тягот, освобождалось таким образом от своих обязательств, это же касалось и всех других должников; для заёмщиков кредитов, коммерсантов, промышленников, в том числе и в первую очередь для почти полностью освобождённых от налогов и производивших продукцию с минимальными затратами на заработную плату экспортных предприятий, инфляция была благом, так что они не были лишены заинтересованности в дальнейшем расстройстве денежного обращения и, по крайней мере в общем, не предпринимали ничего для его нормализации. С помощью дешёвых денег, которые в условиях их прогрессирующего обесценивания возвращались назад во много раз ещё более дешёвыми, эти люди безудержно и беспрепятственно

спекулировали в ущерб национальной валюте. Проворные дельцы в течение всего нескольких месяцев сколачивали сказочные состояния и создавали почти из ничего мощные экономические империи, которые провоцировали тем более отрицательную реакцию, потому что их создание шло рука об руку с обнищанием и пролетаризацией целых общественных групп, владельцев долговых обязательств, рантье и мелких вкладчиков, не имевших вещественной собственности.

Смутное ощущение взаимосвязи между этими фантастическими карьерами капиталистов и массовым обнищанием породило у пострадавших такое чувство, что они подвергаются социальному издевательству, и это чувство переходило в неослабевающее ожесточение. Сильные антикапиталистические настроения веймарской поры не в последнюю очередь вытекают именно отсюда. Но столь же чреватым последствиями было и впечатление, что государство, которое в традиционном представлении продолжало существовать как бескорыстный, справедливый и интегрирующий институт, само выступило с помощью инфляции злостным банкротом по отношению к своим гражданам. На маленьких людей с их строгими взглядами на порядок — а именно они и оказались главным образом разорёнными — это открытие подействовало, может быть, ещё более опустошающе, нежели потеря их скромных сбережений, и уж во всяком случае мир, где они жили в строгости, довольстве и осмотрительности, рухнул для них под такими ударами безвозвратно. Продолжавшийся кризис толкал их на поиск голоса, которому они бы вновь поверили, и воли, за которой бы они могли пойти. И едва ли не все несчастья республики и заключались как раз в том, что она не сумела откликнуться на эту потребность. Ведь феномен зажигающего массы Гитлера-агитатора лишь частично объясняется его необычным, дополнявшимся и умножавшимся различными трюками ораторским даром — не менее важной была и та тонкая чувствительность, с которой он улавливал эти настроения ожесточившегося обывателя и умел соответствовать его чаяниям; и в этом он сам видел подлинный секрет большого оратора: «Он всегда так отдаётся широкой массе, что чувствует, как отсюда у него появляются именно те слова, которые нужны, чтобы дойти до сердца слушателей»[347].

В принципе это были, на индивидуальном уровне, снова те же комплексы и негативные эмоции, которые ему, несостоявшемуся студенту академии, уже довелось пережить, — страдания при виде реальности, одинаково противоречившей и его сокровенным желаниям, и его жизненным воззрениям. Без этого совпадения

индивидуально — и социально-патологической ситуации восхождение Гитлера к представлявшейся столь магической власти над душами и умами было бы немыслимо. То, что в тот момент переживала нация — череда спадавших чар, крах и деклассирование, равно как и поиск виноватого и объекта для ненависти, — он пережил уже давно; уже с тех пор у него были и причины, и поводы, и он знал формулы, знал виновников — вот это-то и придавало его своеобразной конструкции сознания настолько типичный характер, что люди, как наэлектризованные, узнавали в нём себя. И отнюдь не неопровержимость его аргументации, непоразительная острота его лозунгов и образов пленяли их, а то чувство собственного опыта, совместных страданий и надежд, которое потерпевший крушение буржуа Гитлер умел вызывать у тех, кто оказался вдруг в окружении таких же бед, — их сводила вместе идентичность их агрессивных настроений. Отсюда в значительной мере родом и его особая харизма, неотразимая по смеси одержимости, демонии предместий и причудливо слипшейся с ними вульгарности. В нём оправдались слова Якоба Буркхардта, что история подчас любит сосредоточиваться в одном человеке, которому потом внимает весь мир. Время и люди, говорит он, вступают в великие, таинственные расчёты.

Правда, «секрет», которым владел Гитлер, был, как и все его так называемые инстинкты, плотно пронизан рациональными соображениями. И пришедшее уже в раннюю пору осознание своих медиумических способностей никогда не побуждало его отказываться от расчёта на психологию масс. Есть серия снимков, показывающая его в позах, которые отвечают утрированному стилю того времени. Кое в чём они покажутся смешными, но всё же в первую очередь они свидетельствуют о том, насколько его демагогический гений стал результатом заучивания, повторения и работы над ошибками.

И тот особый стиль, который он уже с ранней поры начал вырабатывать для своих выходов, тоже диктовался психологическими соображениями и отличался от традиционного проведения политических собраний в первую очередь своим театральным характером: широковещательно призывая с помощью агитгрузовиков и кричащих плакатов «на большой публичный гигантский митинг», он изобретательно соединяет постановочные элементы цирка и оперного театра с торжественным церемониалом церковно-литургического ритуала. Вынос знамён, музыка маршей и приветственные возгласы, песни, а также вновь и вновь звучащие крики «хайль!» создают своим нагнетающим напряжением обрамление для большой речи

фюрера и тем самым уже заранее впечатляюще придают ей характер благовестия. Постоянно совершенствовавшиеся, преподававшиеся на ораторских курсах и распространявшиеся письменными инструкциями правила проведения мероприятий не оставляют вскоре без внимания ни единой детали, и уже в это время проявляется склонность Гитлера не только определять крупные, направляющие линии тактики партии, но и пристально интересоваться даже мелкими, детальными вопросами. Он сам как-то проверил акустику всех главных мюнхенских залов, где проводились собрания, дабы установить, требует ли «Хаккерброй» большего напряжения голосовых связок нежели «Хофбройхауз» или «Киндлькеллер», он проверял атмосферу, вентиляцию и тактическое расположение помещений. Общие указания предусматривали, чтобы зал был, как правило, небольшим и по меньшей мере на треть заполнен своими. Чтобы снять впечатление о мелкобуржуазном характере движения, о его принадлежности к среднему сословию и завоевать доверие рабочих, Гитлер одно время ведёт среди своих сторонников «борьбу с отутюженной складкой» и посылает их на митинги без галстуков и воротничков, а иных, дабы выведать тематику и тактику противников, он направляет на организуемые теми курсы Подготовки[348].

Начиная с 1922 года, он все чаще прибегает к тому, чтобы проводить в один вечер серии из восьми, а то и двенадцати митингов, на каждом из которых он был объявлен в качестве главного докладчика, — такой метод соответствовал его комплексу толпы, равно как и его тяге к повторяемости, а также отвечал максиме массированных пропагандистских выступлений: «За чем сегодня дело и что должно быть решено, — заявит он в это время, — так это создание и организация одного единого, все возрастающего массового митинга, митинга из одних протестов, в залах и на улицах… Не духовное сопротивление, нет, а жгучую волну упорства, возмущения и ожесточённого гнева нужно нести в наш народ!» Один очевидец, побывавший на организованных Гитлером серийных собраниях в мюнхенской пивной «Левенброй», рассказывает следующее:

> «На скольких политических собраниях бывал я уже в этом зале. Но ни в годы войны, ни в революцию меня не обдавало уже при входе таким горячим дыханием гипнотического массового возбуждения. Свои боевые песни, свои флаги, свои символы, своё приветствие, — отметил я, — похожие на военных распорядители, лес ярко-красных флагов с чёрной свастикой на белом фоне,

> удивительнейшая смесь солдатского и революционного, национал-социалистического и социального — то же и среди слушателей: преобладает катящееся вниз по наклонной плоскости среднее сословие, все его слои — будет ли оно здесь спаяно воедино?.. Бегут часы, непрерывно гремят марши, выступают с короткими речами унтерфюреры. Когда же появится он? Не могло же произойти что-то непредвиденное? Никто не в силах описать то лихорадочное состояние, которое разливается в этой атмосфере. Вдруг какое-то движение у входа сзади. Звучат команды. Оратор на сцене прерывается на полуслове, все вскакивают с мест с криками „хайль!“ среди кричащей массы и кричащих знамён тот, кого ждали, со своей свитой, быстрыми шагами и с застывшей поднятой правой рукой проходит к эстраде. Он прошёл совсем близко от меня, и я видел — это был совсем другой человек, чем тот, кого я то тут, то там встречал в частных домах»[349].

Построение его речей следовало, в общем-то, одному и тому же образцу — широковещательным хулительным вердиктом о современности постараться настроить публику и установить с ней первый контакт: «Ожесточение охватывает все круги; начинают замечать, что нет ничего из достоинства и красоты, обещанных в 1918 году», — такими словами начинает он одно из своих выступлений в сентябре 1922 года, и после экскурсов в историю, объяснения партийной программы и нападок на евреев, «ноябрьских преступников» и политиков, выступающих за выполнение положений Версальского договора, он, все более возбуждаемый отдельными выкриками или скандированием наёмных клакёров, заканчивает обычно провозглашаемыми в экстазе призывами к единству. По ходу действия в речь включается то, что подсказывает ему острота момента, аплодисменты, пивные испарения или та самая атмосфера, тенденции которой он раз от разу учитывает и преломляет все с большей уверенностью: стенания по поводу униженного отечества, грехи империализма, зависть соседей, «коммунизация немецкой женщины», оплевывание собственного прошлого или старая антипатия к пустому, мелочному и беспутному Западу, откуда вместе с новой формой государства пришли и позорный версальский диктат, и союзнические контрольные комиссии, и негритянская музыка, и женская стрижка под мальчика, и модерновое искусство, но не пришло ни работы, ни безопасности, ни хлеба. «Германия голодает из-за демократии!» — лапидарно

формулирует он. Его склонность к мифологическому затуманиванию взаимосвязей придаёт его триадам масштабность и фон; не доходя до необязательных закоулков местных событий, этот буйно жестикулирующий человек видит перед собой всю перспективу всемирной драмы: «ТО, что сегодня пробивает себе дорогу, будет повеличественнее мировой войны, — провозглашает он однажды, — это будет битва на немецкой земле за весь мир! Есть только две возможности: мы станем жертвенным агнцем или победителями!»[350]

В начальный период педантично осмотрительный Антон Дрекслер после такого рода самозабвенных выпадов порою вмешивался, и, к досаде Гитлера, добавлял к его речам своё заключительное слово, преисполненное косного благоразумия; теперь же его не сдерживает ничего, и он делает широкий угрожающий демагогический жест, что, мол, в случае прихода к власти он порвёт мирный договор в клочья, что не остановится перед новой войной с Францией, а в другой раз делится видением о могучем рейхе «от Кенигсберга до Страсбурга и от Гамбурга до Вены». А все возрастающий приток слушателей доказывает, что дерзкий и безрассудный тон вызова как раз и есть то, что хотят услышать люди в атмосфере господствующих настроений покорности: «Надо не покоряться и соглашаться, а с риском идти на то, что кажется невозможным»[351]. В распространённой картине беспринципного оппортунизма Гитлера явно недооценивается его безрассудность, а также его оригинальность; именно откровенная приверженность к тому, что осуждено, и принесёт ему немало побед и создаст вокруг него ауру мужественности, яркости и безоглядности, которая даст столь большой задел для выработки мифа о великом фюрере.

Ролью, которую он вскоре себе выбрал и которой определил свой стиль, была роль аутсайдера, обещающая во времена недобрых настроений в обществе немалый выигрыш в плане завоевания популярности. Когда газета «Мюнхенер пост» назвала его «самым рьяным подстрекателем, бесчинствующим ныне в Мюнхене», он так парировал это обвинение: «Да, мы хотим народ подстрекать и непрестанно натравливать!» Поначалу ему ещё претили плебейские, беспардонные формы поведения, но когда он осознал, что они не только приносят ему популярность под куполом цирка, но и вызывают повышенный интерес в салонах, то стал все бесстрашнее идти на это. Когда его упрекнули в неразборчивости по отношению к тем, кто его окружает, он возразил, что лучше быть немецким босяком, чем французским графом; не утаивал он и того, что был демагогом: «Говорят, что мы — горлопаны-антисемиты. Так точно, мы хотим вызвать бурю!

Пусть люди не спят, а знают, что надвигается гроза. Мы хотим избежать того, чтобы и наша Германия была распята на кресте! Пусть мы негуманны! Но если мы спасём Германию, мы свершим величайший в мире подвиг»[352]. Бросающаяся в глаза своей частотой использование религиозных образов и мотивов в целях максимального риторического нагнетания отражает его умилённую взволнованность в детские годы; воспоминания о той поре, когда он прислуживал во время мессы в Ламбахском монастыре, и об опыте патетического триумфа, достигавшегося с помощью картин страдания и отчаяния на фоне победной веры в избавление, — в таком сочетании восхищался он гением и психологическим человековедением католической церкви, у которой учился. Он сам без колебания прибегал к кощунственному использованию «моего Господа и Спасителя» в порывах своей антисемитской ненависти: «С безграничной любовью перечитываю я как христианин и человек то место, которое возвещает нам, как Господь наконец решился и взялся за плеть, дабы изгнать ростовщиков, это гадючье и змеиное отродье, из храма! Но какой титанической была борьба за этот мир, против еврейской отравы, это я вижу сегодня, две тысячи лет спустя, в том потрясающем факте, что расплачиваться ему пришлось своей кровью на кресте»[353].

Однообразию в построении его речей соответствовала и монотонность эмоционального напряжения, и никто не знает, что там было фиксацией личностного, а что — психологическим расчётом. И всё же чтение его даже отредактированных речей того времени даёт определённое представление о той наркотической неистовости, с которой он превращал переполнявшие его многочисленные затаённые обиды в одни и те же жалобы, обвинения и клятвы: «Есть только упорство и ненависть, ненависть и снова ненависть!» — воскликнул он как-то; снова он использовал принцип дерзкого поворота, бросая во весь голос среди униженной, растерянной нации клич ненависти к врагам, — как он признавался, его прямо неудержимо тянуло делать это[354]. Нет ни одной его речи, где бы не было преисполненных самоуверенности широковещательных обещаний: «Когда мы придём к рулю, мы будем упорными, как буйволы!», — со страстью восклицает он, причём, как отмечается в отчёте об этом собрании, пожинает горячие аплодисменты. Для освобождения, вещал он, мало одной разумной и осторожной политики, мало добросовестности и усердия людей, «чтобы стать свободным, нужны гордость, воля, упорство, ненависть и снова ненависть!». В своей не знающей удержу тяге к преувеличению он видит повсюду, во всех текущих делах, работу гигантской

коррупции, и всеобъемлющую стратегию государственной измены, а за каждой нотой союзников, за каждой речью во французском парламенте наличие все того же врага человечества.

Запрокинув голову и вытянув вперёд руку, с обращённым вниз вздрагивающим указательным пальцем, — столь характерная для него поза, — он, местный баварский агитатор курьёзного покроя, бросал в своём подобно трансу состоянии опьянения собственной риторикой вызов не только правительству и ситуации в стране, но и, ни много ни мало, всему миропорядку: «Нет, мы ничего не простим, наше требование — месть!»[355].

Он не обладает чувством юмора и с презрением относится к считавшемуся смертельным воздействию смеха. Он ещё не овладел императорскими жестами более поздних лет, а поскольку над ним довлеет чувство оторванности художника от масс, то нередко старается показать себя нарочито простонародным. Тогда он салютует своим слушателем поднятой кружкой с пивом либо утихомиривает вызванное им же возбуждение неуклюжими призывами «Тише! Тише!». Да и людей привлекают на его выступления скорее театральные, нежели политические мотивы — во всяком случае, из десятков тысяч тех, кто приходит его слушать, в начале 1922 года только шесть тысяч являются официально членами партии. Как зачарованные, не отрывая глаз, глядят на него люди, уже после первых его слов звон пивных кружек обычно утихает, нередко он говорит в благоговейной тишине, лишь время от времени прерываемый взрывами аплодисментов — словно тысячи камешков обрушиваются вдруг на барабан, как образно написал один из очевидцев. Наивно и со всей жадностью «засидевшегося» Гитлер наслаждается этой суетой и сознанием того, что он находится в фокусе всеобщего внимания: «Когда вот так проходишь через десять залов, — говорит он своему окружению, — и всюду люди приветствуют тебя — ведь это же возвышенное чувство». Нередко он заканчивает свои выступления произнесением клятвы верности, которую участники собрания должны повторять вслед за ним, или же, вперив глаза в потолок зала, хрипло, срывающимся от страсти голосом скандирует: «Германия! Германия! Германия!», пока то же не начинает хором повторять весь зал, и это скандирование переходит в погромные боевые песни, с которыми все затем обычно проходят по ночным улицам, Гитлер сам потом сознаётся, что после своих речей он, как правило, был «мокрый, хоть выжимай, и терял я в весе по два-три кило», а промокшая гимнастёрка «после каждого собрания окрашивала его бельё в синий цвет»[356].

Два года понадобится ему, по его собственным словам,

прежде чем он освоит все средства пропагандистского успеха и почувствует себя «мастером этого искусства». Не без основания потом будут говорить, что он первым применил методы американский рекламы и, связав их со своей собственной агитаторской фантазией, превратил их в наиболее изобретательную к тому времени концепцию политической борьбы. Может быть, и впрямь прав журнал «Вельтбюне», назвавший его позднее учеником великого Барнума, однако тот насмешливый тон, с каким журнал провозгласил своё открытие, говорит о высокомерной отсталости последнего. Ошибка весьма многих самонадеянных современников как слева, так и справа, состояла в том, что они путали технические приёмы Гитлера с его планами и из вызывавших насмешку средств делали вывод, что столь же смешными являются и его цели. Его неизменным желанием было желание перевернуть один мир и поставить на его место другой, но мировые пожары и апокалипсисы, которые ему мерещились, не мешали, однако, применению им психологии цирковых номеров.

Несмотря на все триумфы Гитлера-оратора ключевое явление находилось все же на заднем плане — это была объединяющая весь лагерь «фелькише» фигура национального полководца Людендорфа. Почтительно взирая на него, сам Гитлер по-прежнему пока ещё считает себя только предтечей, «совсем маленьким типом», как заявлял он в начале 1923 года, ожидающим более великого человека, для которого он хочет приготовить народ и меч; и всё же его собственное воздействие приобретает во все возрастающей степени черты мессианства. Кажется, массы быстрее, чем он сам, понимают, что он и есть тот волшебник, которого они ждут, — и они стремятся к нему, как к «спасителю», говорится в одном комментарии того времени[357]. Достаточно часто источники сообщают теперь о тех случаях пробуждения и обращения, что так показательны для религиозной, алчущей избавителя ауры тоталитарных движений. К примеру, у Эрнста Ханфштенгля, услышавшего Гитлера в эту пору впервые, было, несмотря на все предубеждения, такое чувство, будто теперь у него начался «новый этап жизни», а торговец Курт Людекке, входивший одно время в ближайшее окружение Гитлера и ставший потом узником концлагеря Ораниенбург, сумеет уже после того, как ему удалось оказаться за границей, рассказать о том, какой истерический взрыв чувств вызывала у него и бесчисленного множества других людей встреча с Гитлером-оратором:

«В одно мгновение все мои критические способности

оказались отключёнными… Я не знаю, как мне описать те чувства, которые охватили меня, когда я слушал этого человека. Его слова были как удары кнута. Когда он говорил о позоре Германии, я чувствовал себя в состоянии наброситься на любого противника. Его призыв к немецкой, мужской чести был как зов к оружию, учение, которое он проповедовал, было откровением. Он казался мне вторым Лютером. Я забыл все на свете и видел только этого человека. Когда я оглянулся, то увидел, что тысячи были как один захвачены силой его внушения. Разумеется, переживая это, я был уже зрелым человеком 32 лет, уставшим от разочарований и недовольства, ищущим новый смысл жизни, патриотом, не находившим для себя поля деятельности, восторгавшимся героическим, но не имевшим героя. Сила воли этого человека, казалось, переливалась в меня. Это было переживанием, которое можно сравнить только с обращением в религию»[358].

С весны 1922 года начинается скачкообразный рост числа членов партии, кое-где в партию переходят целыми группами, летом она насчитывает уже около пятидесяти местных организаций, а в начале 1923 года приходится даже временно закрывать мюнхенскую штаб-квартиру из-за массового наплыва; если в конце января 1922 года партия насчитывала около 6000 членов, то в ноябре следующего года их число превышает 55 000. Этот приток объяснялся не только приказом по партии, согласно которому каждому члену вменялось в обязанность ежеквартально вербовать трех новых, а также одного подписчика на «Фелькишер беобахтер», но и растущей уверенностью Гитлера в роли оратора и организатора. Идя навстречу пожеланиям потерявших ориентацию людей, НСДАП старается более тесно сводить своих членов вместе и в их личном времяпровождении. Конечно, и тут она снова применяет испытанные формы практики социалистических партий, но ритуал еженедельных вечеров-бесед, явка на которые становится обязательной, совместных экскурсий, посещений концертов или участия в праздниках солнцестояния, спевках, кулинарных встречах либо совместных физкультурных упражнениях, равно как и обстановка того спокойного уюта, что царит в кафе, где проходят встречи членов партии, и в общежитиях штурмовиков, намного превзошли прототипы и были неподражаемым образом ориентированы на самые широкие нужды тех, кто был лишён политического и человеческого крова. Для многих её ранних членов партия

становится тем самым своего рода эрзац-миром сектантского толка, да и Гитлер не раз сравнит её в ту пору с общинами первых христиан. Среди её наиболее популярных мероприятий были «Немецкие рождественские праздники», которые как бы служили живым воплощением её идеи, ибо соединяли сентиментальность, сознание избранности и чувство укрытости от тёмного, враждебного окружающего мира. Главнейшей задачей движения, заявил в те дни Гитлер, является создание «для этих широких, ищущих и блуждающих масс» возможности «по меньшей мере где-то вновь найти место, которое даст покой их сердцам»[359].

Не в последнюю очередь по этим причинам Гитлер откажется затем от роста партии любой ценой, и новые местные организации станут создаваться только тогда, если для них будет найден одарённый и лично убеждённый руководитель, способный в малом удовлетворить ту потребность в авторитете, которая в большом столь очевидно работала на холостом ходу. Во всяком случае, уже сейчас, в самом начале, партия ставит своей целью представлять собой нечто большее, нежели организацию ради конкретных политических целей, и за всеми текущими делами никогда не забывает не только прививать своим членам миропонимание на уровне трагической серьёзности, но и создавать для них те маленькие банальные радости жизни, которых им так не хватает в нужде и разобщённости будней. В стремлении партии быть родиной, центром бытия и источником познания уже в то время различимы зачатки её последующих тоталитарных амбиций.

В течение только одного года НСДАП становится таким образом, как писал один из наблюдателей, «мощнейшим фактором силы южногерманского национализма»[360], она всасывает в себя либо увлекает за собой большинство многочисленных союзов «фелькише». И в северогерманских группах тоже наблюдается значительный приток — в первую очередь за счёт бывших приверженцев развалившейся Немецкой социалистической партии. Когда в июне 1922 года группой заговорщиков-националистов был убит министр иностранных дел Вальтер Ратенау, некоторые земли — Пруссия, Баден и Тюрингия — принимают решение о запрете партии, однако в Баварии, ещё не забывшей времён Советов, она остаётся целёхонькой в качестве наиболее радикального антикоммунистического авангарда. В дирекции мюнхенской городской полиции было даже немало прямых сторонников Гитлера, в том числе — и наиболее явно — сам полицай-президент Пенер, а также начальник политического отдела оберамтман Фрик. Они не давали хода жалобам на НСДАП, информировали её руководство о планируемых акциях,

равно как и заботились о том, чтобы предпринимавшиеся шаги оказывались безрезультатными. Фрик позднее признается, что подавить партию в тот момент не составило бы большого труда, но «мы держали нашу охраняющую длань над НСДАП и господином Гитлером», в то время как сам Гитлер однажды заметил, что без содействия Фрика он «никогда бы не вылезал из кутузки»[361].

Только один-единственный раз над Гитлером нависла серьёзная угроза, когда баварский министр внутренних дел Швейер в течение 1922 года рассматривал вопрос, не выслать ли его как докучливого иностранца назад в Австрию — бесчинства его банд на мюнхенских улицах, драки, угрозы и подстрекательство граждан стали, по мнению совещаний руководителей всех партий, уже просто невыносимыми. Однако против этого выступил, ссылаясь на «принципы демократии и свободы», лидер социал-демократов Эрхард Ауэр. И Гитлер по-прежнему имел возможность обзывать республику «притоном чужеродных мошенников», угрожать правительству, что, когда он возьмёт власть, тому останется только уповать «на милость божью», и публично заявлять, что предавшим страну вождям СДПГ «только одно наказание — петля». Благодаря его подстрекательской деятельности город превратился прямо-таки во враждебный антиреспубликанский анклав, постоянно наполненный слухами о путче, гражданской войне и реставрации монархии. Когда рейхспрезидент Фридрих Эберт приехал летом 1922 года в Мюнхен, он уже на вокзале был встречен шиканьем, свистом и красными купальными трусами[362], а окружение рейхсканцлера Бирта посоветовало тому прервать запланированную поездку в Мюнхен — но Гинденбурга в то же время приветствовали тут овациями, а захоронение остатков умершего в эмиграции короля Людвига III, последнего монарха из Виттельсбахов, вывело весь город в трауре и ностальгической печали на улицы.

Мюнхенские успехи вдохновили Гитлера на его первую акцию более широкого масштаба. В середине октября 1922 года патриотические союзы в Кобурге организовали демонстрацию, на которую они пригласили и Гитлера. Однако их предложение приехать «с небольшим сопровождением» было истолковано им весьма своеобразно — намериваясь полностью привлечь манифестацию на свою сторону, он прибыл в специальном поезде в сопровождении восьмисот сторонников с флагами и оркестром. Просьбу растерявшихся устроителей не выходить на улицы города единой колонной он, по его собственному свидетельству, «сразу же резко отверг» и приказал своему формированию пройти

«со всей музыкой». Поскольку же, несмотря на собравшиеся по обе стороны мостовой враждебные толпы, до ожидаемых массовых эксцессов и потасовок дело всё-таки не дошло, Гитлер велел своим отрядам сразу же после их появления в зале, где должен был проходить митинг, покинуть его и двинуться в обратный путь — правда, теперь ради придания ещё большего напряжения театральному действу без громкой музыки, а только под тревожную дробь барабанов. Из вспыхнувших, как и ожидалось, уличных баталий в виде отдельных рукопашных схваток в течение всего дня и части ночи национал-социалисты вышли в конечном счёте однозначно победителями — это был тот первый вызов авторитету государства, под знаком которого будут проходить события всего следующего года. Примечательно, что Кобург затем стал одним из главных оплотов НСДАП, а участники той поездки были отмечены памятной медалью. Когда же заносчивость гитлеровцев вылилась в последующие недели в новые слухи о путче, Швейер пригласил к себе Гитлера и предупредил его о последствиях, которые может иметь его не желающая знать удержу активность, — если дело дойдёт до применения силы, он прикажет полиции стрелять. Однако Гитлер заверил Швейера, что «никогда в жизни не пойдёт на путч», в чём и дал министру своё честное слово[363].

Так или иначе, но теперь он все более обретает уверенность в своей силе; запреты, уговоры и предупреждения, лишь демонстрируют ему, как много он, начав на пустом месте, сумел за это время добиться. В своём самолюбовании он уже отводит себе грандиозную роль, и в этом его самым впечатляющем образом утверждают только что завершившийся успешный поход Муссолини на Рим и захват власти в Анкаре Мустафой Кемаль-пашой. С напряжённым вниманием читает он донесение одного из своих доверенных лиц о том, как чернорубашечники благодаря своему энтузиазму и решительности, а также благожелательной пассивности армии вырывали в ходе своего бурного победного марша у «красных» и завоёвывали на свою сторону город за городом; после он скажет о сильнейшем импульсе, который был дан ему этим «переломным моментом истории». Правда, в вышедшем в 1923 году новом издании «Большой энциклопедии Брокхауза» он поименован ещё как «Гитлер, Георг» и представлен лишь парой рутинных биографических данных, но это отражало запоздалую реальность, которую он давно перерос. Как когда-то ещё подростком, он уже уносился на крыльях своей фантазии и видел, осязаемо и образно, как знамя со свастикой «развивается над берлинским дворцом и крестьянской хижиной», или в перерыве между делами, за идиллической чашкой кофе, внезапно,

словно вернувшись из далёкого мира грёз, заводил речь о том, что в грядущей войне «важнейшей задачей будет захват богатых зерном территорий Польши и Украины»[364].

Он все в большей мере освобождается от прежних привязанностей и кумиров, в Кобурге он обрёл веру в себя. «Отныне я пойду своим путём один», — заявляет он. Если ещё недавно видел он себя предтечей, и мечтал о том, «что однажды придёт некая железная голова, может быть, в грязных башмаках, но с чистой совестью и мощным кулаком, которая покончит с говорильней этих паркетных шаркунов и одарит нацию делом», то теперь он уже начинает, сперва пока ещё не решительно и эпизодически, считать таковым себя и в конце даже позволяет себе сравнение с Наполеоном[365]. Его командиры на войне отклонили его производство в унтер-офицеры со ссылкой на то, что он не сумеет заставить относиться к себе с уважением, теперь же своей необыкновенной, скоро получившей фатальный характер способностью порождать лояльность он доказывает свой талант руководителя. Ибо именно во имя его сторонники не останавливаются ни перед чем, ради него они готовы идти на жертву, поругание и — уже с самого начала — даже на преступление, так что НСДАП постепенно все более утрачивает характер политической партии и превращается в своего рода связанное клятвой верности сообщество. Он любит, когда близкое окружение называет его «Вольфом» — «волком» (право на это имела и мужеподобная фрау Брукман) — он усматривал тут древнегерманскую форму имени «Адольф», и это отвечает его картине мира-джунглей и внушает представление о силе, агрессивности и одиночестве. Иногда он будет использовать это имя как псевдоним, а впоследствии даст его в качестве фамилии своей сестре, которая будет вести у него хозяйство; и название города, где производятся автомашины «Фольксваген», имеет то же происхождение: «По Вам, мой фюрер, этот город должен быть назван „Вольфсбург“, — так заявил ему Роберт Лей, приступая к закладке и строительству завода[366].

Начиная с этого времени, он приступает к тщательной стилизации своего «я» и приданию ему легендарных черт — уже очень рано его одолевает чувство, что за всей его жизнью и поступками следит сама «богиня История». И вот он фальсифицирует подлинный номер своего партбилета, выдавая № 555 за № 7, дабы не только обеспечить себе ранг в более раннем и узком кругу, но и ауру магического числа. Одновременно он начинает наводить тень и на свою личную жизнь — он принципиально не приглашает к себе никого даже из своего ближайшего окружения и старается, по возможности, держать и

их самих на дистанции друг от друга. Одного из своих прежних знакомых, встреченного в эту пору в Мюнхене, он просит «самым настоятельным образом никому, в том числе и его ближайшим товарищам по партии, не давать никаких сведений о его молодости в Вене и Мюнхене»; другой его знакомый из числа «старых борцов», не без умиления вспоминал потом, прежде, мол, бывали времена, когда Гитлер ещё танцевал с его женой. Он отрабатывает позиции, позы, манеру казаться изваянием; поначалу что-то не получается, производит впечатление судорожности. От внимательного глаза и в последующие годы не укроется постоянная смена заученного самообладания и обморочной безудержности в буквальном смысле этого слова, цезарских повадок и дремоты, искусственного и естественного существования. На этой ранней стадии выработки стиля он, правда, кажется ещё не совсем справляется с деталями предназначенного им для своей роли образа, отдельные элементы пока ещё не связаны воедино; один итальянский фашист видит его «Юлием Цезарем в тирольской шляпчонке»[367].

Однако как бы то ни было, это было исполнением его юношеской мечты: не угнетаемый «работой ради куска хлеба насущного» и повинуясь только собственным влечениям, он был «хозяином своего времени» и имел, помимо того, в своём распоряжении драматизм, фурор, блеск и аплодисменты, т. е. в каком-то приближении, жил жизнью художника. Он ездил на быстроходных машинах, оказался в центре внимания великосветских домов, среди аристократов, промышленных магнатов, известных личностей, учёных. В моменты неуверенности он подумывал о том, чтобы найти себе своё место буржуа в этих жизненных обстоятельствах; ведь мне немного надо, думал он в таких случаях: «Мне только хотелось, чтобы движение существовало, а я имел заработок как хозяин „Фелькишер беобахтер“[368].

Но это были лишь настроения. Они не отвечали его натуре — раскованной, с вывертами и всегда нацеленной на максимум. Он не знает меры, его энергия ставит его всякий раз перед самыми крайними альтернативами; «все в нём толкало к радикальным и тотальным решениям», — такую оценку ему давал ещё друг его юношеских лет; теперь же другой называет его чуть ли не фанатиком, «склонным к безумству и избалованным до безудержности»[369].

Во всяком случае, время мучительной анонимности прошло, — это Гитлер знает уже точно, — и позади лежит удивительный путь. И любой непредвзятый наблюдатель, объективно оценивая молодого Гитлера, не может не признать

этого перелома, как и не увидеть бесцветности и дремотной незначительности тех тридцати лет, которые он оставил позади три года назад. И надо то всего ничего, чтобы эта жизнь казалась составленной из двух несовместимых друг с другом кусков. С необычайной смелостью и хладнокровием вышла она из своего несамостоятельного состояния, и оставалось только преодолеть некоторую тактическую неуверенность и приобрести некоторую сноровку. Все же остальное указывало теперь на огромный и безудержный масштаб, и в любом случае Гитлер бывал на высоте в каждой из уготованных ему ситуаций — его взгляд моментально схватывал людей, интересы, силы, идеи и подчинял их его целям — наращиванию власти.

Недаром его биографы уделяют так много места поиску какого-то особого события, послужившего причиной этого прорыва, и так упорно занимаются старыми представлениями об инкубационных периодах, сумрачной скованности и даже бесовской силе. И всё же вернее было бы сказать, что и сегодня он остаётся все тем же, вчерашним, но дело в том, что теперь он нашёл отрезок коллективной сопряжённости, который упорядочил все неизменно присутствовавшие элементы в новую, формулу личности и сделал из чудака искусителя-демагога, и из «чокнутого» — «гения». Как он явился катализатором масс, который, не добавляя ничего нового, привёл в движение могучие ускорения и кризисные процессы, так и массы катализировали его, они были его созданием, и он — одновременно — их творением. «Я знаю, — сформулирует он позднее, обращаясь к своей публике, это обстоятельство в чуть ли не библейской фразе, — все, чем вы являетесь, это благодаря мне, а все, чем являюсь я, это только благодаря вам одним»[370].

В этом и содержится объяснение той своеобразной застылости, которая почти с самого начала присуща этому явлению. Ведь, действительно, картина мира у Гитлера, как он сам не раз будет повторять, не изменилась с венских дней, ибо её элементы остались теми же, только возбуждающий зов масс зарядил их мощным напряжением. Но сами аффекты, все эти страхи и вожделения, уже не менялись, как не менялся художественный вкус Гитлера; даже его личные пристрастия чуть ли не буквально соотносятся с тем, что зафиксировалось в годы детства и юности: Тристан и мучные блюда, неоклассицизм, юдофобия, Шпицвег или ненасытный аппетит на пирожные с кремом — все это пережило время, и когда он потом как-то скажет, что был в Вене «в духовном отношении недоноском»[371], то кое в чём он и останется таковым навсегда. Ни одно событие интеллектуальной или художественной жизни, ни одна книга и

ни одна идея наступившего столетия так до него и не дойдут и уж тем более никак не скажутся на нём. И тот, кто сравнит рисунки и тщательнейше выписанные акварели двадцатилетнего рисовальщика почтовых открыток с работами солдата первой мировой войны или, ещё двадцать лет спустя, канцлера, то встретится в них со все тем же впечатлением внезапной застылости, никакой личный опыт, никакой процесс развития тут не отразился, и сам он остаётся неподвижным и окаменевшим, каким был когда-то.

Он умел приспосабливаться и учиться только в методике и тактике. Начиная с лета 1923 года нация была буквально в осаде кризисов и бед. И казалось, что обстоятельства давали самый перспективный шаг тому, кто презирал их, кто бросал вызов не политике, а судьбе и обещал не улучшить ситуацию, а радикально целиком изменить её. «Я гарантирую вам, — так формулировал Гитлер, — что невозможное всегда удаётся. Самое невероятное — это и есть самое верное».

Глава III
ВЫЗОВ ВЛАСТИ

Для меня и для нас все неудачи всегда были не чем иным, как ударами кнута, которые вот тогда-то и гнали нас по-настоящему вперёд.

Адольф Гитлер

Партсъезд в Мюнхене. — Битва за Рур. — Гитлер выходит из игры. — Примат внутренней политики. — Источники финансирования партии. — «Кампфбунд». — Первомайское поражение. — Утрата мужества. — Руководители «Кампфбунда». — Слухи о путче. — Профессия — спасение Германии. — Ревнивые соперники. — Решение организовать путч. — Дилемма и оправдание Гитлера. — Байрейт и Хьюстон Стюарт Чемберлен.

На последние дни января 1923 года Гитлер назначил созыв в Мюнхене партийного съезда, который хотел превратить во внушительную демонстрацию своей силы. Были привлечены пять тысяч штурмовиков со всей Баварии — они должны были пройти перед фюрером на так называемом Марсовом поле, площади в одном из мюнхенских пригородов, здесь же должно было состояться первое торжественное освящение штандартов СА. Одновременно планировалось проведение массовых митингов не менее чем в двенадцати залах города, для увеселения народа были заангажированы оркестры, группы народного танца и известный клоун Фердль. Этот размах, а также курсировавшие уже в течение нескольких недель слухи о предстоящем путче НСДАП наглядно свидетельствовали о возросшей роли Гитлера в политическом силовом поле.

Мера, которой баварские власти реагировали на делавшиеся в вызывающей форме заявки Гитлера, иллюстрировала все большую несостоятельность их дилеммы в отношении НСДАП. Быстрый подъем партии повлёк за собою появление на политической сцене некой мощной структуры, чья роль, как это ни странно, оставалась неопределённой. С одной стороны, она

решительно проявляла свой национализм, и её энергия приносила немалую пользу в борьбе с левыми; однако одновременно она проявляла и полное неуважение как к «их превосходительствам», так и к правилам игры, и то и дело нарушала порядок, защищать который она так рвалась. Желание властей продемонстрировать Гитлеру, до каких границ государство может терпеть его своеволие, и было не в последнюю очередь причиной того, что в июле 1922 года ему пришлось отсидеть в тюрьме четыре недели из тех трех месяцев, к которым он был приговорён за то, что им и его людьми было сорвано собрание Баварского союза и избит руководитель последнего, инженер Отто Баллерштедт. На первом же после отсидки выступлении Гитлер был «под нескончаемую овацию принесён на руках на трибуну», а «Фелькишер беобахтер» назвала его «самым популярным и самым ненавидимым человеком в Мюнхене»[372]. Одним словом, создалась ситуация, чреватая трудно предсказуемыми последствиями и для него. И в наступившем 1923 году Гитлер продолжает пытаться переменчивой тактической игрой — то обхаживаниями, то угрозами — демонстрировать своё неопределённое отношение к государственной власти.

Не имея ясного представления о том, как же максимально целесообразно относиться к этому достаточно одиозному деятелю, но в то же время доброму националисту, власти со свойственной им половинчатостью пошли на такой компромисс: они запретили освящение знамён под открытым небом и половину других объявленных Гитлером мероприятий, а заодно и митинг, который планировали провести за день до того социал-демократы. Эдуард Норц, сменивший на посту полицай-президента симпатизировавшего национал-социалистам Эрнста Пенера, остался глух ко всем мольбам Гитлера снять запрет, не только, по словам последнего, означавший тяжёлый удар по национальному движению, но и несчастье для всего отечества. В ответ этот холодный седоволосый человек скупо возразил, что есть авторитет государства, которому должны подчиняться и патриоты, а когда Гитлер затем вошёл в раж и стал кричать, что он в любом случае выведет штурмовиков на улицу, что полиции он не боится и пойдёт в первом ряду марширующих, и пусть его застрелят, это не произвело на чиновника никакого впечатления. Более того, спешно собравшийся совет министров объявил чрезвычайное положение и отменил тем самым все — связанные с партсъездом мероприятия; видимо, пришло время напомнить фюреру национал-социалистов о правилах игры.

Гитлер был в отчаянии — ведь в этот момент на карту было

поставлено ни много ни мало как его политическое будущее. А правила игры, как он их понимал, допускали и беспредельный вызов государственной власти без какой-либо реакции с её стороны, поскольку его амбиции были лишь более последовательным и более радикальным выражением её собственных устремлений. И только когда в дело вмешался рейхсвер, оказывавший поддержку партии ещё со времён Дрекслера, стала, как будто, снова вырисовываться возможность нахождения выхода. Эрнсту Рему и барону фон Эппу удалось уговорить командующего баварским рейхсвером генерала фон Лоссова встретиться с Гитлером. Ставший нервным и неуверенным фюрер НСДАП заявил, что готов пойти на любые уступки и что сразу же после съезда, 28 января, он «снова посетит Его превосходительство». Так или иначе, но Лоссов, скорее отчуждённо смотревший на это эксцентрическое явление, согласился в итоге дать знать правительству, что он «исходя из интересов обороны страны, с сожалением отнёсся бы к подавлению национально-патриотических союзов». И действительно — после этого запрет был снят, но, дабы сохранить лицо, Норц пригласил фюрера НСДАП встретиться с ним во второй раз и предложил ему сократить число собраний до шести, а освящение штандартов провести не на Марсовом поле, а в расположенном поблизости цирке «Кроне». Гитлер, видя, что игра выиграна, дал своё уклончивое согласие. А затем провёл под девизом «Пробудись, Германия!» все двенадцать собраний, а вместе с ними и — в снежную пургу и в присутствии пяти тысяч штурмовиков — на Марсовом поле грандиозную церемонию освящения штандартов, эскизы которых были выполнены им самим. «Или НСДАП — это грядущее движение Германии, — провозгласил он перед своими сторонниками, — и тогда его не удержит ни один дьявол, или же оно не является таковым, и тогда оно заслуживает, чтобы его уничтожили». Мимо плакатов и расклеенных на стенах объявлений о чрезвычайном положении штурмовые отряды СА продефилировали по улицам в сопровождении нескольких собственных оркестров, разражаясь восторженными криками и распевая свои песни, угрожавшие этой еврейской республике. А сам Гитлер принимал на Шванталерштрассе парад своих формирований, большинство из которых к тому времени уже носило форменное обмундирование.

Это явилось его впечатляющей победой над государственной властью, но победой, обозначившей одновременно и исходную позицию для конфликтов в последующие месяцы. Многие увидели в этом событии убедительное доказательство того, что Гитлер обладает не только способностью произносить эффектные

речи, но и политической ловкостью, а также более крепкими нервами, чем его противники. И усмешки, которые столь продолжительное время вызывал неистовый пыл его выступлений, сменяются ныне восхищёнными минами, а к возмущённым и наивным личностям, что так долго определяли психологический портрет партии, присоединяются теперь люди, обладающие тонким чутьём на грядущее. С февраля по ноябрь 1923 года в НСДАП вступают 35000 новых членов, а СА насчитывают уже почти 15000 человек; к этому же времени стоимость имущества партии возрастает до 173000 марок золотом[373]. Одновременно всю Баварию охватывает теперь уже куда более плотня сеть агитационно-пропагандистских мероприятий. А «Фелькишер беобахтер» с 8 февраля начинает выходить как ежедневная газета. Её номинальным главным редактором ещё в течение нескольких месяцев остаётся замотанный и уже серьёзно больной Дитрих Эккарт, но, по существу, с самого начала марта руководство ею переходит к Альфреду Розенбергу.

Та чреватая последствиями уступчивость, которая была проявлена по отношению к Гитлеру военными и гражданскими инстанциями, объяснялась в первую очередь кризисом, потрясавшим в эту пору страну до самых её основ. В первой половине января Франция, которая была не в силах преодолеть свои комплексы страха перед соседом, заняла, ссылаясь на букву Версальского договора, Рурскую область и дала тем самым сигнал к спуску с предохранителя последних тормозивших кризис факторов. Уже беспорядки первых послевоенных лет, гнёт репарационного обложения, безудержный вывоз капитала, а также — и это главное — дефицит любого рода резервов в значительной мере затрудняли оздоровление разрушенной войной экономики. К этому ещё добавлялась и непрекращающаяся активность правого и левого радикализма, подрывавшая всякий раз и без того весьма слабую веру заграницы в стабильность ситуации в Германии, и примечательно в этой связи, что первое крупное падение марки наблюдается сразу же после убийства немецкого министра иностранных дел Вальтера Ратенау в июне 1922 года. Но только теперь, под воздействием французской интервенции, инфляция получила то катастрофическое ускорение, которое придало ей столь гротесковые черты и подавило у людей не только желание помогать существующему строю, но и чувство уверенности в прочности хоть чего-то вообще, и приучило их жить в «атмосфере невозможного»[374]. Это было крушением целого мира, его понятий, его норм и его морали. И последствия этого были

непредсказуемы.

Правда, в этот момент интерес общественности концентрировался в значительно большей степени на попытке национального самоутверждения; бумажные деньги, которые в конечном итоге стали оцениваться нередко просто на вес, служили лишь фантастическим фоном происходящего. 11 января правительство призвало немцев к пассивному сопротивлению и вскоре вслед за тем дало указание своим служащим не выполнять указаний оккупационных властей. Вступавшие в Рурскую область французские войска встречали на улицах огромные скопления людей, с неприязнью и ожесточением певших «Вахту на Рейне». На этот вызов французы снова ответили целым набором изощрённых унижений, драконовская оккупационная юстиция налагала произвольно тяжёлые наказания, многочисленные стычки умножали возмущение и той и другой стороны. В конце марта французские войска расстреляли из пулемётов демонстрацию рабочих на территории завода Круппа в Эссене — было тринадцать убитых и свыше тридцати раненых. В похоронах приняло участие более полумиллиона человек, а французский военный суд приговорил хозяина фирмы и восемь его служащих, занимавших руководящие посты, к пятнадцати и двадцати годам тюрьмы.

Эти события пробудили чувство единения, какого тут не наблюдалось с августа 1914 года. Но под маской национального единства различные силы пытались извлечь выгоду каждая для себя. Запрещённые добровольческие отряды воспользовались моментом, чтобы выйти из подполья и своими активными действиями обострить провозглашённое правительством пассивное сопротивление. Одновременно левые радикалы продемонстрировали своё стремление восстановить утраченные ими позиции в Саксонии и Центральной Германии, в то время как правые укрепляли свой баварский бастион; одно время на земельной границе уже стояли друг против друга, готовые открыть огонь, пролетарские сотни и подразделения добровольческого отряда Эрхардта[375]. Во многих крупных городах прошли голодные бунты. А в это время французы и бельгийцы на Западе пользовались ситуацией, чтобы стимулировать сепаратистское движение, которое, впрочем, вскоре заглохло по причине собственной бесперспективности. Казалось, что основанная четыре года назад на антагонизмах и с огромным трудом выжившая республика находится уже на пороге краха.

Свою вновь обретённую самоуверенность Гитлер продемонстрировал весьма вызывающим и рискованным жестом

— он вышел из национального единого фронта и пригрозил своим опешившим сторонникам, что исключит из НСДАП всякого, кто будет активно участвовать в сопротивлении Франции; были случаи, что он и выполнял эту угрозу. «Если они ещё не усекли, что грёзы о примирении — это наша смерть, то им ничем не поможешь», — парировал он все сомнения[376]. Конечно, он заранее знал, какие проблемы возникнут в результате этого его решения, но как собственная интуиция, так и тактические соображения требовали от него, чтобы его партия не затерялась в ряду многих других объединений — рядом с буржуазными союзами, марксистами, евреями — в анонимности широкого национального сопротивления. И как он боялся, что борьба за Рур объединит народ вокруг правительства и укрепит режим, то так же и надеялся использовать возникший в результате его интриг хаос для своих далеко идущих путчистских замыслов. «Пока нация не сметёт убийц внутри своих границ, — писал он в „Фелькишер беобахтер“, — успех вовне невозможен. В то время, как устно и письменно направляются протесты Франции, истинный смертельный враг немецкого народа затаился внутри собственных стен». С характерной последовательностью, вопреки всем нападкам и даже вопреки подавляющему авторитету Людендорфа, он настаивал на своём требовании, заключавшемся в том, что сначала следует рассчитаться с внутренним врагом. Когда главнокомандующий вооружёнными силами генерал фон Сект, беседуя с Гитлером в начале марта, спросил, присоединится ли Гитлер со своими сторонниками в случае перехода к активному сопротивлению к рейхсверу, то получил недвусмысленный ответ, что сперва нужно сбросить правительство. И представителю канцлера Куно он тоже четырнадцать дней спустя заявил, что сперва следует покончить с внутренним врагом. «Надо призывать не „долой Францию“, а долой предателей отечества, долой ноябрьских преступников!»[377]

Поведение Гитлера очень часто интерпретируется как свидетельство его беспринципности и бессовестности. Однако та решимость, с которой он пошёл на опасность выставления себя в непопулярном двойном свете, указывает скорее на то, что именно его принципы и не позволяли ему иного выбора, да и сам он потом считал то решение одним из ключевых в своей жизни. Партнёры и покровители его восхождения, знать и руководители консервативного лагеря будут постоянно считать его одним из своих и, видя в нём в первую очередь национального деятеля, наперебой стараться заручиться его близостью. Однако уже первое политическое решение Гитлера, выходившее за локальные

рамки, дезавуировало все эти псевдодружбы — от Кара до Папена — и недвусмысленно выявило, что, будучи поставлен перед выбором, он ведёт себя как истинный революционер — без каких-либо увёрток он отдал предпочтение позиции революционной, а не национальной. Так же будет он поступать и в последующие годы, а в 1930 году даже заявит, что в случае нападения поляков он предпочёл бы временно пожертвовать Восточной Пруссией и Силезией, чем встать в ряды защитников существующего режима[378]. Правда, он заявит также, что стал бы презирать себя, если бы «в момент конфликта не почувствовал себя в первую очередь немцем»; но на деле он, в противоположность своим возбуждённым приверженцам, действовал хладнокровно и последовательно, отнюдь не руководствуясь в своей тактике собственными патриотическими тирадами, и, перейдя в атаку, высмеивал как пассивное сопротивление, которое хотело «бить баклуши и добить» противника, так и тех, кто собирался актами саботажа поставить Францию на колени. «Чем была бы сегодня Франция, — восклицал он, — если бы в Германии не было интернационалистов, а были бы, только национал-социалисты! И даже если бы сначала мы не имели ничего, кроме наших кулаков! Но если бы шестьдесят миллионов человек были одержимы единой волей — быть фанатичными националистами, то из кулака выковалось бы оружие»[379]. В этой фразе — весь Гитлер: рациональная посылка, приумноженная чудовищным заклинанием воли, а в глубине — стимулирующее видение. Нет никакого сомнения в том, что стремление дать отпор было у Гитлера нисколько не слабее, чем у всех других сил и партий; не факт сопротивления как таковой, а то обстоятельство, что сопротивление носило пассивный характер, то есть было полусопротивлением, и побудило его наряду с упомянутыми причинами, к отказу от него. За этим стояло убеждение, что последовательную и успешную внешнюю политику можно проводить только тогда, когда есть опора на сплочённую и по-революционному объединённую нацию; это был — полярно всей немецкой политической традиции — своего рода примат внутренней политики, наметившийся впервые в его письме из действующей армии в феврале 1915 года и остававшийся его максимой вплоть до полного завоевания власти. Когда обозначился принесённый пассивным сопротивлением ущерб, и Гитлер своим мелодраматическим внутренним взором уже видел предстоящий новый крах Германии и отделение Рурской области, он в одной из своих страстных речей рисует для правительства картину истинного сопротивления и как бы предваряет здесь свой приказ в марте 1945 года о проведении операции «Выжженная

земля»:

> «Что из того, если в катастрофе нашего времени погибнут промышленные сооружения? Доменные печи могут быть разрушены, угольные шахты затоплены, пусть превратятся в пепелища дома — только бы после всего этого поднялся народ, сильный, непоколебимый, готовый идти до конца! Ведь если вновь поднимется немецкий народ, тогда вновь поднимется и всё остальное. Но если все это останется стоять, а народ погибнет от внутреннего разложения, то дымовые трубы, заводы и моря домов — это же будет не чем иным, как могильными камнями этого народа! Рурская область должна была бы стать немецкой Москвой! Мы должны были бы доказать, что немецкий народ 1923 года — это уже не тот народ, что в 1919 году… Обесчещенный и опозоренный народ теперь снова стал народом героев! За полыхающим Руром такой народ организовал бы сопротивление не на жизнь, а на смерть. Если бы действовали так, то Франция заколебалась бы делать следующий шаг… Взрываются печь за печью, мост за мостом! Германия просыпается! Армия Франции не позволила бы гнать себя в ужасы такого светопреставления! Клянусь Богом, наше положение было бы иным!»[380]

Понятое или разгаданное лишь немногими современниками решение Гитлера не принимать участие в борьбе за Рур явится и причиной все более широко распространяющихся слухов, будто НСДАП создала свою разветвлённую организацию, развернула свою пропаганду, снабжение обмундированием и оружием при помощи французских денег, однако сколько-нибудь убедительных доказательств этого предъявлено так и не будет; да и вообще вопрос о том, какие политические или экономические интересы пытались оказывать воздействие на растущую партию, и до сего дня выяснен только частично. Во всяком случае, расходы НСДАП — особенно с того времени, как руководство партией взял в свои руки Гитлер — были столь явно непропорциональны числу её членов, что в поиске его весьма богатых кредиторов нельзя ограничиваться простой ссылкой на дьявольский комплекс, как это делают левые, пытающиеся таким путём успокоить свою все ещё кровоточащую рану от нанесённого им «антиисторическим национал-социализмом» поражения и объясняющие это поражение только закулисным сговором тёмных сил монополистического капитала. Национал-социалисты сами своим

истеричным засекречиванием создадут почву для самых фантастических предположений, пытаясь напустить в вопрос о финансировании столько тумана. Все дела, связанные с многочисленными процессами о защите чести и достоинства — а они в годы Веймарской республики шли из-за все новых и новых обвинений нескончаемым потоком — были после 1933 года прекращены либо уничтожены, и вообще в партии с первых дней её становления действовало правило, по которому документы, связанные с материальными вспомоществованиями, не хранились, а в дневнике партийной канцелярии очень редко встречаются соответствующие пометки, причём, как правило, с таким добавлением: «Распоряжается лично Дрекслер». Рассказывают о случае, когда Гитлер запретил участникам собрания в мюнхенском «Киндлькеллере» записывать его собственный рассказ об одной такой сделке[381].

Финансовая база партии составлялась, несомненно, из членских взносов, небольших пожертвований её рьяных сторонников, сумм, вырученных от продажи билетов на выступления Гитлера, и денег, собиравшихся во время митингов и исчислявшихся иной раз несколькими тысячами марок. Некоторые из её ранних приверженцев, как, например, погибший 9 ноября у «Фельдхеррнхалле» Оскар Кёрнер, владелец маленького магазина игрушек, буквально разорились на помощи партии, владельцы торговых и иных заведений помогали ей, продавая членам партии товары со скидкой, другие передавали партии драгоценности или предметы искусства, а её немолодые одинокие сторонницы, получавшие в угаре ночных митингов от выступлений Гитлера уже, казалось, навсегда заказанное им наслаждение, составляли завещания в пользу НСДАП. Богатые друзья, вроде Бехштайнов, Брукманов или «Путци» Ханфштенгля, помогали ей порою очень значительными суммами. Помимо взимания членских взносов партия находила также и другие пути использовать своих членов для пополнения партийной казны — выпускались не облагавшиеся налогом облигации, которые они должны были приобретать и распространять; согласно полицейскому расследованию, только в первой половине 1921 года было выпущено не менее 40. 000 таких облигаций по десять марок каждая[382].

И всё-таки в первые годы своего существования партия постоянно нуждалась в деньгах и до середины 1921 года не могла себе позволить содержать собственного кассира; по свидетельству одного из членов партии, в тот период у расклейщиков плакатов порой даже не было средств на покупку клея, а осенью 1921 года Гитлеру пришлось по причине отсутствия финансов отказаться от

проведения запланированного массового митинга в цирке «Кроне». Тяжёлое материальное положение смягчилось только летом 1922 года, когда партия благодаря своей лихорадочной активности стала все больше обращать на себя внимание. Начиная с этого времени, у неё устанавливаются и развиваются более интенсивные контакты с сетью покровителей и кредиторов, которые не были её прямыми сторонниками, а представляли состоятельные, напуганные угрозой коммунистической революции слои буржуазного общества. В организации отпора этой угрозе они поддерживали все способные к сопротивлению силы — от воинственных боевых организаций правого крыла до сектантских листков-еженедельников и самой немыслимой расцветки писак на злободневные темы, только бы у них был протестующий образ мыслей; и правильно будет, наверное, сказать, что они не столько хотели помочь Гитлеру выбиться наверх, сколько старались использовать эту наиболее энергичную силу против революции.

Установлению контактов с влиятельными и сильными в финансовом отношении кругами баварского общества Гитлер был обязан, помимо Дитриха Эккарта, прежде всего Максу Эрвину фон Шойбнер-Рихтеру и ещё, пожалуй, Людендорфу, получавшему, в свою очередь, от промышленников и крупных землевладельцев значительные средства, которые он по своему усмотрению распределял среди боевых организаций «фелькише». И в то время как Эрнст Рем добывал деньги, оружие и снаряжение, друг Дитриха Эккарта д-р Эмиль Ганссер установил контакт с экономической элитой вне Баварии, которая объединялась в «Национальном клубе» и перед которой Гитлер впервые получил возможность изложить свои планы в 1922 году. Его крупными спонсорами стали паровозный фабрикант Борзиг, Фриц Тиссен из Объединения сталелитейных заводов, тайный советник Кирдорф, заводы «Даймлер» и Баварский союз промышленников. Помимо того партии, столь успешно заявлявшей о себе, оказывали материальную поддержку ещё и чехословацкие, скандинавские и в первую очередь швейцарские финансовые круги. Осенью 1923 года Гитлер съездил в Цюрих и вернулся оттуда, как говорили, «с сундуком, набитым швейцарскими франками и долларовыми купюрами»[383]. Да и слывший тёмной лошадкой, богатый на выдумки Курт В. Людеке тоже добывал из до сего времени так и не выясненных, очевидно, иностранных источников немалые средства — он финансировал, к примеру, «собственный» отряд СА, насчитывавший в итоге более пятидесяти человек; вспомоществования поступали из Венгрии, а также от русских и прибалтийских эмигрантских кругов, и

некоторые партийные функционеры, в том числе штабс-фельдфебель командования СА Юлиус Шрекк, ставший потом личным шофёром Гитлера, или же капитан-лейтенант Хофман, бывший одно время начальником штаба СА, получали во время инфляции оклады в валюте. И даже бордель, организованный по инициативе Шойбнер-Рихтера одним отставным офицером на берлинской Тауэнтцienштрассе, служил национальному делу и переводил свои доходы в адрес штаб-квартиры партии в Мюнхене[384].

Побудительные причины, по которым оказывалась поддержка партии, были столь же различными, как и источники финансирования. Правильно, конечно, утверждение, что все спектакли, устраивавшиеся Гитлером начиная с лета 1922 года, были бы без этого просто невозможны, но верно так же и то, что неудержимо шедший в гору демагог, впервые переживавший после стольких лет одинокого прозябания и отдалённости от людей упоительное чувство своей неотразимости, без каких бы то ни было сковывающих обязательств за материальную помощь. Антикапиталистическая аффектация национал-социализма никогда не воспринималась по-настоящему всерьёз ревнивым духом времени левого толка, поскольку она так и оставалась неопределённой и лишённой всякого обоснования и на деле даже в своём протесте против ростовщиков, спекулянтов и универмагов не поднималась, собственно говоря, выше взглядов мелких домовладельцев и лавочников. Однако то обстоятельство, что на поверку у неё не было никакого инструментария, который бы превращал этот гром в молнию, скорее играло как раз на руку правдоподобности её возмущения, даже если объектом последнего была мораль, а не материальные основы имущих классов. Рекламный эффект иррационализма, присущего движению, очень убедительно был выражен одним из ранних ораторов партии, который, обращаясь к отчаявшимся, волнующимся массам, восклицал: «Потерпите ещё совсем немного! Но когда мы призовём вас, то пощадите сберегательные кассы, потому что там лежат наши пролетарские сэкономленные пфенниги, а идите на штурм крупных банков и разожгите огромный костёр! И повесьте на трамвайных дугах чёрных и белых жидов!»

Подобного рода излияниями, преисполненными подобного же рода эмоциями, на этом мрачном фоне инфляции и нищеты масс, своими постоянно повторяющимися масштабными обличениями лживости капитализма Гитлер мобилизует немало сторонников — и это вопреки всем капиталистическим ассигнованиям. Управляющий делами партии Макс Аман, давая

показания мюнхенской полиции после попытки путча в ноябре 1923 года, будет утверждать, что заимодавцам Гитлер «вместо расписки давал программу партии»[385], и, несмотря на все сомнения в целом, можно исходить из того, что добиться от него чего-то, кроме тактических уступок, было невозможно, как и вообще невозможно представить совместимость черт коррумпированности со своеобычным портретом этого человека, ибо это было бы недооценкой его косности, его возросшей к этому времени самоуверенности и мощи его маниакальных представлений.

Успешно выдержанная в конце января проба сил с государственной властью поставила национал-социалистов во главе всех праворадикальных групп в Баварии. Прокатилась волна собраний, демонстраций и парадов, на которых они вели себя ещё более шумно и самоуверенно, нежели прежде. Слухи о путче, планы переворота переполняли политическую арену, и самые разные настроения, обильно питаемые страстными лозунгами фюрера НСДАП, выливались в ожидание, что вот-вот наступит общее изменение ситуации — не какой-то, как сформулировал Гитлер, «легкомысленный путч», а «всеобщая расправа совершенно неслыханного рода». Рука об руку с этим разворачивалась и усиленная пропаганда культа фюрера, в ходе которой он внедрял опыт последних недель, ибо они научили его тому, что и неожиданные, провокационные решения могут иметь успех, если они в достаточной степени защищены нимбом непогрешимого фюрера. Теперь уже утверждается, что в лице Гитлера «у всех перед глазами встаёт свет идеи всего движения» и что он является сегодня «авторитетным вождём новой народной Германии», а «мы следуем за ним туда, куда он хочет». Такое только сейчас ставшее обретать культовые формы восхваление фюрера достигло своего апогея во второй половине апреля в связи с днём рождения Гитлера. Альфред Розенберг воспевает в «Фелькишер беобахтер» «мистическое звучание» фамилии Гитлер, в цирке «Кроне» собираются все главари партии, представители национальных союзы, а также девять тысяч его сторонников на торжественный митинг, где организуется сбор средств в «фонд Гитлера» на финансирование борьбы движения, и Герман Эссер называет его в своей приветственной речи человеком, перед которым «ныне начинает отступать ночь»[386].

Главным образом для того, чтобы оказаться на высоте положения в приближающийся, по всем признакам, решительный момент, и был заключён по настоянию Рема ещё в начале февраля союз с рядом воинствующих националистических организаций —

с руководимым капитаном Хайссом «Имперским флагом», «Союзом Оберланд», «Патриотическим союзом Мюнхена», а также «Боевым союзом Нижняя Бавария». Был создан комитет под названием «Рабочее содружество боевых патриотических союзов» и образовано военное командование этого объединения во главе с подполковником Германом Крибелем.

В лице этого блока возник, таким образом, антипод уже существовавшей головной организации националистических групп — «Объединению патриотических союзов Баварии», в котором под началом бывшего премьер-министра фон Кара и преподавателя гимназии Бауэра объединялись самые разнообразные бело-голубые, пангерманские, монархические, а частично и расистские тенденции, но черно-бело-красный боевой союз — «Кампфбунд» — Крибеля был более воинственным, радикальным и «фанатичным», он вдохновлялся мечтой о перевороте по примеру Муссолини или Кемаль-паши Ататюрка. Однако это пополнение, одновременно лишившее Гитлера и его неограниченного до той поры единоначалия, принесло с собой и множество проблем, что Гитлеру и пришлось испытать 1 мая, когда он, нетерпеливый и избалованный своим счастьем игрока, вновь попытался пойти на противоборство с государственной властью.

Сначала провалилась — из-за солдатского тугодумия партнёров — его попытка дать «Кампфбунду» программу, а в течение весны ему уже приходится наблюдать, как Крибель, Рем и рейхсвер уводят от него СА, которые он создавал как революционное войско, преданное лично ему, — постоянно имея в виду свою цель подготовить тайный резерв для разрешённой стотысячной армии, они проводили строевые занятия со «штандартами» (так назывались три формирования, равные по численности полкам), устраивали ночные марши и дневные парады, на которых, правда, Гитлер мог появляться, как и все, в гражданской одежде и выступать при случае с речами, но проявлять свои командные амбиции либо уже не мог совсем, либо только с большим трудом. С бессильным негодованием взирал он на то, как штурмовые отряды используются не по назначению и превращаются из идейного авангарда в армейские эрзац-подразделения. И вот, чтобы восстановить своё единоначалие, он несколько месяцев спустя поручает одному из своих старых сподвижников, отставному лейтенанту Йозефу Берхтольду, создание своего рода штабной охраны, получившей наименование «Ударного отряда Гитлера»; именно она и стала прообразом будущих СС.

В конце апреля на встрече Гитлера с руководством

«Кампфбунда» принимается решение рассматривать ежегодную первомайскую демонстрацию левых партий как провокацию и использовать все средства, чтобы сорвать её. Одновременно они планируют провести в память четвёртой годовщины со дня разгрома власти Советов свою массовую демонстрацию. Когда же нерешительное правительство фон Книллинга, не извлёкшее уроков из январского поражения, приняло ультиматум «Кампфбунда» лишь наполовину, — разрешив левым только проведение митинга на лугу Терезиенвизе и запретив все уличные шествия, — Гитлер разыграл увенчавшееся уже однажды успехом бурное возмущение. Как и в январе, он попытался напустить на гражданские инстанции военные власти. 30 апреля, в чрезвычайно напряжённой ситуации, когда Крибель, Бауэр и только что назначенный руководителем СА Герман Геринг прибыли в резиденцию правительства и потребовали введения чрезвычайного положения против левых, Гитлер направился в сопровождении Рема опять к генералу фон Лоссову и стал настаивать не только на вмешательстве рейхсвера, но и, как это предусматривалось генеральным соглашением, на раздаче патриотическим союзам оружия с армейских складов. И был буквально ошарашен, когда генерал почти без объяснений отклонил и то, и другое требование и сухо сказал, что он сам знает, что ему нужно делать для безопасности государства, и прикажет стрелять в любого, кто будет подстрекать к беспорядкам. В том же духе был получен ответ и от начальника земельной полиции полковника Зайссера.

Гитлер вновь поставил себя в почти безвыходное положение, и, казалось, ему не оставалось уже ничего иного, как с позором отказаться от заявленного с такой помпой намерения сорвать первомайский праздник. Но он избежал этого поражения чрезвычайно характерным манёвром, резко увеличив ставку. Ещё в разговоре с Лоссовом он мрачно угрожал, что «красные митинги» состоятся, если только демонстранты будут «маршировать через его труп», и в этих словах было столько азартного фанатизма, столько дешёвой показной страсти, что в тот момент — как и много раз в последующем — показалось, будто все это на полном серьёзе и свидетельствует о его крайней решимости отрезать все пути к отступлению и поставить само своё существование перед категорической альтернативой — все или ничего.

Так или иначе, но Гитлер отдаёт теперь команду ускорить приготовления. Лихорадочно подготавливаются оружие, боеприпасы, автомашины, а в конечном счёте даже удаётся обвести вокруг пальца и рейхсвер. Вопреки запрету Лоссова он

направляет Рема и кучку штурмовиков в казармы, чтобы под предлогом того, что правительство опасается 1 мая выступлений слева, раздобыть в первую очередь карабины и пулемёты. Однако некоторые из партнёров по союзу, видя столь откровенные приготовления к путчу, стали выражать свои сомнения, дело дошло до споров, но тут события опередили актёров — поднятые по приказу о тревоге люди Гитлера уже прибывали из Нюрнберга, Аугсбурга и Фрейзинга, многие были с оружием, группа из Бад-Тельца привезла на своём грузовике старое полевое орудие, а отряд из Ландсхута во главе с Грегором Штрассером и Генрихом Гиммлером прибыл, вооружённый несколькими лёгкими пулемётами. Все они были в ожидании столь желанного и самим Гитлером, в течение этих лет уже сотни раз обещанного национального восстания — «устранения ноябрьского позора», как гласил этот сумрачно-популярный лозунг-раздражитель. Когда же полицай-президент Норц обратился с предупреждением к Крибелю, то получил ответ: «Назад у меня пути уже нет, слишком поздно… и все равно, если и прольётся кровь»[387].

Ещё до рассвета «патриотические союзы» собрались в Обервизенфельде, у «Максимилианеума», а также в некоторых других, заранее определённых ключевых местах города, чтобы выступить против псевдоугрозы социалистического путча. Какое-то время спустя появился и Гитлер, он обошёл территорию, похожую уже на военный полевой лагерь; на голове у Гитлера был стальной шлем, а на груди — «железный крест» первой степени; его сопровождали Геринг, Штрайхер, Рудольф Гесс, Грегор Штрассер, а также командир добровольческого отряда Герхард Росбах, стоявший во главе мюнхенских СА. И пока штурмовики в ожидании приказа действовать занимались боевой подготовкой, их командиры, растерянные, споря друг с другом и все более нервничая, обсуждали, что же делать, поскольку условленный сигнал от Рема все не поступал и не поступал.

А на Терезиенвизе уже проводили свою маёвку профсоюзы и левые партии, шла она под традиционными революционными лозунгами, но без эксцессов и в соответствии с обязывающим к солидарности настроением майского праздника, а поскольку полиция широким кольцом оцепила и лежавший за чертой города Обервизенфельд, то до ожидавшихся столкновений дело так и не дошло. Сам же капитан Рем стоял в это время, вытянув руки по швам, перед своим начальником генералом фон Лоссовом, который уже узнал об акции в казармах и, разгневавшись, требовал возвратить присвоенное оружие. Вскоре после полудня капитан, эскортируемый подразделениями рейхсвера и полиции, появился в Обервизенфельде и передал приказ Лоссова. И хотя

Крибель и Штрассер предложили все же напасть на левых, надеясь, что в противоборстве, схожем с гражданской войной, в конечном счёте перетянут рейхсвер на свою сторону, Гитлер затрубил отбой. Правда, ему удалось избежать оскорбительного изъятия оружия прямо на месте — его потом возвратили в казармы сами штурмовики, — но поражение было совершенно очевидным, и этого впечатления не смог снять и яркий фейерверк его выступления перед соратниками вечером того же дня в переполненном цирке «Кроне».

Есть много признаков того, что для Гитлера это был первый кризис личного плана в период его восхождения. Конечно, он мог не без оснований обвинять в первомайском фиаско своих партнёров по блоку, в первую очередь это относилось к щепетильным и твердолобым национальным союзам, но он должен был и признать, что в поведении партнёров проявились и его собственные слабости и просчёты. Но прежде своего неверной была сама концепция его действий. Непредвиденный поворот и упорство его собственного темперамента привели к тому, что он очутился на абсолютно ложной позиции — неожиданно он увидел рейхсвер, мощь которого сделала сильным и его, но не у себя в тылу, а прямо перед собой и в угрожающей позиции.

Это было первым ощутимым ударом после бурного, в течение ряда лет, восхождения, и Гитлер, мучимый сомнениями в себе, на несколько недель уезжает к Дитриху Эккарту в Берхтесгаден и бывает в Мюнхене лишь наездами, чтобы выступить с речью или рассеяться. Если до этого его поведение определялось преимущественно инстинктами обретения опоры, то теперь он, под влиянием того майского дня, вырабатывает начала своей последовательной тактической системы — первые очертания той концепции «фашистской» революции, что проходила не в конфликте, а в союзе с государственной властью и получила очень меткое название «революции с разрешения господина президента»[388]. Некоторые из своих соображений он в те дни запишет, и позднее они войдут в «Майн кампф».

Ещё больше наводила его на размышления реакция общественности. В своих многочисленных подстрекательских речах Гитлер не уставал воспевать дело, волю, идею вождизма-фюрерства, ещё за восемь дней до первомайской операции он суесловно горевал о нации, которой нужны герои, но приходится иметь дело с болтунами, и предавался мечтательным рассуждениям о вере в поступок — конечно же, комедия смятения и растерянности на Обервизенфельде такой вере никак не соответствовала. «Всеми признается, что Гитлер и его люди сели в лужу!», — говорилось в одном из отчётов о тех событиях. Даже

мнимый заговор с целью убийства, как иронично писала «Мюнхенер пост», «великого Адольфа», по поводу чего поднял весьма искусственный шум в «Фелькишер беобахтер» Герман Эссер, едва ли мог сколько-нибудь способствовать восстановлению его популярности, тем более что сходная разоблачительная история уже публиковалась в апреле и очень скоро была раскрыта как выдумка национал-социалистов. «Гитлер перестал занимать народную фантазию», — писал корреспондент «Нью-Йоркер штаатсцайтунг»; и впрямь казалось, что звезда его, как заметил один знающий наблюдатель-современник уже в начале мая, «сильно поблекла»[389].

Ему самому, его определявшемуся аффектами взору и в том его депрессивном состоянии одиночества в Берхтесгадене, вероятно, представлялось, что его звезда уже угасает; этим обстоятельством, во всяком случае, можно было бы в какой-то мере объяснить такой столь примечательный отход его от дел и свидетельствующий о полной потере мужества отказ от попыток восстановить оборвавшуюся связь с Лоссовом и дать «Кампфбунду», равно как и оставшейся без фюрера партии, новые цели и опору. На попытку Готфрида Федерал, Оскара Кёрнера и нескольких других ветеранов призвать его к порядку и, в частности, изолировать его от «Путци» Ханфштенгля, который приводил к нему «красивых женщин», щеголявших, ко всеобщему возмущению, «в шёлковых штанах» и любивших, чтобы шампанское лилось рекой, он просто не прореагировал[390]. Казалось, власть над ним взял рецидив былых летаргий и отрицательных эмоций. Однако, по всей вероятности, дело было ещё и в том, что он хотел дождаться результата расследования, начатого прокуратурой при Первом мюнхенском земельном суде по поводу первомайских событий. Ведь независимо от приговора, который тоже был весьма вероятен, ему грозило не только отбывание отложенного двухмесячного тюремного заключения по делу Баллерштедта — куда больше он опасался того, что министр внутренних дел Швейер, сославшись на то, что Гитлер нарушил своё слово, не раздумывая, осуществит своё намерение и вышлет его из страны.

Используя националистическую насыщенность баварского силового поля, Гитлер вышел навстречу этим опасениям. В обращении на имя упомянутой прокуратуры он пишет: «Поскольку я уже в течение нескольких недель подвергаюсь грубейшим нападкам в печати и ландтаге и ввиду моего уважительного отношения к отечеству лишён возможности публичной защиты, я буду только благодарен судьбе, если она теперь позволит мне вести эту защиту в зале суда вне

зависимости от упомянутого отношения». Предусмотрительно он грозится передать своё обращение в печать.

Намёк был достаточно прозрачен. Гитлер напоминал члену Немецкой национальной партии министру юстиции Гюртнеру, получившему это обращение вместе с обеспокоенным сопроводительным письмом прокурора, о прежних и оставшихся в силе договорённостях — ведь и сам министр как-то назвал национал-социалистов «плотью от плоти нашей»[391]. Обострявшееся с каждым днём бедственное положение нации, все ближе подталкиваемой к взрыву инфляцией, массовыми забастовками, борьбой в Руре, голодными бунтами и мятежными акциями левых, создавало достаточные основания для того, чтобы пощадить фигуру национального фюрера, даже если сама она и была частью этой чрезвычайной ситуации, Поэтому Гюртнер, не информируя министра внутренних дел, неоднократно осведомлявшегося о ходе расследования, выразил прокуратуре своё пожелание отложить дело «до более спокойных времён». 1-го августа 1923 года следствие было временно приостановлено, а 22 мая следующего года вообще прекращено.

И всё же потеря престижа оказалась весьма и весьма ощутимой, в чём Гитлер смог убедиться уже в начале сентября, когда патриотические союзы собрались в Нюрнберге в очередную годовщину победы под Седаном[392] на один из тех «Дней Германии», что проводились время от времени в разных частях Баварии с патетической пышностью — на декоративном фоне из знамён, цветов и генералов-пенсионеров сотни тысяч людей в речах и шествиях давали выход чувству национального величия и потребности в прекрасном и возвышающем зрелище: «Бурные возгласы „хайль!“, — говорится с непривычной для канцелярского языка эмоциональностью в донесении управления государственной полиции округа Нюрнберг-Фюрт от 2 сентября 1923 года, — 0ушевали вокруг почётных гостей и процессии, множество рук с развевающимися полотнищами тянулись ей навстречу, дождь цветов и венков осыпал её со всех сторон. Это было подобно крику радости сотен тысяч павших духом, запуганных, униженных, отчаявшихся, коим сверкнул луч надежды на освобождение от кабалы и нужды. Многие — и мужчины, и женщины — стояли и плакали»[393].

И хотя национал-социалисты, как следует из того же донесения, составляли среди ста тысяч демонстрантов одну из мощнейших колонн, все же в центре бурного ликования находился, несомненно, Людендорф, и когда Гитлер под впечатлением этого массового представления, но имея в виду и возврат утраченных позиций, вновь решился на блок и

организовал вместе с «Имперским флагом» капитана Хайса и «Союзом Оберланд» во главе с Фридрихом Вебером «Немецкий боевой союз», о притязаниях на руководство с его стороны уже не было и речи. Стремительной утратой своих позиций он был обязан не только первомайскому поражению, но и в ещё большей степени отъезду из Мюнхена — как только он перестал порождать сенсацию, испарилось все — и имя, и авторитет, и демагогическое величие. И лишь три недели спустя Рему, неустанно действовавшему в пользу своего друга Гитлера среди командиров «Кампфбунда», удаётся восстановить его реноме в такой степени, что в конечном итоге тот сумел заполучить политическое руководство союзом.

Внешним поводом для этого послужило решение правительства рейха о прекращении бессмысленной борьбы за Рур, на которую уже не хватало никаких сил. 24 сентября, через шесть недель после своего прихода к власти, правительство Густава Штреземана отказалось от пассивного сопротивления и возобновило выплату репараций Франции. Правда, Гитлер во все прошедшие месяцы относился к этому сопротивлению отрицательно, однако его революционная целеустановка требовала от него теперь обличения непопулярного шага правительства как свидетельства позорной измены и извлечения отсюда максимальной пользы для своих путчистских планов. Уже на следующий день Гитлер встретился с руководителями «Кампфбунда» Крибелем, Хайсом, Вебером, Герингом и Ремом. В своей захватывающей речи, длившейся два с половиной часа, он развернул перед ними свои представления и видения и закончил просьбой доверить ему руководство «Немецким боевым союзом». Со слезами на глазах, как рассказывал потом Рем, Хайс протянул ему в конце концов руку. Вебер был растроган. А сам Рем тоже расплакался, и, как он говорит, его била дрожь от внутреннего возбуждения[394]. Будучи убеждён, что развитие потребует теперь решительных шагов, он уже на следующий день распростился с воинской службой и окончательно передал себя в распоряжение Гитлера.

Став фюрером «Кампфбунда», Гитлер, казалось, решил окончательно посрамить всех скептиков демонстрацией своей решимости. Он незамедлительно приказал всем пятнадцати тысячам своих штурмовиков находиться в состоянии повышенной боевой готовности, обязал членов НСДАП ради усиления собственной ударной мощи выйти из всех других национальных союзов и развернул самую лихорадочную деятельность; но — как почти всегда — казалось, что целью всех его планов, тактических ходов и приказов и была сама эта разнузданная и помпезная

пропагандистская акция, чья буйная драматургия чуть ли не непременно ассоциировалась у него с понятием непревзойдённости. Как это уже бывало, он запланировал на 27 сентября одновременное проведение четырнадцати массовых собраний, чтобы самолично раздувать на них накалённые до предела страсти. Правда, последующие намерения «Кампфбунда» не вызывали сомнений — они имели своей целью освобождение «от кабалы и позора», поход на Берлин, установление национальной диктатуры и устранение «проклятых внутренних врагов», как заявил об этом ещё три недели назад, 5 сентября, сам Гитлер: «Или марширует Берлин и доходит до Мюнхена, или марширует Мюнхен и доходит до Берлина! Не может быть сосуществования большевистской Северной Германии и проникнутой национальным духом Баварии»[395]. Но какие планы он в тот момент преследовал, собирался ли он, в частности, устроить путч или снова только хотел поговорить о нём, так и осталось до сих пор неясным; многое указывает на то, что свои дальнейшие решения он собирался принимать в зависимости от произведённого им эффекта, от настроений и пыла толпы и хотел, примечательным образом преувеличивая силу средств пропаганды, вынудить путём воодушевления масс государственную власть к действиям. «Из бесконечных словесных баталий», — заявил он в выступлении на упомянутом собрании, — вырастет новая Германия; во всяком случае, до всех членов «Кампфбунда» был в строго конфиденциальном порядке доведён приказ, запрещавший им покидать Мюнхен и содержавший кодовое слово на предмет их всеобщей мобилизации.

Однако мюнхенское правительство, загнанное в угол непрерывными слухами о путче, недоверием к «марксистскому» правительству рейха и некоторыми специфичными для Баварии чувствами вражды и изоляционистскими устремлениями, упредило Гитлера. Без какого-либо предварительного оповещения премьер-министр фон Книллинг объявил 26 сентября о введении чрезвычайного положения и назначил, как это имело уже место в 1920 году, Густава фон Кара верховным государственным комиссаром с диктаторскими полномочиями. И хотя Кар заявил, что готов к сотрудничеству с «Кампфбундом», он одновременно предупредил Гитлера, что не потерпит, как он сказал, никаких «отклонений», и запретил для начала все четырнадцать запланированных собраний. Вне себя от гнева, впав в состояние одного из тех многократно описанных прежде припадков, когда он своими тирадами и криками ярости доводил себя чуть ли не до своего рода помешательства, Гитлер пригрозил революцией и

кровопролитием, но это не произвело на Кара никакого впечатления. Ещё вчера Гитлер видел себя в качестве главы «Кампфбунда» — самого сильного и сплочённого боевого формирования, равноправным партнёром государственной власти, и вот Кар вновь низвёл его до роли её объекта. На какое-то мгновение он, кажется, уже решился пойти на восстание. И только в течение ночи Рем, Пенер и Шойбнер-Рихтер сумели отговорить его от этого намерения.

А ход событий и без того уже давно опередил намерения Гитлера. За это время в Берлине под председательством президента страны Эберта прошло заседание кабинета, на котором было обсуждено создавшееся положение. Слишком уж часто говорил фон Кар и раньше о «баварской миссии по спасению отечества», не скрывая, что под этим он понимает не что иное как свержение республики, установление режима господства консерваторов и широкую самостоятельность для Баварии, а также возврат к монархии, чтобы его новая должность не вызывала совершенно понятных опасений. На фоне отчаянно бедственного положения страны, чьё денежное обращение было разрушено, а экономика в значительной степени подорвана, перед лицом роста коммунистического влияния в Саксонии и Гамбурге, сепаратистских устремлений на западе и ускользания власти из рук центрального правительства, мюнхенские события, действительно, могли послужить сигналом для общего краха.

В этой драматической, смутной ситуации будущее страны зависело от рейхсвера. Правда, его главнокомандующий генерал фон Сект сам был предметом распространённых ожиданий диктатуры справа. Его необыкновенно впечатляющее появление с явно рассчитанным на показной эффект опозданием и его холодная самоуверенность показали возбуждённым участникам заседания кабинета, кто является подлинным носителем власти. На вопрос Эберта, на чьей стороне стоит в этот нелёгкий час рейхсвер, он ответил: «Рейхсвер, господин рейхспрезидент, стоит за мной» — и тем самым дал на мгновение однозначно понять, как обстоит дело с властью в действительности. Но в то же время, когда в этот же день было принято заявление о чрезвычайном положении в стране и о передаче ему исполнительной власти на всей территории рейха, Сект выразил — хотя бы формально — свою лояльность по отношению к политическим инстанциям[396].

События последующих дней развивались по запутанному, полному неразберихи и с трудом просматриваемому в целом сценарию. Двое из актёров были выброшены фон Сектом со сцены ещё заблаговременно: 29 сентября в Кюстрине восстал нелегальный «Чёрный рейхсвер» во главе с майором Бухруккером,

опасавшийся, что его распустят после прекращения борьбы за Рур, и решивший, по ряду сбивчивых признаков, подать сигнал для выступления правых, в частности, в рейхсвере. Однако эта организованная в спешке и недостаточно скоординированная операция была после непродолжительной осады подавлена. Сразу же вслед за этим Сект провёл решительную акцию, свидетельствовавшую о незабытых эмоциях революционной поры, против угрозы левого переворота в Саксонии, Тюрингии и Гамбурге. Теперь ему предстояло помериться силой с Баварией.

А в Баварии за это время Гитлеру почти удалось, как того и требовала его тактическая концепция, перетащить Кара на свою сторону. На последовавшее в ответ на злобную, клеветническую статью в «Фелькишер беобахтер» требование Секта запретить эту газету ни Кар, ни Лоссов никак не отреагировали, равно как и проигнорировали и приказ об аресте Росбаха, капитана Хайса и капитана Эрхардта. Когда же вслед за этим Лоссов был смещён, то верховный государственный комиссар в нарушение конституции назначил его комендантом рейхсвера в земле Бавария и делал все, чтобы все новыми и новыми провокациями довести конфликт с Берлином до высшей точки; в конце концов он потребовал ни больше ни меньше как реорганизации правительства страны и ответил на послание Эберта открытым объявлением войны: официально разыскиваемый Верховным судом республики бывший командир добровольческого отряда капитан Эрхардт был вызван из Зальцбурга, где он скрывался, и получил указание готовить марш на Берлин. Датой выступления было определено 15 ноября.

Эти выразительные жесты сопровождались не менее сильными словами. Сам Кар заявил о ненемецком духе Веймарской конституции, обозвал режим «колоссом на глиняных ногах» и представил себя в одной из своих речей выразителем дела нации в решающей мировоззренческой борьбе против международной марксистско-еврейской идеологии[397]. Конечно, своими шумными реакциями он рассчитывал показать, что соответствует тем разнообразным ожиданиям, которые были связаны с его назначением на пост верховного государственного комиссара, однако в действительности это служило планам Гитлера. При норове Кара понадобилась всего лишь одна статейка в «Фелькишер беобахтер», чтобы коренным образом изменилась фатальная ситуация первого мая — конфликт с Берлином принёс Гитлеру союз с теми носителями власти в Баварии, в чьей помощи он так нуждался для революционного выступления против правительства рейха. Ибо когда Сект потребовал от Лоссова уйти в отставку, то все национальные

союзы предоставили себя в его распоряжение для обозначившегося противоборства с Берлином.

Нежданно-негаданно Гитлер увидел, что вот-вот представятся большие шансы. Все решится зимой, заявил он в интервью «Коррьере д'Италиа»[398]. За короткое время он несколько раз бывает у Лоссова и улаживает прежний конфликт. Теперь у нас общие интересы и противники, говорит он вне себя от счастья. В свою очередь Лоссов заявляет, что «полностью согласен со взглядами Гитлера в девяти из десяти пунктов». В результате, сам того, собственно, не желая, командующий баварским рейхсвером становится одним из главных актёров в центре сцены; однако роль заговорщика была не по нему — он был аполитичным солдатом, боящимся принятия решений, и конфликтная ситуация, в которой он оказался, становилась ему все в большей степени не по плечу. Вскоре Гитлеру уже приходится подталкивать его силой. Дилемму фон Лоссова он очень точно охарактеризует потом следующими словами: военачальник с такими большими правами, «выступивший против своего начальства, должен либо решиться идти до последнего, либо он просто обыкновенный мятежник и бунтовщик»[399].

Труднее всего было найти взаимопонимание с Каром. В то время как Гитлер не мог простить верховному государственному комиссару измену 26 сентября, сам Кар оставался в твёрдом убеждении, что призвали его не в последнюю очередь ради того, чтобы «привести в бело-голубое чувство» радикального, готового на любую агрессивную глупость агитатора. В его отношении к Гитлеру легко проглядывала задняя мысль — в нужный момент дать этому барабанщику и талантливому скандалисту «приказ к уходу из политики»[400].

И всё же, вопреки всему сдержанному отношению и взаимной неприязни друг к другу, противоборство с правительством страны свело их вместе, а существовавшие расхождения во мнениях касались притязаний на руководство, и в первую очередь — момента, когда следовало нанести удар. И если Кар, оказавшийся вскоре вместе с Лоссовом и Зайссером в составе «триумвирата» легальной власти, склонялся в этом вопросе к определённой осмотрительности и держал некоторую дистанцию от своих смелых слов, то Гитлер нетерпеливо требовал переходить к действиям. «Народ волнует пока только один вопрос — когда же?» — восклицал они прямо-таки самозабвенно, в эсхатологических тирадах, распространялся о предстоящем столкновении:

«И вот придёт день, — пророчествовал он, — ради

которого было создано это движение! Час, ради которого мы боролись годами. Момент, когда национал-социалистическое движение выступит в победный поход ради блага Германии! Не для выборов мы были основаны, а для того, чтобы предстать последней подмогой в величайшей беде, когда наш народ в страхе и отчаянии увидит приближающееся красное чудовище… Наше движение несёт избавление, это чувствуют сегодня уже миллионы. Это почти стало новой религиозной верой!»[401]

В течение октября все стороны усилили свои приготовления. В заговорщицкой атмосфере интриг, тайн и измен шли непрерывные обсуждения, передавались планы действий, назывались и менялись кодовые слова, по которым должно было начаться выступление, но одновременно накапливалось оружие и шла боевая подготовка. Уже в начале октября слухи о предстоящем вот-вот путче людей Гитлера приняли такие определённые очертания, что подполковник Крибель, военный руководитель «Кампфбунда», был вынужден в письме на имя премьер-министра фон Книллинга опровергать наличие каких-либо намерений по организации переворота. В этих джунглях интересов, договоров, ложных манёвров и ловушек все следили друг за другом, а тысячи жили ожиданием каких-то приказов. На стенах домов появлялись то одни, то другие лозунги, «Марш на Берлин» стал магической формулой, обещавшей решение всех проблем одним ударом. И как и за несколько недель до того, Гитлер нагнетал психоз грядущих перемен: «Этой ноябрьской республике скоро конец. Постепенно начинается новый шелест, предвещающий непогоду. И эта непогода разразится, и в этой буре эта республика узнает перемены, так либо этак. Она уже созрела для этого»[402].

По отношению к Кару Гитлер, казалось, был уверен в себе. Правда, у него оставалось подозрение, что «триумвират» может выступить и без него либо мобилизовать массы не революционным призывом «На Берлин!», а боевым лозунгом сепаратистов «Прочь от Берлина!»; порой он побаивался, что до выступления дело вообще не дойдёт, и уже в начале октября, если верить некоторым данным, начал подумывать о том, как ему при помощи какой-нибудь авантюры вынудить партнёров к выступлению, а самому оказаться во главе этого выступления. В том же, что население, если он не упустит нужный момент, будет в конфликте стоять на его стороне, а ни в коем случае не на стороне Кара, он нисколько не сомневался. Он относился с

презрением к этой чванливой буржуазии с её необоснованным самомнением и неспособностью понять массы, которые она так стремилась отобрать у него. В одном из своих интервью Гитлер обозвал Кара «слабосильным довоенным бюрократом» и заявил: «… история всех революций *показывает* , что они никогда не могут быть под силу деятелю старой системы, а только революционеру». Правда, на стороне «триумвирата» была сила, но ведь на его стороне был сам «национальный полководец» Людендорф — целый «армейский корпус на двух ногах», чью политическую ограниченность он быстро распознал и с помощью лести научился пользоваться ею. Уже теперь его самоуверенность проявляет столь характерное стремление к безудержности — он сравнивал себя с Гамбеттой или Муссолини, хотя его сподвижники смеялись над этим, а Крибель заявил одному посетителю, что Гитлер на руководящий пост, разумеется, не подходит, ибо в голове у него одна только пропаганда. Сам же Гитлер сказал одному высшему офицеру из окружения Лоссова, что его профессия — спасение Германии, а Людендорф ему нужен, чтобы привлечь на свою сторону рейхсвер: «В политике он у меня и словечка не вымолвит — я ведь не Бетман-Хольвег… А вы знаете, что и Наполеон, учреждая консульство, окружил себя только незначительными деятелями?»[403].

Во второй половине октября планы Мюнхена по отношению к Берлину приобрели уже более чёткие очертания. Шестнадцатого октября Крибель подписал приказ об усилении пограничной охраны на севере земли, хотя это и выдавалось за полицейскую меру, направленную против неспокойной Тюрингии, однако приказ содержал и такие военные понятия как «районы развёртывания» и «открытие боевых действий», а также «дух наступления», «пыл преследования» и даже «уничтожение» сил противника; главным же было то, что он открывал возможность прямой мобилизации на случай гражданской войны. А в это время добровольцы уже проводили учения на карте с использованием городского плана Берлина, и Гитлер, выступая перед юнкерами пехотного училища, под бурные аплодисменты славил революционную мораль: «Высший долг вашей военной присяги, господа, состоит в том, чтобы нарушить её». Дабы создать конкуренцию военной мощи партнёра, национал-социалисты вербуют в СА главным образом служащих земельной полиции, а по более поздним свидетельствам Гитлера в их распоряжении уже было от шестидесяти до восьмидесяти походных пушек, гаубиц и тяжёлых орудий, находившихся до того в тайниках. На совещании «Кампфбунда» 23 октября Геринг сообщает детали «наступления на Берлин» и рекомендует, среди

прочего, начать подготовку «чёрных списков»: «Необходимо будет применять жесточайший террор; того, кто создаст хоть малейшие трудности, — расстреливать. Необходимо, чтобы командиры уже сегодня выявляли тех личностей, чьё устранение необходимо. После издания воззвания следует для устрашения тут же расстрелять хотя бы одного» — «германская Анкара» готовилась к развязыванию репрессий внутри страны[404].

В атмосфере недоверия и соперничества один замысел влёк за собой другой. Двадцать четвёртого октября Лоссов созвал в штабе военного округа представителей рейхсвера, земельной полиции и патриотических союзов, чтобы изложить перед ними мобилизационные планы рейхсвера для марша на Берлин, паролем было названо слово «восход». Однако пригласил Лоссов только одного военного руководителя «Кампфбунда» Германа Крибеля, а Гитлер и командование СА оказались обойдёнными. В ответ на это Гитлер незамедлительно провёл «большой войсковой смотр». Как говорилось в одном донесении того времени, «уже с раннего утра из города доносились барабанная дробь и музыка, и в течение всего дня повсюду можно было увидеть людей в форме с гитлеровской свастикой на воротниках или оберландовским эдельвейсом на фуражках»[405]. Кар, в свою очередь, тут же заявил, дабы развеять якобы «циркулирующие повсюду слухи», что он отклоняет любые переговоры с нынешним правительством страны.

Это походило на тихое, ожесточённое состязание, и вопрос, казалось, заключался лишь в том, кто же выступит первым, чтобы принять из рук спасённой нации «у Бранденбургских ворот лавровый венок победы». Своеобразный, окрашенный в местные цвета пыл пронизал все эти планы какой-то крайней фантастичностью и придавал этим разнообразнейшим действиям оттенок какой-то широкомасштабной игры в индейцев в солдатском исполнении. Не задумываясь долго над истинным положением с властью, действующие лица провозглашали, что приспело время «маршировать и решить, наконец, определённые вопросы подобно Бисмарку», другие славили «ячейку порядка Баварию» и «баварские кулаки», которые должны «очистить этот берлинский свинарник». Родные сумерки лежали над столь охотно использовавшимися картинами, изображавшими столицу огромным Вавилоном, и некоторые из ораторов завоёвывали сердца слушателей тем, что обещали «ядрёным баварцам карательный поход на Берлин, победу над этой великой апокалипсической проституткой, а может быть, и немножко забав с ней». Один доверенный человек из гамбургского региона говорил Гитлеру, Что «миллионы людей в Северной Германии

встанут в день расплаты на его сторону», и повсюду царило представление, что нация во всех её сословиях и по всем городам и весям присоединится к мюнхенскому восстанию, как только оно начнётся, и «немецкий народ разгуляется, как в 1813 году»[406]. Тридцатого октября Гитлер взял назад данное им Кару слово, что не будет зарываться.

Правда, Кар и теперь ещё не мог решиться действовать, да, возможно, он, как и Лоссов, никогда на деле и не думал о том, чтобы по собственной инициативе пойти на переворот; иногда даже кажется, что «триумвират» со всеми его вызовами, угрозами и планами развёртывания скорее хотел лишь подтолкнуть Секта и национально-консервативных «господ с севера» на осуществление их диктаторских концепций, о которых так много повсюду шушукались, а сам собирался вступить в игру в тот момент, когда этого потребуют перспективы всего предприятия, а также баварские интересы. Чтобы прощупать обстановку, они в начале ноября направили в Берлин полковника Зайссера. Правда, вернулся он обескураженным — рассчитывать на широкую поддержку не приходилось, Сект, в частности, занял сдержанную позицию.

После этого они созвали 6-го ноября руководителей патриотических союзов и заявили весьма энергичным тоном, что только они одни вправе начать ожидаемую акцию и руководить ею, а любое своеволие будет ими подавлено, — это было их последней попыткой взять назад в свои руки тот закон действия, который они утеряли где-то между порою весьма широковещательными словами и постоянными колебаниями. И на эту встречу Гитлер тоже не был приглашён. В тот же вечер «Кампфбунд» пришёл к согласию, что нужно будет использовать первую же представившуюся возможность для выступления и принудить какой-то подстрекательской акцией как «триумвират», так и максимально большое количество колеблющихся, к маршу на Берлин.

Это решение часто приводится как свидетельство театрального, перевозбуждённого и одержимого манией величия темперамента Гитлера и предаётся публичному осмеянию как «пивной путч», «политический карнавал», «путч на чёрной лестнице» или «потеха в духе Дикого Запада». Конечно, предприятие не лишено всех этих черт, но одновременно оно свидетельствует все же и об умении Гитлера оценить обстановку, о его смелости и тактической последовательности. И в нём в весьма примечательном сочетании содержится столько же элементов фарса и пьесы о разбойниках, сколько и холодной рациональности.

И в самом деле: вечером 6 ноября 1923 года у Гитлера, собственно, не оставалось выбора. От необходимости действовать ему нельзя было уйти уже с момента едва ли зарубцевавшегося к тому времени первомайского поражения, — иначе он рисковал потерять все, что выделяло его, превращая в растушую величину, из массы партий и политиков и делало достоверным, — радикальную, чуть ли не экзистенциальную серьёзность его возмущения, поражавшую своей неуступчивостью и явственно не склонную к тайным компромиссам. А будучи фюрером «Кампфбунда», он уже располагал и военной мощью, чьей готовности к действиям больше не мешали разногласия внутри коллективного руководства, да и, наконец, отряды штурмовиков нетерпеливо рвались в бой.

Их беспокойство имело разные причины. Оно отражало авантюризм охочих до приключений профессиональных солдат, которые после недель конспиративной подготовки хотели, наконец, выступить и дойти до цели. Многие лелеяли надежду, что грядущая национальная диктатура снимет ограничения Версальского договора по численному составу рейхсвера. Находясь уже неделями в состоянии предмаршевой подготовки, некоторые из отрядов принимали участие в осенних манёврах рейхсвера, теперь же, однако, все средства были израсходованы, истощились и резервы Гитлера, рядовые голодали, и только Кар мог ещё содержать свои подразделения; обращение капитана Эрхардта к промышленникам в Нюрнберге принесло 20000 долларов.

Дилемма, перед которой оказался Гитлер, отчётливо выражена в показаниях командира мюнхенского полка СА Вильгельма Брюкнера, данных им на одном из закрытых заседаний во время происходившего позднее судебного процесса: «У меня было такое впечатление, что сами офицеры рейхсвера были недовольны тем, что марш на Берлин не состоялся. Они говорили: И этот Гитлер — такое же трепло, как все остальные. Вы не выступаете. Кто выступит первым, нам без разницы, мы просто пойдём с ними. Я и Гитлеру лично сказал: Наступит день, когда я уже не смогу удержать людей. Если сейчас ничего не произойдёт, они просто сбегут. А у нас среди них очень много безработных, людей, которые расплачивались за обучение своей последней одеждой, последней обувью, последним грошом и говорили: Ну, теперь вот начнётся, нас возьмут в рейхсвер, и конец всем нашим бедам»[407]. Сам Гитлер в начале ноября сказал в разговоре с Зайссером, что теперь должно что-то произойти, иначе экономическая нужда погонит рядовых из «Кампфбунда» в лагерь коммунистов.

К опасению Гитлера, что подразделения «Кампфбунда» могут развалиться, добавлялась и обеспокоенность тем, что уходит время, — революционное недовольство грозило лопнуть, слишком туго была уже натянута струна. Одновременно конец борьбы за Рур и разгром левых обозначили поворот к нормализации; казалось, что и инфляция будет вот-вот усмирена, а с концом кризиса исчезали и призраки. Было же очевидно, что широкий простор для агитации Гитлеру открывался именно благодаря бедам нации. Он не имел права колебаться, даже если решению мешало то или другое данное им честное слово; а вот более сомнительным представлялось то, что не соответствовало его теоретической концепции, — он рискнул пойти на революцию без одобрения господина президента.

Однако он надеялся получить это одобрение и даже прямую поддержку господина президента именно благодаря решению совершить поступок: «Мы были убеждены, что до дела тут дойдёт только тогда, когда к желанию присоединится воля», — так потом заявит Гитлер на суде. Таким образом, сумме весомых причин, говоривших — все без исключения — за необходимость действовать, противостояла только та опасность, что планируемая авантюра не окажет ожидаемого эффекта и не сумеет увлечь «триумвират». Кажется, Гитлер недостаточно учёл эту опасность потому, что добивался-то ведь он того же, что и планировали эти господа, но в конечном итоге эта-то ошибка и приведёт к крушению всей операции и покажет всю оторванность Гитлера от реальности. Правда, сам он с таким упрёком никогда не согласится, более того, для него всегда будет нечто привлекательное в презрении к действительности, а ставшие знаменитыми слова Лоссова, что он примет участие в государственном перевороте, только если шансы на удачный исход составят пятьдесят один процент, будут для него примером достойной презрения беспросветной практичности[408]. Однако за решение предпринять акцию говорили не только рациональные причины — можно сказать, что сам ход истории подтвердил в более широком смысле правоту Гитлера. Ибо эта операция, окончившаяся единственным в своём роде поражением, обернулась всё-таки решающим прорывом Гитлера на его пути к власти.

В конце сентября, в ходе всех этих лихорадочных приготовлений и позиционных манёвров, Гитлер организует в Байрейте один из очередных «Дней Германии» и просит разрешения посетить мемориальный дом Вагнера «Ванфрид-Хауз». С глубоким волнением осматривает он комнаты, кабинет и

большую библиотеку маэстро и его могилу в саду. Затем он был представлен Хьюстону Стюарту Чемберлену, женатому на дочери Рихарда Вагнера и оказавшему своими сочинениями немалое влияние на Гитлера в годы его формирования. Почти полностью парализованный старик едва ли смог разглядеть посетителя, но почувствовал исходившие от того энергию и целеустремлённость. В письме, которое он написал своему визитёру неделю спустя, 7 октября, он называет Гитлера не только предтечей и спутником некой более великой личности, но и самим спасителем, решающей фигурой немецкой контрреволюции; я ожидал, пишет он, встретить фанатика, однако моё чувство говорит мне, что Гитлер — это нечто иное, нечто более творческое, и что он, несмотря на всю его ощутимую силу воли, не является человеком насилия. Теперь, продолжает автор письма, я, наконец, спокоен, и состояние моей души сразу же переменилось: «То, что Германия в часы своей величайшей нужды рождает такого человека как Гитлер, доказывает её жизнеспособность»[409];

Для терзаемого неуверенностью, только в самых буйных фантазиях пробивающегося к осознанию своего ранга демагога, стоявшего именно в тот момент перед одним из главнейших в жизни решений, эти слова явились как бы зовом самого Мастера из Байрейта.

Глава IV
ПУТЧ

И тут кто-то закричал: «Они идут! Хайль Гитлер!»

Из рассказа очевидца событий 9 ноября 1923 года

Собрание в пивной «Бюргербройкеллер». — Выстрел в потолок. — «Победить или умереть!» — Появление Людендорфа. — Поворот событий. — Клятвоотступничество против клятвоотступничества. — Кризис и выход из него. — Марш к «Фельдхеррнхалле». — На коленях перед государственной властью. — Арест. — Процесс в народном суде. — Выигранное поражение. — Час, когда родилось движение. — «Адольф Легалите». — Поведение самоубийцы.

Оба дня до 8 ноября были наполнены нервозной активностью. Все вели друг с другом какие-то переговоры, Мюнхен резонировал от военных приготовлений и слухов. Первоначальные планы «Кампфбунда» предусматривали, что 10 ноября, как только стемнеет, начнутся крупные ночные учения в роще Фретманингерхайде на севере Мюнхена, а рано утром их участники под видом одного из обычных маршей войдут в Мюнхен, провозгласят национальную диктатуру и заставят «триумвират» действовать. Ещё во время совещания стало известно, что вечером 8 ноября Кар выступит с программной речью в «Бюргербройкеллере», куда будут приглашены члены правительства, а также Лоссов, руководители государственных учреждений, экономики, и патриотических объединений. Беспокоясь, как бы Кар не опередил его, Гитлер в последний момент отменил все прежние планы и решил начать действовать уже на следующий день. Тут же в спешном порядке были собраны штурмовые отряды СА и подразделения «Кампфбунда».

Собрание начиналось в 20 часов 15 минут. В долгополом чёрном сюртуке и с «железным крестом» на груди Гитлер направился в незадолго до того приобретённом «Мерседесе» к «Бюргербройкеллеру» в сопровождении Альфреда Розенберга, Оскара Графа и ничего не подозревавшего Дрекслера, который в

тот вечер в последний раз оказался участником примечательных событий. Дабы сохранить тайну, ему сообщили только, что едут на собрание за чертой города. Когда же Гитлер по пути открыл ему, что в половине девятого он собирается нанести удар, раздосадованный Дрекслер ответил, что желает операции успеха, и от дальнейшего устранился.

У входа в зал царила большая толчея, и, озабоченный, как бы не сорвался запланированный штурм только что начавшегося собрания, Гитлер властно приказал дежурному полицейскому офицеру очистить вестибюль. И вот когда Кар как раз излагал «нравственное обоснование диктатуры», ссылаясь на образ нового человека, в дверях зала появился Гитлер. По свидетельствам очевидцев он был чрезвычайно возбуждён. А в это время к зданию уже подъехали грузовики, и выскочившие из них штурмовики из ударного отряда Гитлера окружили «Бюргербройкеллер» по всем правилам военного искусства. Со свойственной ему склонностью к шаржированной сцене Гитлер стоял в дверях с кружкой пива в поднятой руке, и когда рядом с ним выкатывали тяжёлый пулемёт, он сделал последний драматический глоток, а затем бросил кружку наземь и, во главе вооружённого ударного отряда и с револьвером в поднятой руке; бросился в середину зала. И пока ещё звенели упавшие кружки и гремели опрокинутые стулья, Гитлер вскочил на один из столов, произвёл, чтобы призвать к тишине, свой знаменитый выстрел в потолок и протиснулся затем сквозь растерявшуюся толпу к сцене. «Национальная революция началась, — закричал он. — Зал окружён шестьюстами вооружёнными до зубов людьми. Никто не имеет права покидать зал. Если сейчас же не установится тишина, я прикажу установить на галерее пулемёт. Баварское правительство и правительство рейха низложены, образуется временное правительство рейха, казармы рейхсвера и земельной полиции захвачены, рейхсвер и земельная полиция уже выступают под знамёнами со свастикой». Затем он, как утверждают очевидцы, «грубым приказным тоном» пригласил Кара, Лоссова и Зайссера последовать за ним в соседнее помещение. И пока штурмовики наводили среди присутствовавших, которые уже пришли в себя от шока и начали громко кричать: «Театр!», «Южная Америка!», приобретёнными в пивных баталиях методами порядок, Гитлер лез из кожи вон, чтобы завоевать на свою сторону строптивую государственную власть.

Несмотря на все противоречия и так и оставшиеся неясными взаимосвязи, главные черты происходившего были предельно отчётливыми. Дико размахивая револьвером, Гитлер угрожал членам «триумвирата», что никто из них живым это помещение не

покинет, и тут же по всем правилам извинился за то, что ему пришлось столь необычным способом поставить их перед свершившимися фактами, — мол, этим он просто хотел облегчить господам их вступление в новые должности. Так что теперь им уже ничего не остаётся, как идти вместе с ним, — Пенер назначается баварским премьер-министром с диктаторскими полномочиями, Кар станет наместником Баварии, сам он возглавит новое правительство страны, Людендорф будет командовать национальной армией в ходе её марша на Берлин, а для Зайссера приготовлен пост министра полиции. Все больше возбуждаясь, он воскликнул: «Я знаю, что этот шаг дастся вам нелегко, господа, но сделать этот шаг нужно. Нужно помочь вам, господа, найти трамплин. Каждый должен занять то место, на которое он поставлен, если он этого не делает, то у него нет права на существование. Вы должны бороться вместе со мной, победить вместе со мной или вместе со мной умереть. Если дело сорвётся, то в моём револьвере четыре пули — три для моих соратников, если они меня покинут, а четвёртая — для себя». Затем он, как свидетельствует один из источников, поднёс револьвер к виску и сказал: «Если завтра после полудня я не буду победителем, я буду мертвецом».

Однако, к удивлению Гитлера, это не произвело на троицу почти никакого впечатления, наиболее же хладнокровным оставался в этой ситуации Кар. Явно оскорблённый дурацким антуражем этой пьесы о разбойниках и той ролью, которая ему в ней предназначалась, он заявил: «Господин Гитлер, вы можете приказать меня застрелить, можете сами меня застрелить. Но умереть или не умереть — это не имеет для меня никакого значения». Зайссер упрекнул Гитлера в том, что тот нарушил своё слово. Лоссов молчал. А у дверей и окон стояли вооружённые сторонники Гитлера, то и дело вскидывая ружья наизготовку.

На какое-то мгновение уже казалось, что из-за молчаливого самообладания троицы акция внезапного наскока терпит провал. В тот момент, когда Гитлер, бросив пивную кружку наземь, подал тем самым сигнал к путчу, от «Бюргербройкеллера» спешно отъехал на машине Шойбнер-Рихтер, чтобы привезти не посвящённого до того в дело Людендорфа; и Гитлер теперь ждал его приезда, рассчитывая, что старый вояка с его авторитетом поможет ему добиться желаемого поворота. А пока он вернулся назад в неспокойный зал. Нервный, раздосадованный своей неудачей, он полагал, что его воздействие на массу окажется куда более эффективным. Историк Карл Александр фон Мюллер описывает увиденное глазами очевидца все раздражение этих сливок общества, удерживаемых не скупившимися на издёвки и

угрозы грубыми штурмовиками, чей предводитель в это время в возбуждённом состоянии протискивался к трибуне. И вот он стоял перед ними — несерьёзный, амбициозный молодой человек с какими-то явно сумасбродными отклонениями и неким своеобразным воздействием на простолюдина, нелепый в своём чёрном сюртуке, придававшем ему, что не могло не вызывать усмешки, черты официанта, — стоял перед холодно самоуверенной знатью страны и «мастерской речью, всего несколькими фразами вывернул настроение зала… как перчатку. Нечто подобное, — продолжает очевидец, — мне довелось видеть потом очень редко. Когда он взошёл на сцену, волнение было так велико, что его не было слышно, и он выстрелил в воздух. Я и сейчас ещё вижу это движение в зале. Он вытащил браунинг из заднего кармана… Он пришёл, чтобы сказать, что его предыдущие слова, что дело будет улажено через десять минут, не оправдались»[410]. Но как только он встал перед залом и увидел, как лица стали обращаться к нему, на них появилось выражение ожидания, и возбуждённые голоса сменились подавливаемыми покашливаниями, то снова обрёл самоуверенность.

Строго говоря, он мало что мог сообщить собранию. Отрывистым, приказным тоном он повторил только то, что было до этого всего лишь эксцентричной системой надежд, предчувствий и чаяний. Затем он провозгласил: «Задача временного германского национального правительства — всеми силами этой земли и привлечёнными силами всех немецких областей выступить походом на этот погрязший в грехах Вавилон — Берлин и спасти немецкий народ. И вот я спрашиваю вас — там находятся три человека: Кар, Лоссов и Зайссер. До боли трудно дался им такой шаг. Согласны ли вы с таким решением германского вопроса? Вы видите — то, что нами движет, это не самомнение и не корысть, нет, мы хотим начать, когда стрелки уже приближаются к двенадцати, борьбу за наше немецкое отечество. Мы хотим построить союзное государство федеративного типа, в котором Бавария получит то, что принадлежит ей по праву… Утро увидит в Германии либо германское национальное правительство, либо нас мёртвыми!» Сила его убеждения, а также обманный манёвр — утверждение перед залом, будто Кар, Лоссов и Зайссер уже с ним заодно, — повлекли за собой то, что очевидец называет «поворотом на 180 градусов». Гитлер покинул зал, «уполномоченный сказать Кару, что если он присоединился, то его поддерживает весь зал».

К этому времени уже прибыл Людендорф — нетерпеливый и явно недовольный скрытничаньем Гитлера, а также его

самовластным распределением должностей, где ему, Людендорфу, досталось всего лишь командование армией. Никого ни о чём не спросив, он без обиняков заявил, что предлагает «триумвирату» ударить с ним по рукам и что для него это тоже неожиданность, но речь ведь идёт о великом историческом деле. И только теперь, под личным влиянием этой легендарной фигуры национального героя, троица начала уступать. Лоссов, как старый офицер, воспринял предложение Людендорфа как приказ, Зайссер последовал его примеру, один лишь Кар продолжал упорствовать, а когда Гитлер стал умолять его присоединиться к ним, говоря, что люди на коленях будут благодарить его за это, Кар равнодушно возразил, что такие вещи его не волнуют. В этих двух фразах, как под вспышками молний, проявилось все различие между жадным до эффектов театральным темпераментом Гитлера и трезвым отношением к власти чиновника от политики.

Однако в конце концов, под натиском со всех сторон уступил и Кар, и группа направилась обратно в зал, чтобы представить там сцену братания. Демонстрации показного единства было достаточно, чтобы присутствовавшие вскочили на стулья, и под восторженную овацию актёры пожали друг другу руки. Но если Людендорф и Кар выглядели перед вошедшим в раж залом бледными и с застывшим взором, то Гитлер, по свидетельству очевидца, «прямо-таки светился от радости», будучи «в состоянии блаженства… от того, что ему посчастливилось подвигнуть Кара на то, чтобы тот сотрудничал». На какой-то короткий сладостный момент ему показалось, что он достиг того, о чём всегда мечтал: его бурно приветствовали знатные люди, как бы возмещая этой овацией все горькое, что довелось пережить ему лично начиная с венских времён; на его стороне были Кар и авторитет государства, рядом с ним был национальный полководец Людендорф, нет, как несостоявшийся диктатор рейха Людендорф был уже ниже него — человека без профессии, так долго искавшего своё место в жизни и так часто терпевшего крушение, но вот оказавшегося так высоко. «Потомкам это будет казаться сказкой», — так любил говорить он сам, с изумлением оглядываясь на захватывающие дух повороты своей жизни, вознёсшие его наверх[411]; и он действительно имел право сказать, что с этого мгновения — независимо от того, как закончится авантюра с путчем, — это уже не будет, как в прошлые годы, игрой на провинциальной сцене — спектакль вышел на большую сцену. Пылко, не замечая собственного пародийного тона, он завершил своё выступление следующими словами: «Я хочу выполнить сегодня то, о чём поклялся самому себе день в

день пять лет назад, лёжа слепым инвалидом в лазарете, — не знать ни покоя, ни отдыха, пока ноябрьские преступники не будут повергнуты в прах, пока на руинах сегодняшней жалкой Германии не возродится Германия мощи и величия, свободы и красоты. Аминь!»[412]. Зал кричал и ликовал, так что и другим пришлось выступить с краткими заявлениями. Кар произнёс несколько не очень внятных слов о своей приверженности монархии, родной Баварии и немецкому отечеству, Людендорф говорил о поворотной точке и, все ещё серчая на поведение Гитлера, заверил: «Захваченный величием этого момента и поражённый, я в силу своего собственного права на то предоставляю себя в распоряжение германского национального правительства».

Стали расходиться, не забыв, однако, арестовать премьер-министра фон Книллинга, присутствовавших министров, а также полицай-президента. В то время как Рудольф Гесс со своим студенческим отрядом СА препровождал арестованных на виллу издателя из кругов «фелькише» Юлиуса Лемана, Гитлера срочно вызвали из зала, потому что произошла стычка у казармы сапёров. Как только он покинул помещение — это было около 22 часов 30 минут, — Людендорф дружески распрощался с Лоссовом, Каром и Зайссером, и те исчезли в ночи.

Когда же Шойбнер-Рихтер и возвратившийся Гитлер, инстинктивно чувствуя, что случилось неладное, выказали свои сомнения, Людендорф грубо наорал на них — он не позволит, чтобы кто-либо сомневался в честном слове немецкого офицера. А ведь примерно за два часа до того Зайссер поставил в вину Гитлеру, что тот своей попыткой путча нарушил своё честное слово, и обе эти информации зеркально отразили конфронтацию двух миров — буржуазного с его принципами, его points d'honneur[413] и характерным чванством лейтенанта запаса с одной стороны, и ориентированного исключительно на свои цели захвата власти, лишённого предрассудков мира нового человека — с другой. Последовательно используя буржуазные нормы и понятия о чести, постоянно заверяя в своей верности правилам игры, которые на деле он презирал, Гитлер годами будет обеспечивать себе высокую меру превосходства, лишённого каких-либо сентиментальных чувств, и продемонстрирует принцип успеха в окружавшем его мире, бывшем не в состоянии расстаться с принципами, в которые и сам-то он уже не верил. Но в ту ночь Гитлер встретился с «противниками, ответившими на клятвопреступление клятвопреступлением и выигравшими игру»[414].

Однако все равно это была великая для Гитлера ночь, в которой было все, к чему его так тянуло: драматизм, ликование,

упорство, эйфория действия и то ни с чем не сравнимое возбуждение полуяви-полусна, которым его не баловала реальность. На юбилейных торжествах в последующие годы, которые он будет отмечать со все более возрастающей помпезностью как «марш победы», он попытается сохранить то переживание и величие того часа. «Придут лучшие времена, — сказал он Рему и обнял своего друга, — мы все хотим трудиться день и ночь ради великой цели — вызволить Германию из нужды и позора». Были сочинены обращение к немецкому народу и два указа, которыми учреждался политический трибунал для вынесения приговоров за политические преступления, а также «объявлялись с сегодняшнего дня вне закона… главные подлецы предательства 9 ноября 1918 года» и вменялось в обязанность «выдавать их живыми или мёртвыми в руки народного национального правительства»[415].

А в это время уже предпринимались контракции. Когда Лоссов вернулся из «Бюргербройкеллера», то высшие офицеры встретили его замечанием, в котором явно проглядывала угроза: сцена братания с Гитлером была всего-навсего блефом, и так к ней и надо относиться, и какие бы неясные сомнения ни обуревали генерала до того, встретившись со своими офицерами, он оставил все мысли по организации путча. Вскоре и Кар выступил с заявлением, в котором он брал назад данное им согласие, ибо оно — так объяснял он свой переход на оборонительную позицию — было вырвано у него силой оружия. Одновременно Кар объявил НСДАП и «Кампфбунд» распущенными. Ещё ни о чём не подозревая, Гитлер был занят лихорадочной деятельностью по сбору сил для планировавшегося марша на Берлин, а генеральный государственный комиссар уже дал указание запретить сторонникам Гитлера доступ в Мюнхен. К этому времени один из ударных отрядов, охваченный революционным пылом, уже разгромил помещение социал-демократической газеты «Мюнхенер пост», другие отряды врывались в дома, захватывали заложников и хватали без разбору все, что плохо лежит, а Рем занял штаб военного округа на Шенфельдштрассе. Но что делать дальше, никто не знал, а время шло. Начал падать лёгкий мокрый снежок. Уже была полночь, но никаких известий от Кара и Лоссова не поступало, и это беспокоило Гитлера. Посланные связные не возвращались. Фрик, вероятно, был арестован, Пенера тоже нигде не могли найти, и Гитлер, кажется, стал понимать, что его обвели вокруг пальца.

Как это всегда бывало при неудачах и разочарованиях в его жизни, его чувствительные нервы мгновенно сдали, и с крахом

одного замысла рухнули и все остальные. Когда той же ночью в «Бюргербройкеллере» появился Штрайхер и предложил все же обратиться с горячим призывом к массам, чтобы вызвать тем самым успех, Гитлер, по свидетельству самого Штрайхера, посмотрел на него большими глазами и, поникший и растерянный, передал на листе бумаги «всю организацию» в его руки — казалось, он уже ни во что не верил[416]. А затем, как всегда, за фазами апатии вновь наступили взрывы отчаяния — это безудержная смена настроений уже предвосхищала картину судорог и приступов бешенства более поздних лет. Он то готов дико сопротивляться, то столь же буйно отказывается от всех планов и, наконец, принимает решение провести на следующий день демонстрацию: «Получится — хорошо, не получится — повесимся», — заявил он, и эти слова тоже уже предвосхищали его постоянные колебания между крайностями в последующие годы — победа или гибель, триумф или самоуничтожение. Но когда посланная им группа, которая должна была изучить настроение масс, вернулась назад с благоприятными донесениями, он тут же обрёл вновь надежду, радость и веру в силу агитации. «Пропаганда, пропаганда, — восклицает он, — теперь все дело только за пропагандой!» Незамедлительно назначает он на вечер четырнадцать массовых собраний, на которых собирается выступать главным докладчиком. Ещё одно мероприятие планируется на день — десятки тысяч должны собраться на площади Кенигсплац и выразить поддержку национальному восстанию; уже утром он заказывает афиши, информирующие об этом мероприятии[417].

Это был и впрямь весьма характерный, более того, единственный обещавший успех выход, который ещё оставался у Гитлера. Чуть ли не все историки упрекают его в том, что как революционер он в решающий момент оказался несостоятельным, но это едва ли справедливый упрёк, потому что тут не учитываются предпосылки и цели Гитлера[418]. Да, конечно, нервы ему отказали, но то обстоятельство, что он не дал команду занять телеграф и министерства и не взял под свой контроль ни вокзалы, ни казармы, было совершенно логичным, поскольку он ни в коем случае не собирался революционным путём захватывать власть в Мюнхене, а хотел, имея в своём тылу власти Мюнхена, двинуться маршем на Берлин, и эта его бездеятельность резче и безыллюзорнее, нежели оценки его критиков, говорила о понимании им того, что с уходом партнёров провалилась и вся операция в целом. Что же касается демонстрации и агитационной войны, то от них он, очевидно, уже не ждал никакого результата в смысле перемены обстановки, а

только надеялся в принципе, что они обеспечат участникам государственного заговора благодаря прочной стене созданного настроения защиту от политических и уголовных последствий этой акции, хотя, конечно, в резких сменах его настроений в ту ночь появлялась иной раз и мысль увлечь за собой массы и, не оглядываясь на Мюнхен, всё-таки выступить в неоднократно воспевавшийся поход на Берлин. Захваченный силой воображения на своём собственном поле боя, Гитлер под утро выработал план — послать на улицы патрули с призывами «Вывешивайте флаги!»: «Вот тогда мы и посмотрим, будет ли энтузиазм на нашей стороне!»[419]

Перспективы операции были и впрямь достаточно благоприятными. Настроение публики, как это стало ясно утром, явно склонялось на сторону Гитлера и «Кампфбунда». Над ратушей, а также над многими зданиями и жилыми домами города развевались — иногда вывешенные явочным порядком — флаги со свастикой, а утренняя пресса с восторгом писала о том, что произошло накануне в «Бюргербройкеллере». Go вчерашнего дня в партию вступило двести восемьдесят семь новых членов, немалый приток отмечали и вербовочные бюро «Кампфбунда», созданные в различных частях города, а в казармах младшие офицеры и рядовые откровенно симпатизировали акции и походным планам Гитлера. Агитаторов, которых направлял Штрайхер, встречали в этой удивительно лихорадочной атмосфере холодного ноябрьского утра аплодисментами.

Однако поскольку Гитлер был отрезан от публики, от импульсов и стимулов, исходивших от восторженной людской толпы вокруг него, то в первой половине дня его опять охватывают сомнения, и уже в этот момент порой кажется, что массы и были в совершенно физическом смысле той стихией, которая повышала или уменьшала его уверенность, энергию и мужество. Ранним утром он отправляет руководителя информационного бюро «Кампфбунда» лейтенанта Нойнцерта к кронпринцу Рупрехту в Берхтесгаден с просьбой выступить посредником и не хочет ничего предпринимать, пока не вернётся посланец. Он боится также, что демонстрация может привести к столкновению с вооружённой властью и фатальным образом повторить незабытое ещё первомайское поражение. И только после продолжительных дебатов, в ходе которых Гитлер медлил, сомневался и безуспешно ждал возвращения Нойнцерта, Людендорф кладёт конец всем разговорам своей энергичной фразой: «Мы выступаем!» Затем, примерно к полудню, образовалась колонна в несколько тысяч человек во главе со знаменосцами. Было приказано, чтобы руководители и офицеры

шли в первых рядах, Людендорф был в гражданской одежде, а Гитлер надел поверх вчерашнего сюртука макинтош. В одной шеренге с ним стояли Ульрих Граф, Шойбнер-Рихтер, а также д-р Вебер, Крибель и Геринг. «Мы шли, будучи убеждены, — скажет потом Гитлер, — что так либо этак, но это конец. Я помню, что когда мы уже выходили наружу, на лестнице кто-то сказал мне: „Ну, теперь всё кончено!“ Каждый был убеждён в этом»[420]. С песней они выступили в путь.

Первую большую цепь земельной полиции колонна встретила на мосту через Изар, но она была рассеяна угрозой Геринга, что при первом же выстреле будут расстреляны все арестованные заложники. Шеренги по шестнадцать человек мгновенно обошли растерявшихся полицейских с обоих флангов, окружили и обезоружили их; в полицейских плевали, награждали их оплеухами. На площади Мариенплац перед мюнхенской ратушей Штрайхер обратился с высокой трибуны с речью к собравшейся большой толпе, и тут с полным правом можно говорить о том, насколько глубок был кризис, охвативший Гитлера, — человек, к которому массы стремились «как к избавителю», молча маршировал в тот день в рядах колонны[421]. Он держал под руку Шойбнер-Рихтера, и это тоже был странный жест ищущего опоры, зависимого человека, так мало отвечавший его собственному представлению о фюрере. Под аплодисменты прохожих колонна зачем-то пошла далее узкими улочками центра города; когда подошли к Резиденцштрассе, головная группа запела «Славься, Германия». На площади Одеонсплац колонну снова встретил полицейский кордон.

То, что случилось потом, как все это началось и развивалось, выяснить уже невозможно. Из путающихся, частью фантастических, а частью диктовавшихся попытками самооправдания свидетельских показаний неопровержимо следует только одно — сперва прозвучал одиночный выстрел, перешедший затем в интенсивную перестрелку в течение от силы шестидесяти секунд. Первым рухнул на землю Шойбнер-Рихтер — он был сражён наповал. Падая, он потащил за собой Гитлера и вывернул ему ключицу. Затем упал бывший второй председатель партии Оскар Кёрнер, а также судебный советник фон дер Пфордтен; всего же мёртвыми и смертельно ранеными полегло четырнадцать человек из числа шедших в колонне и трое полицейских, многие другие, в частности Герман Геринг, получили ранения. И в то время как сыпался град пуль, люди падали и в панике разбегались, Людендорф, дрожа от гнева, продолжал шагать с военной выправкой через кордон, и не исключено, что тот день окончился бы иначе, если бы за ним

последовала хотя бы маленькая группа решительных людей, однако никто за ним не пошёл. Конечно, не трусость была причиной тому, что многие бросились наземь, а инстинктивное почтение правых к авторитету государственной власти в образе ружейных стволов. С грандиозным высокомерием, столь отличавшим его от рабской идеологии его соратников, «национальный полководец» дождался прибытия на площадь дежурного офицера и позволил себя арестовать. Одновременно с ним явились с повинной Брюкнер, Фрик, Дрекслер и д-р Вебер. Росбах бежал в Зальцбург, Герман Эссер нашёл себе прибежище по ту сторону чехословацкой границы. Во второй половине дня капитулировал и захвативший штаб военного округа Эрнст Рем — после непродолжительной перестрелки, стоившей жизни ещё двум членам «Кампфбунда». Его знаменосцем в тот день был молодой женоподобный человек в очках — сын уважаемого директора одной мюнхенской гимназии по имени Генрих Гиммлер. Без оружия, молча, члены «Кампфбунда» прошли прощальным маршем, с убитыми на плечах, по городу и разошлись. А сам Рем был арестован.

Тупой героизм Людендорфа имел в первую очередь своим следствием разоблачение Гитлера, который в тот день во второй раз показал свою несостоятельность. Свидетельства его приверженцев расходятся лишь в несущественных деталях. Рассказывают, что ещё до того, как всё было уже решено, он выскочил из скопления бросившихся в укрытие спутников и кинулся наутёк. Он оставил на поле боя убитых и раненых, и когда потом, апологизируя события, говорил, что в той суматохе он был уверен, что Людендорф убит, то тогда это ведь тем более требовало его присутствия. Пользуясь всеобщей неразберихой, он бежит на санитарной машине, а распространявшаяся им самим несколько лет спустя легенда, будто он выносил из-под огня беспомощного ребёнка, которого он как-то раз даже демонстрировал в доказательство своего утверждения, была опровергнута людьми из окружения Людендорфа, да и сам Гитлер от неё потом отказался[422]. Он спрячется в Уффинге у озера Штаффельзее, в шестидесяти километрах от Мюнхена, в загородном доме Эрнста Ханфштенгля и будет лечить полученный вывих ключицы, доставлявший ему большую боль. Заикаясь, он говорил, что всё кончено, и ему следует застрелиться, однако Ханфштенглям удалось отговорить его от этого. Два дня спустя он был арестован и «с бледным, измождённым лицом, на которое падает непослушный клок волос», препровождён в крепость Ландсберг на Лехе. Озабоченный даже в катастрофических ситуациях своей жизни

стремлением произвести эффект, он, прежде чем его увели, велит офицеру арестантской команды приколоть ему на грудь «железный крест» 1-й степени.

И в тюрьме его часто охватывало состояние мрачного отчаяния, он сначала даже думал, «что застрелится»[423]. В течение следующих дней сюда же были доставлены Аман, Штрайхер, Дитрих Эккарт и Дрекслер, в мюнхенских тюрьмах находились д-р Вебер, Пенер, д-р Фрик, Рем и другие, одного только Людендорфа так и не решились посадить. Сам Гитлер чувствовал себя явно неуютно — ведь было несправедливо, что он выжил, во всяком случае, он считал своё дело проигранным. Несколько дней он носился с мыслью — как всегда, совершенно серьёзно — не ждать, когда его поведут на расстрел, а умереть, отказавшись принимать пищу; после Антон Дрекслер будет ставить себе в заслугу, что отговорил его от этой голодовки. И вдова его погибшего друга, госпожа фон Шойбнер-Рихтер, тоже помогала ему бороться с мрачными настроениями этих дней. Ибо неожиданные выстрелы, прозвучавшие у пантеона «Фельдхеррнхалле», означали не только резкий конец казавшегося неудержимым трехлетнего восхождения и всех его тактических соображений, но и — и это в первую очередь — страшное столкновение с действительностью. Начиная с самого первого, доведшего его до состояния оргазма выступления, исполняя под аплодисменты и шум роль великого героя, он жил преимущественно в показном, фантастически иллюминированном мире, околдовывая со сказочных высот комедиантскими трюками массы и самого себя, и уже видел знамёна, армии и триумфальные парады — и вот эта пелена, окутывавшая его сны наяву, вдруг грубо и неожиданно была сорвана. Примечательно, что утраченную уверенность он обретёт, когда станет ясно, что готовится нормальный судебный процесс. Он моментально почувствовал те возможности, которые будут предоставлены ему этой большой сценой, — драматические выступления, публику, аплодисменты. Позднее в одной своей знаменитой фразе он назовёт потерпевшую фиаско операцию 9 ноября 1923 года «может быть, самым большим счастьем» своей жизни, имея при этом в виду, по всей вероятности, не в последнюю очередь предоставленный этим процессом шанс вернуться из состояния отчаяния и безысходности в столь хорошо знакомую ему ситуацию игрока — к возможности, сделав новую ставку, выиграть все и обратить катастрофу неподготовленного и окончившегося позором путча в конечном итоге в триумф демагога.

Процесс о государственной измене, начавшийся 24 февраля

1924 года в здании бывшего военного училища на Блютенштрассе, проходил под знаком молчаливого сговора всех его участников: «лучше всего не касаться сути тех событий». Обвинялись Гитлер, Людендорф, Рем, Фрик, Пенер, Крибель и ещё четверо, а Кар, Лоссов и Зайссер выступали свидетелями, и уже из самой этой своеобразной процессуальной конфронтации, едва ли соответствовавшей сложным перипетиям своей предыстории, Гитлер извлёк максимальную пользу. Он отнюдь не уверял суд в своей невиновности, как это делали, к примеру, участники капповского путча: там каждый клялся, что ничего не знал. Никто ничего не планировал и не хотел. Буржуазный мир был подавлен тем, что у них не нашлось мужества ответить за свой поступок, обратиться к судьям и сказать: «Да, мы этого хотели, мы хотели свергнуть это государство». Поэтому он откровенно признался в своих намерениях, но решительно отверг обвинение в государственной измене.

> «Я не могу признать себя виновным, — заявил он. — Да, я признаю, что допустил этот поступок, но в государственной измене я себя виновным не признаю. Не может быть государственной измены в действии, направленном против измены стране в 1918 году. Между прочим, государственная измена не может состоять в одной только акции 8 и 9 ноября — по меньшей мере её нужно усматривать в отношениях и действиях за недели и месяцы до этого. Если уж мы совершили государственную измену, то я удивляюсь, что те, кто имел тогда такое же намерение, не сидят рядом со мной на этой скамье. Я, во всяком случае, должен отклонить это обвинение, пока моё окружение здесь не будет дополнено теми господами, которые вместе с нами хотели этого поступка, оговаривали и подготавливали его до мельчайших деталей. Я не чувствую себя государственным изменником, я чувствую себя немцем, который хотел лучшего для своего народа»[424].

Никто из тех, против кого была направлена эта атака, не мог ничем ему возразить, и таким путём Гитлер не только сделал из этого процесса «политический карнавал», как писал один из современников, но и сам превратился из обвиняемого в обвинителя, в то время как прокурор неожиданно для самого себя был вынужден выступать в роли защитника бывшего «триумвирата». Председатель суда вёл процесс весьма либерально, он не оборвал ни одного из оскорблений и обвинений в адрес «ноябрьских предателей», и только когда

публика разразилась уж слишком бурной овацией, он мягко попросил её успокоиться. Даже когда оберландский судебный советник Пенер говорил об «этом Фрице Эберте» и заявил, что республика, «её устройство и законы для меня не указ», судья не прервал его. Как сказал один из баварских министров на заседании кабинета 4 марта, суд «пока ничем не дал понять», что он придерживается иных убеждений, «нежели обвиняемые»[425]. Кар и Зайссер в такой ситуации весьма скоро сникли, бывший генеральный государственный комиссар, хмуро уставившись прямо перед собой, попытался в своём изобиловавшем противоречиями выступлении свалить всю вину за операцию на Гитлера, не понимая, что тем самым играет на руку тактике последнего. Только Лоссов защищался очень энергично. Вновь и вновь обвинял он своего противника в том, что тот множество раз нарушал данное слово — «и сколько бы господин Гитлер ни говорил, что это неправда». Фюрера НСДАП он изобразил, со всем презрением, присущим его сословию, «нетактичным, ограниченным, скучным, то бесчувственным, то сентиментальным и уж во всяком случае неполноценным человеком» и представил суду сделанное по его поручению заключение психолога: «Он считал себя немецким Муссолини, немецким Гамбеттой, а его свита, унаследовавшая византийство монархии, называет его немецким мессией». Когда же Гитлер несколько раз прерывал генерала, то вместо «наказания за неуважение к суду», которое, по мнению председательствовавшего, «не имело бы большой практической ценности», получал лишь увещевания умерить свой пыл[426]. Даже первый прокурор в своей обвинительной речи не поскупился на бросавшиеся в глаза комплименты в адрес Гитлера, расхвалив его «уникальный ораторский дар» и посчитав, что было бы «все же несправедливо называть его демагогом». С благожелательным респектом прокурор продолжал: «Свою частную жизнь он сохранил в чистоте, что при всех соблазнах, которые вполне естественно подстерегали его в качестве популярного партийного вождя, заслуживает особого признания… Гитлер — высокоодарённый человек, выбившийся из простых людей на достойную уважения позицию в общественной жизни, — и все это благодаря серьёзному, настойчивому труду. Он отдался со всей самоотверженностью идеям, которыми он живёт, и как солдат честно исполнял свой долг. Его нельзя упрекнуть в том, что он использовал в корыстных целях ту позицию, которую себе создал»[427].

Совокупность всех этих благоприятных обстоятельств чрезвычайно облегчила Гитлеру достижение поворота в процессе. Хотя главную роль тут, конечно же, сыграло его собственное

умение, сделавшее из многократно осмеянного фиаско этого путча триумф и превратившее муки и нерешительность в ту ночь на 9 ноября в героический поступок национального масштаба. Интуитивно и вызывающе проявленная уверенность, с которой Гитлер после только что пережитого тяжёлого поражения встретил процесс и взял на нём всю вину за провалившуюся операцию на себя, дабы оправдать своё поведение высоким именем патриотического и исторического долга, является, без сомнения, одним из его наиболее впечатляющих политических достижений. В своём заключительном слове, точно отразившем самоуверенный характер его поведения на процессе, он, ссылаясь на прозвучавшее замечание Лоссова, которое сводило его до роли «пропагандиста и агитатора», заявил:

> «Какие же маленькие мысли у маленьких людей! Присовокупите ещё убеждение, что я не стремлюсь к завоеванию министерского поста. Я считаю недостойным великого человека желание закрепить своё имя в истории только тем, что он станет министром… То, что стояло у меня перед глазами, было с первого дня больше, нежели министерское кресло. Я хотел стать разрушителем марксизма. Я буду решать эту задачу, и если я её решу, то титул министра был бы для меня просто насмешкой. Когда я впервые стоял перед могилой Вагнера, сердце моё переполнилось гордостью за то, что тут покоится человек, который запретил писать на могильной плите: „Тут покоится тайный советник, музыкальный директор, Его Превосходительство барон Рихард фон Вагнер“. Я горд тем, что этот человек и ещё многие люди немецкой истории довольствовались тем, чтобы оставить потомкам своё имя, а не свой титул. Не из скромности хотел я тогда быть „барабанщиком“, это — высшее, а всё остальное — мелочь»[428].

Естественность, с которой он претендовал на право называться великим человеком и защищался от слов Лоссова, и тон беззастенчивого самовосхваления уже с самого начала производят ошеломляющий эффект и делают его центральной фигурой процесса. Хотя ведомственная переписка с её строгим чинопочитанием до самого конца и упоминает Гитлера после Людендорфа, но это стремление всех сторон щадить генерал-квартирмейстера Великой войны даст Гитлеру дополнительный шанс, который он распознает и использует, — взяв всю ответственность на себя одного, он оттеснит Людендорфа, не давая ему занять вакантную роль вождя всего движения

«фелькише». И чем дальше длился процесс, тем все в большей мере исчезали для Гитлера и авантюрность, ирреальность и полная безысходность операции, и уходило на задний план его, собственно говоря, весьма пассивное и растерянное поведение в колонне в то утро, и, ко всеобщей озадаченности и изумлению, ход событий приобретал все больше и больше вид изобретательно спланированного, вполне увенчавшегося успехом мастерского путча. «Дело 8 ноября не провалилось», — заявит он ещё в зале суда и публично заложит тем самым фундамент грядущей легенды. В последних фразах своего заключительного слова он вдохновенно обрисует видение своего триумфа в политике и истории:

> «Армия, которую мы обучили, растёт с каждым днём, с каждым часом. Именно в эти дни я льщу себя гордой надеждой, что придёт час, когда эти дикие своры станут батальонами, батальоны превратятся в полки, а полки — в дивизии, что старая кокарда будет очищена от грязи, и старые знамёна будут вновь развеваться впереди, и тогда наступит примирение на вечном последнем суде божьем, перед которым мы готовы предстать. Тогда из наших костей и из наших могил донесутся голоса к судии, который один вправе вершить суд над нами. Ибо не вы вынесете нам свой приговор, господа, — приговор будет вынесен вечным судом истории, он скажет своё слово об обвинении, возбуждённом против нас. Тот приговор, который вынесете вы, я знаю. Но тот суд не будет спрашивать нас, замышляли ли мы государственную измену. Тот суд вынесет свой приговор нам, генерал-квартирмейстеру старой армии, его офицерам и солдатам, которые, будучи немцами, хотели лучшего своему народу и отечеству, были готовы сражаться и умереть. И пусть вы хоть тысячу раз признаете нас виновными, — богиня вечного суда с усмешкой порвёт требование прокурора и приговор суда, ибо она оправдает нас».

Приговор мюнхенского народного суда почти полностью совпал, как это точно будет кем-то подмечено, с предсказанным Гитлером приговором «вечного суда истории». Лишь с большим трудом председателю удалось уговорить трех заседателей вообще признать подсудимых виновными, да и то только после того, как он заверил их, что Гитлер со всей определённостью может рассчитывать на досрочное помилование. Само объявление приговора стало событием в жизни мюнхенского общества,

которое рвалось чествовать своего скандалиста, коему оно так рьяно покровительствовало. Приговор, в преамбуле которого ещё раз отмечались «чисто патриотический дух и благороднейшие помыслы» обвиняемых, предусматривал для Гитлера минимальное наказание — пятилетнее тюремное заключение и шестимесячный испытательный срок после отсидки; Людендорф был оправдан. Когда же суд объявил о своём решении не прибегать в отношении человека, «который мыслит и чувствует так по-немецки, как Гитлер», к законодательно предусмотренному положению о высылке нарушивших закон иностранцев, это было встречено публикой в зале суда продолжительной овацией. А когда судьи уже покидали помещение, Брюкнер дважды громко крикнул: «Ну, теперь уж тем более!» Затем Гитлер показался в окне здания суда бурно приветствовавшей его собравшейся толпе. В зале за его спиной высились горы цветов. Государство в очередной раз проиграло схватку.

Всё-таки казалось, что времени подъёма Гитлера пришёл конец. Правда, сразу же после 9 ноября в Мюнхене собирались толпы и устраивали сопровождавшиеся драками демонстрации в его защиту, да и на последовавших вскоре выборах в ландтаг Баварии и в рейхстаг сторонники «фёлькише» получили ощутимую прибавку в поданных за них голосах. Но партия — или камуфляжная форма оной, в какой она продолжала выступать и после запрета, — не объединяемая более столь же магическими, сколь и макиавеллистскими способностями Гитлера, за короткое время распалась на отдельные группы, ревниво и ожесточённо враждовавшие друг с другом и утратившие какое-либо значение. Дрекслер даже жаловался, что Гитлер «своим идиотским путчем полностью развалил партию на веки вечные»[429]. Да и шансы, которыми пользовалась партийная агитация, почти исключительно питавшаяся комплексами общественного недовольства, стали уменьшаться, когда, начиная с конца 1923 года, положение в стране основательно стабилизировалось, в частности, была остановлена инфляция, и в истории республики, столь несчастливо начавшейся, наступил период «счастливых годов». Поэтому, невзирая на все локальные мотивы, 9 ноября следует рассматривать как одну из перипетий более широкой драмы в общей истории веймарского времени — этот день знаменовал собой завершение послевоенного периода. Казалось, что выстрелы у пантеона «Фельдхеррнхалле» принесли заметное отрезвление и обратили остававшийся столь долго замутнённым, блуждавшим в ирреальности взор нации хотя бы частично к

действительности.

Да и для самого Гитлера и истории его партии потерпевшая фиаско ноябрьская операция станет поворотным моментом, а тактические и личные уроки, которые он из неё извлечёт, определят весь его дальнейший путь. И та мрачная торжественность культа, коим он окружит потом это событие, проходя ежегодным мемориальным маршем между дымящимися пилонами и устраивая на площади Кёнигсплац последнюю поверку павшим в то ноябрьское утро и упокоившимся навеки в своих бронзовых гробах, не сводится к одной лишь театромании Гитлера — скорее, это было одновременно и данью уважения удачливого политика одному из памятных уроков его политического образования, ибо тот день и впрямь явился «может быть, самым большим счастьем» его жизни, «подлинным днём рождения» партии[430]. Он принёс ему впервые известность не только за пределами Баварии, но и самой Германии, дал партии мучеников, легенду, романтическую ауру подвергшейся преследованию верности и даже нимб решительности. «Не заблуждайтесь, — говорил потом Гитлер в одной из своих приуроченных к очередной годовщине речей, где поднимал на щит все эти выгоды, приписывая их „мудрости Провидения“. — Если бы мы тогда не выступили, я никогда не смог бы… основать революционное движение. И мне бы с полным правом могли сказать: Ты витийствуешь, как все остальные, и делаешь так же мало, как все остальные»[431].

Стоя на коленях у «Фельдхеррцхалле» под прицелом подкреплявших авторитет государства ружейных стволов, Гитлер в то же время раз и навсегда определил своё отношение к государственной власти, ставшее исходным пунктом последовательного курса на её завоевание, который был развит им в последующие годы и твёрдо проводился вопреки всем продиктованным нетерпением внутрипартийным боям и мятежам. Правда, как мы знаем, он уже и до этого обхаживал власть, чтобы заручиться её благоволением, и его признание, будто бы он «с 1919-го по 1923-й год вообще не думал ни о чём, а только о государственном перевороте»[432], нельзя понимать буквально, но теперь он учился рационализировать свою скорее инстинктивную тягу быть под сенью власти и превращать эту тягу в тактическую систему национал-социалистической революции. Ибо ноябрьские дни научили его, что захват современной государственной структуры насильственным путём бесперспективен и что успех тут может обещать только путь конституционный. Разумеется, это отнюдь не означало готовности Гитлера признавать конституцию как обязывающую

границу в ходе осуществления его притязаний на господство, а было всего лишь решением держать курс на нелегальность под защитой легальности, так что никогда и не возникало сомнения, что все его многочисленные уверения в приверженности конституции в последующие годы имели в виду только одного кумира — закономерность борьбы за власть, да и сам он открыто говорил, что потом придёт время расплаты. «Национальная революция, — писал Шойбнер-Рихтер ещё в своём меморандуме от 24 сентября 1923 года, — не может предшествовать захвату политической власти, а вот завладение средствами полицейской власти создаёт предпосылку для национальной революции»[433]. Сделавшись «Адольфом Легалите»[434] — такой титул дали ему понимавшие что к чему и знавшие толк в иронии современники, — Гитлер стал приверженцем строгого порядка, пожинал симпатии знати и влиятельных инстанций и маскировал свои революционные намерения без устали повторяемыми клятвами о своём примерном поведении и заверениями о приверженности традициям. Прежние тона склонной к насилию агрессивности отныне приглушаются и прорываются весьма робко и довольно редко — он искал не поражения государства, а сотрудничества. Такова была эта тактическая поза, вводящая и по сей день в заблуждение многих обозревателей и толкователей революционных амбиций Гитлера и породившая упрощённую и искажённую картину консервативной, а то и просто реакционной партии мелкой буржуазии.

Концепция Гитлера требовала прежде всего изменения отношения к рейхсверу. Неудачу 9 ноября он не в последнюю очередь объяснит тем, что не сумел привлечь на свою сторону верхушку вооружённых сил. Поэтому уже заключительное слово перед мюнхенским народным судом положило начало тому обхаживанию рейхсвера, что стало одним из незыблемых, защищавшихся с прямо-таки догматическим упорством принципов. «Придёт час, — воскликнул он в зале суда, — когда рейхсвер будет стоять на нашей стороне», и этой цели безжалостно подчинялась, к примеру, и роль собственной партийной армии — включая сюда и кровавый верноподданический адрес от 30 июня 1934 года. Но одновременно он вывел свои штурмовые отряды из-под зависимости от армии — СА не должны стать ни составной частью, ни соперником рейхсвера.

Отсюда поэтому следует, что Гитлер вышел из поражения у «Фельдхеррнхалле» не с одним только резко обозначившимся тактическим рецептом — оно, помимо этого, во многом изменило и его отношение к политике вообще. До этого он проявлял себя

прежде всего своей категорической безусловностью, своими радикальными альтернативами и действовал при этом «как стихийная сила»; политика — по приобретённой им на войне модели бытия — это штурм позиций врага, прорыв его линий, схватка и в конечном итоге всегда победа либо поражение. И только теперь, кажется, Гитлер начинал понимать во всём объёме смысл и шанс политической игры, тактических изысков, лжекомпромиссов и долговременных манёвров и преодолевать своё диктуемое эмоциями, наивно-демагогическое, «художническое» отношение к политике. И тем самым окончательно уходит со сцены захватываемый событиями и собственными импульсивными реакциями агитатор, освобождая место для методически действующего технолога власти. Поэтому неудавшийся путч 9 ноября — одна из огромных и решающих вех в жизни Гитлера: закончились годы его ученья, а в более точном смысле можно сказать, что только теперь и состоялось вступление Гитлера в политику.

Ханс Франк — адвокат Гитлера, а впоследствии генерал-губернатор Польши — в своих показаниях на Нюрнбергском процессе заметит, что «вся жизнь Гитлера в истории», «субстанция всего его характера» проявились в зародыше уже в дни ноябрьского путча. И что тут в первую очередь бросается в глаза, так это сочетание самых противоречивых состояний, характерные самонагнетания и спады чувства, так откровенно напоминающие истерические сны наяву и веру в свои фантазии подростка, планирующего города, сочиняющего оперу и что-то изобретающего, а затем — безо всякого перехода — тяжкое похмелье, жестикуляция все просадившего, отчаявшегося игрока и его сползание в апатию. Ещё в сентябре он самоуверенно объяснял одному из людей его окружения: «Вы знаете римскую историю? Так вот, я — Марий, а Кар — это Сулла; я — вождь народа, а он представляет господствующий слой, но на этот раз победителем выйдет Марий»[435], но при первом же признаке сопротивления, не совладав с нервами, он бросил все. Он оказался не мужчиной, а лишь конферансье, объявившим номер. Да, конечно, он доказал свою способность ставить перед собой большие задачи, однако его собственным нервам его жажда деятельности оказалась не по силам. Он предсказывал «Битву титанов» и ещё недавно, в тот час экзальтации в «Бюргербройкеллере», заявлял, что назад пути нет, что дело стало «уже всемирно-историческим событием», но потом, перед ликом Всемирной истории, бесславно ударился в бега и «не хотел больше и слышать об этом изолгавшемся мире»[436], или, как заявил он на суде, ещё раз сыграл по-крупному и проиграл.

И только красноречием спас он все. Превращение поражения в победу сделало очевидным, как мало умел он понимать действительность и как необыкновенно много — то, как можно её преподать, какие придать ей краски и как сделать все это средствами пропаганды. Лихорадочность его действий, поспешной, колеблющейся и замирающей неуверенности самим решительным образом противостоят хладнокровие и присутствие духа в его поведении на суде.

Во всём этом ощущался элемент игры наудачу и погони за счастьем — отчаянная тяга в безвыходность, к проигранным ставкам. Во всех решающих ситуациях 1923 года он проявлял склонность не оставлять себе возможности тактического выбора — всегда казалось, что в первую очередь он ищет стену, о которую может опереться спиной, и удваивает затем и без того перенапряжённое усилие, что позволительно характеризовать как поведение истинного самоубийцы. Именно в этом смысле он высмеивал старания политики чураться беспощадных инициатив как идеологию «политического лилипутства» и выражал своё презрение по поводу тех, кто «никогда не перенапрягается»; ссылку же на выражение Бисмарка, что политика — это искусство возможного, он называл всего-навсего «дешёвой отговоркой»[437]. И, конечно же, как нечто большее, нежели только отображение его мелодраматического темперамента, следует воспринимать тот факт, что начиная с 1905 года его жизнь сопровождается чередою угроз покончить с собой, что и обрело свою развязку лишь в результате наиглавнейшего вызова — снова безальтернативной ставки на власть над миром или гибель — на диване в бункере рейхсканцелярии. Примечательно, что и его вступление в большую политику тоже прошло под аккомпанемент такой угрозы. Разумеется, многие из его выступлений все ещё казались натужными и не были лишены того пристрастия к патетическому фарсу, от которого он освободился с немалым трудом, но можно ли действительно принимать лишь за одну из проекций последующего опыта ощущение, что вокруг этого возбуждённого актёра уже на том, раннем этапе прямо-таки концентрировалась атмосфера великой катастрофы?

9 ноября 1923 года явилось прорывом. Ещё в полдень того дня, когда колонна приближалась к площади Одеонсплац, один из прохожих спросил: а что, этот Гитлер, что марширует во главе, «вправду парень с угла улицы»[438]? Теперь он принадлежал истории. К совпадениям, проглядываемым между 9 ноября и его жизнью в целом, относится, наконец, и то, что доступа в историю он добился благодаря поражению — точно так же, как и потом, но в неизмеримо увеличенном масштабе, он обрёл прочное место в

ней с помощью катастрофы.

Конец второй книги

notes

Примечания

1

Malaparte C. Technique du coup d'etat. P., 1931. P. 264.

2

Цит. по: Granzow B. A Mirror of Nazism. L., 1964. P. 137-138.

3

Lange K. Hitlers unbeachtete Maximen. Stuttgart, 1968. S. 158.

Valentin Veit. The German People. N. Y., 1946. P. 633.

5

Bracher K. D. The Role of Hitler: Perspectives of Interpretation. In: Fascism. A Reader's Guide. Berkeley; Los Angeles, 1977. P. 224.

Meinecke F. Die deutsche Katastrophe. Wiesbaden, 1947. S. 26.

7

Dehio L. Deutschland und die Weltpolitik im 20. Jahrhundert. Muenchen, 1955. S. 30.

8

Haffner S. Anmerkungen zu Hitler. Muenchen, 1978. S. 8.

9

Fest J. C. Das Gesicht des Dritten Reiches. Profile einer totalitaeren Herrschaft. Muenchen, 1988 (9-е изд.). S. 109.

Fest J. C Op. cit. S. 99, 100.

11

Nolte E. Der Faschismus in seiner Epoche. Muenchen, 1963. S. 34.

12

Nolte E. Op. cit. S. 51.

13

Ibidem. S. 49.

Nolte E. Op. cit. S. 315.

15

Созданная в последние годы XIX века во Франции праворадикальная националистическая организация, которую возглавлял публицист Ш. Моррас (1868-1952). Ей были присущи монархические и антисемитские воззрения. В 1940-1944 гг. сотрудничала с нацистскими оккупантами.

16

Nolte E. Die Krise des liberalen Systems und diefaschistischen Bewegungen. Muenchen, 1968. S. 227.

17

Nolte E. Op. cit. S. 15.

Ibidem. S. 87.

19

Die Zeit, 12. X. 1973. S. 26.

20

The New York Times Book Review, 1974, April 28, p. 1

Shieder T. Hitler vor der Gericht der Weltgeschichte. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27. X. 1973.

Shieder Th. Op. cit.

23

Bracher K. D. Hitler — die deutsche Revolution. In: Die Zeit, 12. X. 1973.

Graml H. Probleme einer Hitler-Biographie. Kritischc Bemerkungen zu Joachim C. Fest. In: Vierteljahreshefte fuer Zeitgeschichte, 1974, H. 1. S. 87-88.

Mosse G. L. Intervista sul nazismo. Bari, 1977. P. 44.

Taylor A. J. P. Politics in Wartime. L., 1964. P. 197.

Heuss Th. Hitlers Weg. Tuebingen, 1968 (1-е изд.1932). S. XXXI.

28

Марий Гай (156-86 до н. э.), римский полководец и политический деятель, выходец из незнатной среды, возглавлял популяров, опиравшихся на народное собрание. Сулла Луций Корнелий (138-78 до н. э.), римский полководец и государственный деятель, происходил из патрицианского рода. В ходе гражданской войны одержал победу над Марием и его сторонниками, жестоко расправившись с ними. В 83 г. до н. э. провозгласил себя диктатором, опирался на сенатскую аристократию (оптиматов).

29

Moeller van den Bruck A. Das dritte Reich. B., 1923. S. 228.

30

Цит. по: Archiv fuer Sozialgeschichte. Bonn; BadGodesberg, 1972, Bd. XII. S. 413.

31

Pechel R. Deutscher Widerstand. Erlenbach; Zuerich, 1947. S. 279-280.

32

См. Tyrell A. Von «Trommler» zum «Fuhrer». Muenchen, 1975.

Fest J. Hitlers Krieg. In: Vierteljahreshefte fuer Zeitgeschichte, 1990, H. 3. S. 372-373.

Цит. по: Кин Ц. Итальянский ребус. М., 1991, с. 33.

Schieder Th. Op. cit.

36

Voelkischer Beobachter, 6. VI. 1936. Цит. по: SchoepsJ. H. Konservativismus — ein Denkstil der Vergangenheit? In: Die Mitarbeit, 1976, H. 4. S. 298.

Zitelmann R. Hitler. Selbstverstaendnis einerRevolutionaers. Hamburg, 1987. S. 458, 459, 460.

Ibidem. S. 457.

39

Винкельман Иоганн Иоахим (1717-1768), выдающийся немецкий искусствовед и археолог, автор знаменитой«Истории искусства древности».

40

Об этой книге Т. Манна см. блестящую статью Б. М.Парамонова: Шедевр германского «славянофильства» //Звезда, 1990, № 12.

41

См. Binion R, Hitler und die Deutschen: eine Psychohistorie. Stuttgart, 1978.

Schreiber G. Hitler. Interpretationen 1923-1983. Darmstadt, 1984. S. 324.

См. Waite R. The Psychopatic God Adolf Hitler. N. Y., 1977.

См. Mosse G. L. The Nationalization of the Masses. N. Y., 1975.

Эта мысль Ранке приводится в одной из работ Конрада Хайдена, которому автор считает себя в некотором отношении обязанным, поскольку эта наиболее ранняя попытка исследования таких явлений как Гитлер и национал-социализм по смелости постановки вопросов и свободе суждений и сегодня не знает себе равных.

46

Слова полковника фон Герсдорфа генерал-фельдмаршалу фон Манштейну, цит. по: Ehlers D. Technik undMoral einer Verschwoerung, S. 92.

47

Из выступления 24 февраля 1937 года в мюнхенской пивной «Хофбройхауз», цит. по: Kotze H. v., Krausnick H. Es spricht der Fuehrer, S. 107.

48

Trevor-Roper H. R. (Hrsg.) Предисловие к «Le Testament politique de Hitler», p. 13.

49

Автором книги был некий Фратеко; на французском языке она вышла в том же году в Париже под названием «M. Hitler, Dictateur».

50

Из выступления 20 мая 1937 года, цит. по: Kotze H. v., Krausnick H. Op. cit. S. 223.

51

Burckhardt J. Gesammelte Werke. Bd. 4, S. 151 ff. Кстати, в своём знаменитом письме Клаусу Манну Готфрид Бенн, говоря о Гитлере, прямо ссылался на точку зрения Буркхардта и писал: «Однако сегодня у нас Вы можете то и дело услышать вопрос: создано движение Гитлером или Гитлер создан движением? Этот вопрос является характерным, ибо оба эти явления невозможно отличить, поскольку они идентичны. Здесь действительно имеется то магическое совпадение индивидуального и общего, о котором Буркхардт говорит в своих „Размышлениях о всемирной истории“, описывая великих деятелей мирового исторического процесса. Великие деятели — в них есть все: опасности в начале, их появление почти всегда только в страшные времена, необыкновенная выдержка, сверхъестественная лёгкость во всём, в том числе в том, что следует делать, но кроме того ещё и свойственное всем мыслящим людям предчувствие, что именно он и есть тот, кто призван к свершениям, посильным только ему и никому другому». См.: Benn G. Gesammelte Werke. Bd. 4, S. 246 f.

Burckhardt J. Op. cit. S, 175 ff.

53

Так писал Бисмарк в письме к своей невесте 17 февраля 1847 года, цит. по: Rothfels H. (Hrsg.) Bismarck Briefe. Goettingen, 1955. S. 69.

Mann Th. Bruder Hitler. In: Mann Th. Gesammelte Werke (В дальнейшем — GW). Bd. 12, S. 778.

55

Tahlheimer A. Gegen der Strom. Organ der KPD (Opposition), 1929, цит. по: Abendroth W. (Hrsg.) u. a. Faschismus und Kapitalismus, S. 11. Мы не будем здесь останавливаться подробно на различных теориях, касающихся Гитлера, и попытках объяснить это явление. Широкий обзор даёт, например, К. Д. Брахер: Bracher K. D. Die deutsche Diktatur. S. 6 ff., но прежде всего К. Хильдебрандт: Hildebrandt K. Der Fall «Hitler». Bilanz und Wege der Hitler-Forschung. In: Neue politische Literatur, 1969, H. 3, S. 375 ff.

Kuehnl R. Der deutsche Faschismus. In: Neuepolitische Literatur, 1970, H. 1, S. 13.

Эта оговорка не лишена оснований. Она касаетсятех работ, которые занимаются отдельными сторонами биографии Гитлера, роли женщин в его окружении, как в целом, так и по отдельности, и придают большое значение, например, злоупотреблению диктатором наркотиками или его головной боли, нежели идеологическим моментам, мировомуэкономическому кризису или определённым авторитарнымтрадициям немецкого понимания государственности. Сюдаже относятся и те идеологически предвзятые толкования, которые представляют Гитлера «выкормышем» некоей «нацистской клики» промышленников, банкиров и крупныхземлевладельцев, и, строго говоря, лишь перекраивают оспариваемый тезис о том, что историю делают личности, подгоняя его под «этих капиталистов». И в этом случае речь идёт охвалебной литературе, только со знаком минус и скрытымапологетическим мотивом. Сам же Гитлер и тут, и там полностью выпадает из исторического контекста и превращаетсяв абстрактное зло; см., например: Czichon E. Wer verhalfHitler zur Macht?; его же Der Primat der Industrie. In: DasArgument, H. 47; а также другие номера журнала, посвящённые проблеме фашизма (33, 41). Полный перечень литературы о левых теориях и их затрудненияхв плане анализаявления Гитлера см.: Hennig E. Industrie und Faschismus. In:Neue politische Literatur, 1970, H. 4, S. 432 ff.

Burckhardt J. Op. cit. S. 166.

59

«Фелькише» — расистско-националистическое движение, возникшее в Германии в последней четверти XIXв., с ярко выраженной антисемитской направленностью, ставшее идеологической предтечей национал-социализма. — Прим. переводчика.

Norte E. Der Faschismus in seiner Epoche, S. 451.

61

См., например: Frank H. Im Angesicht des Galgens, S. 137, 291; Heiber H. Adolf Hitler, S. 157.

62

Из выступления Гитлера 23 мая 1939 года в рейхсканцелярии перед руководителями вермахта, цит. по: Domarus M. Hitler. Reden und Proklamationen, S. 1197.

Augstein R. Hitler, und was davon blieb. In: Der Spiegel, 1970, Nr. 19, S. 100 f.

Hitler A. Mein Kampf, S. 388.

Burckhardt J. Op. cit. S. 166.

См.: Dietrich O. Zwoelf Jahre mit Hitler, S. 149; Heiden K. Geschichte des Nationalsozialismus, S. 75.

Ribbentrop J. v. Zwischen London und Moskau, S. 45.

См.: Der Spiegel, 1967, Nr. 31, S. 46. О приступеярости из-за могильной плиты см.: Speer A. Erinnerungen, S.lllf.

69

См.: Zoller A. Hitler privat, S. 196.

См.: Der Spiegel, 1967, Nr. 31, S. 40.

Jetzinger F. Hitlers Jugend, S. 11.

Ibid. S. 19 f.

73

Maser W. Adolf Hitler. Legende, Mythos, Wirklichkeit, S. 34, а также: Der Spiegel, 1967, Nr. 31, S. 40 ff., где тоже приводятся выводы Мазера. По поводу обстоятельств, рассказанных Хансом Франком, см.: Frank H. Im Angesitht des Galgens, S. 320 f., а также: Maser W. Hitler, S. 26 f. Мазер, конечно же, не может доказать свой тезис, тем не менее, он излагает свои аргументы так, будто они уже доказаны. Даже тот факт, что Гюттлер не усыновлял Алоиса до смерти жены, которая скончалась в 1873 году, он расценивает как веский аргумент в свою пользу, в то время как отсюда скорее напрашивается вывод о том, что дело обстоит отнюдь не так, как он полагает. Ибо вести себя столь тактично Гюттлер должен был бы только в том случае, если бы он сам признал себя отцом Алоиса и усыновил его. Столь же сомнительны и все остальные аргументы. Кроме того, Мазер вообще не может привести ни одного объяснения поведению Гюттлера, которое бы стопроцентно подтверждало его точку зрения и исключало любую другую. Гипотеза о том, что требование Гюттлера изменить фамилию было условием признания Алоиса Шикльгрубера наследником, существует давно, см., например: Kubizek A. Adolf Hitler, mein Jugendfreund, S. 59. Впрочем, в связи с этим нельзя не заметить, что вопрос о том, кто был дедом Гитлера, имеет на самом деле второстепенное значение; разве что версия Ханса Франка могла бы придать этому вопросу новую психологическую окраску, в остальном же он не представляет никакого существенного интереса.

74

См. письмо Алоиса Гитлера Алоису Файту от 9 октября 1876 года, HA, File 17A, R 1, и там же заявление старшего таможенного секретаря Хебенштрайта от 21 июня 1940 года.

По свидетельству Розалии Херль, НА. Op. cit.

Hitler A. Mein Kampf, S. 4.

Ibid. S. 6, 8; о якобы имевших место эпизодах сотцом-пьяницей см.: Frank H. Op. cit. S. 331.

Hitler A. Mein Kampf, S. 8; подробнее об оценках втабеле успеваемости см.: Jetzinger F. Op. cit. S. 100 ff.

79

См.: Goerlitz W., Quint H. A. Adolf Hitler. Eine Biographie, S. 34 f., а также: Kubizek A. Op. cit. S. 68.

80

Picker H. Hitlers Tischgespraeche (далее — Tischgespraeche), S. 324.

81

Hitler A. Mein Kampf, S. 16. В подтверждение Гитлер ссылается на «тяжёлую болезнь лёгких», однако это утверждение, по крайней мере, в данном виде, явно не состоятельно. См.: Jetzinger F. Op. cit. S. 148, а также: Heiden K. Hitler. Bd. 1, S. 28. Об истории с выпивкой пишет и А. Цоллер, см.: Zoller A. Op. cit. S. 49, где Гитлер объясняет этим своё отвращение к алкоголю.

Насчёт истории с выброшенным табелем см. запротоколированное свидетельство Н. Хайма от 8-9 января 1942 года, цит. по: Maser W. Hitler, S. 68 ff.

82

Kubizek A. Op. cit. S. 72; ibid. S. 55, здесь же говорится о том, что отец и после своей смерти долго ещё оставался для него силой, которой он побаивался.

83

Ibid. S. 25; см., кроме того, докладную записку Вильгельма Хагмюллера руководству Верхнедунайской области в 1942 г.: Goerlitz W., Quint H. A. Op. cit. S. 38.

Hitler's Table Talk, S. 191, 195.

85

Kubizek A. Op. cit. S. ПО; мнения знакомых, крёстных родителей и учителей о характере молодого Гитлера приводятся в кн.: Deuerlein E. Der Aufstieg der NSDAP 1919-1933, S. 67; Jetzinger F. Op. cit. S. 105 f., 115 f.

86

Кубицек часто подчёркивает бросающуюся в глаза склонность Гитлера подменять реальность мечтой, см., например: Kubizek A. Op. cit. S. 100 f. Описанную ниже историю с лотерейным билетом см.: Ibid. S. 127 ff.

Tischgespraeche, S. 194; Hitler A. Mein Kampf, S. 35.

Kubizek A. Op. cit. S. 79.

89

Ibid. S. 140 ff. Эта сцена выглядит, конечно, преувеличенно стилизованной, да и вообще следует сказать, что достоверность свидетельств Кубицека не может не вызывать серьёзных сомнений. Нужно также иметь в виду, что свои воспоминания он писал с целью прославить Гитлера. Ценность книги не столько в достоверном фактическом материале, сколько в описании и оценке — нередко, помимо желания самого автора — характера Гитлера.

90

Цит. по: Kubizek A. Op. cit. S. 147. Правописание Гитлера страдает здесь, как и долго ещё потом, такими же существенными огрехами, как и его знание синтаксиса. См. также: Hitler A. Mein Kampf, S. 18.

91

Hitler A. Mein Kampf, S. 3, 17. О «прекрасном сне» Гитлер говорит там же: Ibid. S. 16. См. по этому поводу также письмо А. Кубицеку от 4 августа 1933 года, в котором Гитлер пишет о «лучших годах моей жизни»; опубликовано в кн.: Kubizek A. Op. cit. S. 32. См. кроме того: A. Hitler in Urfahr, HA, File 17, Reel 1.

92

Так сообщил автору А. Шпеер; см. также: Zoller A. Op. cit. S. 57. О мечте Гитлера уйти из политики см.: Tischgespraeche, S. 167 f.; Zoller A. Op. cit. S. 57.

93

См.: Grosse Politik. Bd. 22, Nr. 7349-7354; Polit.Archiv Bonn (Далее — PAB), DU. 131, Bd. 36.

См.: Andics H. Der ewige Jude, S. 192; относительно этого и вышеприведённого цифрового и фактического материала см. также: Jenks W. A. Vienna and the Young Hitler, p.113 ff. В 1913 году среди студентов медицинского факультета евреев было 29 %, на юридическом факультете — 20, 5 %, а на философском отделении — 16, 3 %. В отличие от этого доля евреев в общем количестве совершенных преступлений составляла лишь 6, 3 % и была значительно ниже их пропорции по отношению к населению в целом; см.: Jenks W. A. Op. cit. p. 121 f.

95

Hitler A. Mein Karnpf, S. 18 f. Приведённый нижеклассификационный список опубликован в кн.: Heiden K.Hitler. Bd. 1, S. 30.

Hitler A. Mein Karnpf, S. 19.

Ibidem.

98

Из свидетельства д-ра Эдуарда Блоха, датированного 7 ноября 1938 года, Bundesarchiv Koblenz (далее — BAK), NS 26/17a; см. кроме того: Hitler A. Mein Karnpf, S. 223. Слова матери приводятся по кн.: Kubizek A. Op. cit. S. 158.

99

См.: Maser W. Hitler, S. 82 ff., а также доклад венского отделения гестапо от 30 декабря 1941 года в кн.: Smith B. F. Adolf Hitler. His Family, Childhood and Youth, p. 113.

Hitler A. Mein Karnpf, S. 20.

101

Ibidem.

102

Точный подсчёт месячных доходов Гитлера проделан Ф. Етцингером, который с педантичной скрупулёзностью выявил все источники доходов и точное имущественное положение Гитлера. Приведённое здесь же сравнение доходов также сделано этим автором. Интересно в этой связи указать на то, Муссолини, который в это же время был главным редактором газеты «Л'авенирре дель лавораторе» в австрийском городе Триент и секретарём социалистической рабочей палаты, получал за обе эти должности в общей сложности 120 крон, то есть не намного больше, чем имел безработный Гитлер. См. в связи с этим: Kirkpatrick I. Mussolini, S. 38.

103

Kubizek A. Op. cit. S. 126, 210-220, 256 f., 281, 307; а также: Jetzinger F. Op. cit. S. 194 ff. Относительно заявления Гитлера, что «Тристана» он слушал в Вене раз тридцать-сорок, см.: Hitlers Secret Conversations. New York, 1953, p. 270 f. Между прочим, У. Дженкс подсчитал, что в пору пребывания Гитлера в Вене Рихард Вагнер был, бесспорно, самым популярным оперным композитором — в одном только Придворном оперном театре его оперы выдержали в общей сложности не менее 426 вечерних представлений. См.: Jenks W. A. Op. cit. S. 202.

Kubizek A. Op. cit. S. 195, 197.

105

Heiden K. Hitler. Bd. 1, S. 30 f.; Однако Хайден явно путает даты. Он ошибочно полагает, что второй экзамен состоялся ещё до того, как умерла мать, считая днём её смерти 21 декабря 1908 года (вместо 1907).

106

Tischgespraeche, S. 323, 422, 273. А. Кубицек тоже рассказывает об одном резком выпаде Гитлера по поводу академии. Однако этот эпизод связан, видимо, с первым отказом в приёме в академию, поскольку во время второй неудачной попытки поступления Кубицека в Вене не было, а, вернувшись, он уже больше не встречался с Гитлером. См.: KubizekA. Op. cit. S. 199.

107

Heiden K. Geburt des Dritten Reiches, S. 30; это письмо написано Гитлером во время кризиса, связанного с бунтом Стеннеса.

108

Hitler A. Mein Kampf, S. 22. Аналогичный вывод делает, например, Стефан Цвейг. Он пишет, что «самая большая угроза», которая когда-либо существовала «в мире буржуа», — «это снова стать пролетарием». См.: Zweig S. Die Weit von gestern, S. 50, а также: Heiden K. Geschichte, S. 16.

109

Greiner J. Das Ende des Hitler-Mythos, S. 25. Воспоминания Грайнера о Гитлере вызывают, правда, многочисленные вопросы — тем более, что в отличие от Кубицека у Грайнера нет никаких доказательств близкого, как он утверждает, знакомства с Гитлером. И всё же в его записях содержатся кое-какие сведения, обогащающие наши знания. Однако использовать их можно лишь в том случае, когда они находят подтверждение в других свидетельствах или совпадают с документированными особенностями поведения Гитлера; впрочем, и тогда их нельзя принимать безоговорочно. Кстати, на стр. 14 Грайнер отмечает, что уже в первый момент своего знакомства с Гитлером он «сразу же… обратил внимание на высокую культуру его речи». Да и возмущение Гитлера по поводу «нравственной и моральной чёрствости»людей, с которыми он встречался тогда в Вене, а также «низкого уровня их духовной культуры» уже по самой своей терминологии являются отражением чувств мелкого буржуа, озабоченного сохранением своего положения в обществе; см.:Hitler A. Mein Kampf, S. 30.

По поводу упомянутого мнения соседки см. показания Марии Вольраб и Марии Феллингер в: HA, File 17, Reel l.

Hitler A. Mein Kampf, S. 15.

Kubizek A. Op. cit. S. 220 f.

112

Ряд немецких и австрийских художественных обществ конца XIX — начала XX вв., возникших на почве оппозиции академизму. Кружок венских сецессионистов образовался в 1897 году, в него входили такие художники как Г. Климт, К. Мозер, Й. М. Ольбрих, Й. Хофман и др. — Ред.

113

Hitler A. Mein Kampf, S. 282.

Ibid. S. 41 f.

115

Фрейр — в скандинавской мифологии бог, олицетворявший растительность, урожай, богатство и мир.

116

См.: Daim W. Der Mann, der Hitler die Ideen gab. Ланц и патологическая структура его мышления предстают в особом свете, когда узнаешь, что помимо Гитлера он считал своими учениками также лорда Китченера и, главным образом, Ленина, которые, по его мнению, были единственными, кто сравнительно рано признал его учение и сделал из него свои выводы. Главный труд Ланца, вышедший в 1905 году, имел уже сам по себе весьма примечательное название: «Теозоология, или Учение о подражателях содомлян и божественном электроне. Введение в старейшее и новейшее мировоззрение и оправдание княжества и дворянства». По его мнению, голубоглазо-белокурые герои-арии являлись«лучшим творением богов» и были снабжены электрическими органами и даже приемо-передающими станциями. Путём евгенической стимуляции и выращивания чистой породы раса героев-ариев должна будет получить новое развитие и вновь обрести божественные электромагнитные и радиологические органы и силы. Присущее эпохе чувство страха, стремление к созданию элитарных тайных союзов и модное дилетантское обожествление естественных наук — и все это в сочетании с заметной склонностью к интеллектуальному и личному авантюризму — и нашло себе место под крышей этого учения.

Дайм явно переоценивает то влияние, которое Ланц оказал на Гитлера; влияние это, безусловно, не выходит за рамки, очерченные в тексте. Совсем иначе обстоит дело, и это совершенно очевидно, с некоторыми главарями национал-социалистов рангом пониже — такими, например, как Дарре или в первую очередь Генрих Гиммлер. Неважно как, прямо или косвенно, но и в племенных картотеках Главного ведомства СС по делам чистоты расы и народорасселения, и в практике истребления людей — шла ли речь просто о «жизни, недостойной жизни,» или о евреях, славянах и Цыганах, — причудливые и поощрявшие убийства разглагольствования основателя ордена продолжали по-своему жить.

117

См.: запротоколированное свидетельство Генриха Хайма, цит. по: Maser W. Hitler, S. 236.

«Цирюльник».

119

По всему этому комплексу вопросов см.: Kubizek A. Op. cit. S. 70ff, 107, 112f, а также: Hitler A. Mein Karnpf, S. 10 f. Утверждение Гитлера, будто к антисемитизму он пришёл только в Вене благодаря собственному убеждению и собственному углублённому изучению проблемы, опровергает, например, и Г. Шуберт, см.: Schubert G. Anfaenge nationalsozialistischer Politik, S. 11 f.; там же есть данные и о том, что Гитлер рано начал читать «Линцер флигенде блеттер». См. в этой связи также: Banuls A. Das voelkische Blatt «Der Scherer». Ein Beitrag zu Hitlers Schulzeit. In: Vierteljahreshefte fuer Zeitgeschichte (далее — VJHfZ), 1970, H. 2, S. 196 ff.

Hitler A. Mein Karnpf, S. 59 ff.

121

Greiner J. Op. cit. S. ПО. См. в этой связи также: Bullock A. Hitler. Eine Studie ueber Tyrannei, S. 35 f. или: Shirer W. Aufstieg und Fall des Dritten Reiches, S. 43, где также признается некоторая правдоподобность дискуссионного тезиса, выдвинутого впервые, кажется, Рудольфом Олденом.

122

Hitler A. Mein Karnpf, S. 357. Высказанное «со всей определённостью» заверение, что ни в Линце, ни в Вене у Гитлера не было никаких связей с женщинами, исходит от Кубицека и касается, естественно, только времени, которое они провели вместе; см.: Kubizek A. Op. cit. S. 276.

123

См.: Nolte E. Faschismus, S. 359.

124

Greiner J. Op. cit. S. 78 f. И Кубицек тоже замечает, что Гитлер нередко называл себя «шенерерианцем душой и телом» ; Kubizek A. Op. cit. S. 297.

125

См.: Bracher K. D. Diktatur, S. 46 f., Carsten F. L. Der Aufstieg des Fschismus in Europa, S. 37 ff.; Pulzer P. G. J. Die Entstehung des politischen Antisemitismus in Deutschland und Oesterreich.

Так называлась территория, ставшая основой образовавшегося в 1156 году Австрийского герцогства. Тем самым подчёркивается немецкий характер Австрии. — Ред.

127

Hitler A. Mein Karnpf, S. 59, 74.

Ibid. S. 133 f. См. в этой связи также: Bracher K. D. Diktatur, S. 53 ff.

129

Другого мнения придерживается главным образом В. Мазер (Maser W. Die Fruehgeschichte der NSDAP, S. 92.), который больше доверяет тут Кубицеку, а не Гитлеру, хотя ничем не обосновывает свою точку зрения. Её и невозможно обосновать. Высказывание Гитлера, что он интересовался политикой лишь «между прочим», Мазер считает «смещённым во времени». Но представление, будто Гитлер уже в молодые годы должен был бы проявить элементарный интерес к политическим вопросам, поскольку впоследствии стал видным политиком, тоже смещено во времени и, главное, недооценивает сути гитлеровского отношения к политике. По поводу приведённых цитат Гитлера см.: Hitler A. Mein Kampf, S. 36, 40 ff.; там Гитлер признается и в том, что, когда он пришёл на стройку, его знания о профсоюзной организации были «ещё равны нулю», и нет ни малейшего основания не верить этому. Антисемитизм Гитлера тогда тоже не был до конца последовательным. Ханиш, живший вместе с Гитлером в мужском общежитии, утверждал даже в 1936 году, что в Вене Гитлер не был антисемитом, и приводил обширный список евреев, с которыми Гитлер, якобы, поддерживал сердечные отношения, см.: Smith B. F. Op. cit. S. 149.

Tischgespraeche, S. 323; Greiner J. Op. cit. S. 14.

131

См.: Jahrbuch der KK Zentralanstalt fuer Meteorologie. 1909, S. A 108, A 118, цит. по: Smith B. F. Op. cit. S. 127. Против К. Хайдена и последующей историографии, придерживающейся его взглядов, будет выступать главным образом В. Мазер (Maser W. Fruehgeschichte, S. 77). Не подкрепляя, как всегда, своих суждений достаточно весомыми аргументами, он утверждает, что «наверняка» не материальные мотивы вынудили Гитлера поселиться в ночлежке. Но при оценке финансового положения Гитлера Мазер исходит из того, что доставшаяся ему от отца доля наследства шла ему в виде пожизненной ренты. На самом деле она составляла около 700 крон и была раньше или позже — в зависимости от интенсивности расходов Гитлера — истрачена. Стремясь во что бы то ни стало отстоять свой тезис о материальной обеспеченности Гитлера, Мазер считает даже возможным (а затем и вполне вероятным), что Гитлер поселился в ночлежке, «дабы изучить эту среду» (!!).

132

Libres Propos sur la Guerre et la Paix, p. 46. Сразу после аншлюса Австрии Ханиш был арестован гестапо и, по всей видимости, вскоре убит. Во всяком случае, из письма одного из его друзей, кондуктора Ханса Файлера, следует, что уже 11 мая 1938 г. он был мёртв. И просто безнравственно упрекать бродягу и подёнщика Ханиша за то, что он, не имея ни малейшей научной подготовки, дерзнул немного-немало, как предложить свои воспоминания о Гитлере за деньги, а после 1933 года даже набрался наглости заявить о готовности придать своему рассказу положительную окраску. См.: Maser W. Fruehgeschichte, S. 70.

133

Рассказ Ханиша не датирован. Познакомиться с ним можно в BAK NS 26/64. Все используемые ниже цитаты взяты оттуда. См., кроме тбго, сведения Ханиша, сообщённые Р. Олдену: Olden R. Hitler, S. 46 ff., затем: Heiden K. Hitler. Bd. 1, S. 37.

134

Heiden K. Hitler. Bd. 1, S. 43. Несколько интересных деталей о мужском общежитии, в котором жил Гитлер, приводится в кн.: Jenks W. A. Op. cit. S. 26 ff. Согласно этому источнику, обитатели общежития не должны были зарабатывать более 1500 крон в год, в здании общежития было 544койки, и оно являлось четвёртой постройкой такого рода, осуществлённой на средства фонда по борьбе с нехваткой жилья. В Вене действительно царила, как об этом пишет в«Майн кампф» и Гитлер, просто невообразимая нехватка жилья. С 1860 по 1900 гг. население города увеличилось на259 %, по темпам роста населения Вена занимала второе место в Европе после Берлина (281%). Так, например, в Париже прирост населения составил всего 60%. Как следует из приведённых Дженксом статистических данных, в восьми населённых преимущественно рабочими районах Вены на одно жилое помещение приходилось в среднем от 4, 0 до 5, 2 человека.

135

См.: Kubizek A. Op. cit. S. 203, 205, а также Greiner J. Op. cit. S. 100; там же содержатся сведения о том, что Гитлер отличался неуживчивостью характера и излишней горячностью в спорах.

136

Greiner J. Op. cit. S. 106 ff., 38 ff., 78. О том, что он уже тогда занимался проектами по перестройке Берлина, Гитлер расскажет сам в одной из своих застольных бесед, см.: Libres propos, p. 46.

137

Hitler A. Mein Kampf, S. 35.

138

Mann Th. Leiden und Groesse Richard Wagners. GW. Bd. 10, S. 346.

139

Murger H. Scenes de la vie de Boheme. Paris, 1851, S. VI. См. также: Michels R. Zur Soziologie der Boheme und ihrer Zusammenhaenge mit dem geistigen Proletariat. In: Jahrbuch fuer Nationaloekonomie und Statistik, 1932, Nr. 136, S. 802 ff. Согласно знаменитому эссе Дьёрдя Лукача о Теодоре Шторме, порядок, самоотверженность и выдержка являются главными элементами буржуазного образа жизни, см.: Schriften zur Literatursoziologie, S. 296 ff. В связи с упомянутыми литературными свидетельствами о конфликте между буржуазной молодёжью и школой представляется интересным тот факт, что «Пробуждение весны» Франк Ведекинд написал ещё в 1891 году, но поставлена эта пьеса была лишь в 1906 году и сразу же снискала большой успех. См. по этому поводу также: Zweig S. Op. cit. S. 43 ff.

140

Rauschning H. Gespraeche mit Hitler, S. 215 f.; Speer A. Notiz fuer den Verfasser v. 13. Sept. 1969, S. 6, а также: Ziegler H. S. Adolf Hitler aus dem Erleben dargestellt, S. 125.

141

Mann Th. GW. Bd. 12, S. 775 f.

142

Вальхалла, Вальгалла, Валгалла («чертог убитых»), в скандинавской мифологии находящееся на небе, принадлежащее богу победы Одину жилище, где продолжают жить павшие в битвах храбрые воины, эйнхерии.

143

Reck-Malleczewen F. P. Tagebuch eines Verzweifelten, S. 27.

144

Имеются в виду тесные отношения Р. Вагнера с баварским королём Людвигом II (1845 — 1886). — Ред.

145

Wagner R. Gesammelte Schriften. Bd. 11, S. 334 f. См. также эссе «Kunst und Revolution», ibid. Bd. 3, S. 35 ff.; Freund M. Abendglanz Europas, S. 226.

Hitler A. Mein Kampf, S. 43; Kubizek A. Op. cit. S. 220.

147

Из выступления в Гамбургском национальном клубе, см.: Jochmann W. Im Kampf um die Macht, S. 85.

148

См.: Kubizek A. Op. cit. S. 294 ff.; Heiden K. Hitler. Bd. 1, S. 45. Приводимый ниже рассказ Ханиша основывается, очевидно, на заблуждении, поскольку роман Келлермана вышел в 1913 г., т. е. уже после того, как Ханиш и Гитлер поссорились. Тем не менее, можно предположить, что речь идёт о каком-то фильме на ту же тему.

149

Сделанная выше оговорка касается и эпизода, о котором рассказывает Й. Грайнер, см.: Greiner J. Op. cit. S. 40 ff.; однако с психологической точки зрения он вполне убедителен.

Hitler A. Mein Kampf, S. 44, 46.

151

Подробнее об этой истории см.: Heiden K. Hitler. Bd. 1, S. 48f.

152

Chamberlain H. St. Die Grundlagen-des 19.Jahrhunderts. Bd. 1, S. 352.

153

Bullock A. Op. cit. S. 32; о вопросе во всей его совокупности см. также: Zmarzlick H.-G. Der Sozialdarwinismus als geschichtliches Problem. In: VJHfZ, 1963, H. 3, S. 246 ff.

Tischgespraeche, S. 447, 179, 245, 361, 226; выражения такого рода часто встречаются, и не только там, главным же образом — в речах военного времени.

155

Nietzsche F. Die froehliche Wissenschaft. Stuttgart, 1950, S. 113 ff.

156

Персонажи германо-скандинавской мифологии и опер Р. Вагнера. — Ред.

Gutmann R. Richard Wagner, S. 155, 350.

Jetzinger F. Op. cit. S. 230 ff.

159

Hitler A. Mein Kampf, S. 173.

160

Из показаний Гитлера 24 февраля 1924 года на процессе в мюнхенском народном суде, см.: Boepple E. AdolfHitlers Reden, S. 96; Hitler A. Mein Kampf, S. 137.

161

Mann Th. GW. Bd. 9, S. 176.

В эссе «Мюнхен — культурный центр» при сравнении Мюнхена и Берлина говорится: «Здесь ты — в искусстве, там — в политике и экономике; см.: Mann Th. GW. Bd. II, S. 396.

Хотя это произведение и вышло только в конце 20-х годов, но его название, ставшее вскоре девизом, точно передаёт те «мюнхенские» настроения начала века.

163

См.: Jetzinger F. Op. cit. S. 115; Kubizek A. Op. cit. S. 215.

Hitler A. Mein Kampf, S. 135 f.

165

О совокупности причин отъезда из Вены см.: Hitler A. Mein Kampf, S. 134 ff.

166

Описание истории с освидетельствованием основано на разысканиях Етцингера (Jetzinger F. Op. cit. S. 253 ff.), благодаря которому и стали известны эти обстоятельства. Там же опубликовано и послание Гитлера в адрес магистрата города Линца.

167

См.: Hitler A. Mein Kampf, S. 138 f.; 163; Heiden K. Hitler. Bd. 1.S.53.

168

См.: Maser W. Hitler, S. 94 f. О нереализованных юношеских мечтах Гитлер рассказал Г. Хофману 12 марта 1944 года. См. протокол бывшего главного архива НСДАП: BAK NS 26/96.

169

Greiner J. Op. cit. S. 119. Правда, Етцингер высказал обоснованное сомнение в том, что в упомянутое время Грайнер вообще встречался с Гитлером. См. также: Heiden K. Hitler. Bd. 1, S. 52; Maser W. Hitler, S. 120, 122.

Hitler A. Mein Kampf, S. 173.

171

Mann Th. Betrachtungen eines Unpolitischen, S. 461.

172

Жорж Сорель на рубеже двух веков несколько упростил замечание Прудона. Полностью оно звучит так: «Война — это оргазм универсальной жизни, который оплодотворяет и приводит в движение хаос — прелюдию всего мироздания и, подобно Христу Спасителю, сам торжествует над смертью, ею же смерть поправ» — цит. по: Freund M. Abendglanz Europas, S. 9. Под названием «Священные песнопения» Габриеле д'Аннунцио выпустил сборник своих стихов, в которых ратовал за вступление Италии в войну.

Meinecke F. Die deutsche Katastrophe, S. 43.

Hitler A. Mein Kampf, S. 179.

175

Heiden K. Hitler. Bd. 1, S. 54. За всю войну полк потерял только убитыми 3754 человек рядового и офицерского состава, не считая раненых и попавших в плен, см.: VierJahre Westfront. Die Geschichte des Regiments List R. I. R. 16. Muenchen, 1932; Wiedemann F. Der Mann, der Feldherr werden wollte, S. 20 ff., а также: Bullock A. Op. cit. S. 48, где цитируется письмо Гитлера портному Поппу.

176

Hitler A. Mein Kampf, S. 180 f. В истории полка отмечается, что при штурме Ипра солдаты пели не «Песню о Германии», как это постоянно утверждается, а «Вахту на Рейне»; см.: Heiden K. Hitler. Bd. 1, S. 55.

177

Эту легенду пересказывает, например, Ф. Булер: Bouhler Ph. Kampf um Deutschland, S. 30 f. По вопросу в целом см. также: Bullock A. Op. cit. S. 49 f.; Maser W. Fruehgeschichte, S. 124 f.; Wiedemann F. Op. cit. S. 21 ff.; Brandmayer B. Meldegaenger Hitler. Muenchen, —1933; Mend H. Adolf Hitler im Felde; Meyer A. Mit Adolf Hitler im Bayerischen Reserve-Infanterie-Regiment 10 List. Neustadt-Aich, 1934.

178

См.: Deuerlein E. Aufstieg, S. 77. Там же на стр. 79 приведён полный список военных наград и орденов Гитлера.

Frank H. Op. cit. S. 40.

Wiedemann F. Op. cit. S. 26.

181

Ibid. S. 29. Аналогичное высказывание приводит Х. Менд: «Окопы и команды были его миром, и ничего помимо этого для него не существовало». См.: Mend H. Op. cit. S. 134.

Tischgespraeche, S. 323.

183

Письмо Гитлера судебному заседателю Хеппу, написанное в феврале 1915 года, фотокопия находится в Институте современной истории в Мюнхене (далее — IfZ). Упомянутое выше замечание приводит Ф. Видеман (Wiedemann F. Op. cit. S. 29). То, что оно и в такой, скорее презрительной форме заслуживает доверия, подтверждает не только процитированное письмо, но прежде всего тот факт, что это замечание точно характеризует манеру Гитлера выражать свои мысли вообще, сохранившуюся и в застольных беседах более поздних лет. См. также: Wiedemann F. Op. cit. S. 24, Hitler A. Mein Kampf, S. 182.

Hitler A. Mein Kampf, S. 209 ff.

Ibid. S. 186, 772.

186

19 июля 1917 года 212 голосами против 126 при 17 воздержавшихся принял не имевшую серьёзного международного отклика резолюцию о мире без аннексий и репараций. — Ред.

187

См. ibid. S. 192; это свидетельство Эрнста Шмидта (Ernst Schmidt — Гитлер в своей книге неправильно пишет Schmiedt, Ernst, ibid. S. 226) стало известно благодаря В. Мазеру; открытку Э. Шмидту от 6 октября 1917 г. см. в: BAK, NS 26/17a. По поводу писем с родины см.: Hitler A. Mein Kampf, S. 208.

188

Hitler A. Mein Kampf, S. 201; все остальные цитаты взяты из упомянутой 6-й главы; см.: Ibid. S. 193 ff.

189

См.: Schueddekopf O.-E. Linke Leute von rechts, S. 78.

190

Зигфрид — центральный герой «Песни о Нибелунгах», победитель ужасного дракона Фафнира, им было совершено ещё множество подвигов. Он пал жертвой предательского убийства. — Ред.

191

Hitler A. Mein Kampf, S. 189.

192

См.: Kielmannsegg P. Graf. Deutschland und derErste Weltkrieg. Frankfurt/M., 1968, S. 671, 662 f. Многочисленные подробности по этому вопросу содержатся также в:Eyck E. Geschichte der Weimarer Republick. Bd. 1, S. 45 ff.

193

Max von Baden, Prinz. Erinnerungen und Dokumente, S. 242.

194

Это слова майора Нимана, начальника тыла одной армейской группировки, из его письма Людендорфу, написанного в июле 1918 года, где есть, правда, и предупреждение, что нельзя делать ставку исключительно на военную силу. См.: Schwertfeger B. Das Weltkriegsende. Gedankenueber die deutsche Kriegsfuehrung 1918. Potsdam, 1937. S. 68.

195

См.: Еуск E. Op. cit. Bd. 1, S. 52.

К сожалению, история болезни Гитлера исчезлаеще до 1933 года и с тех пор так и не обнаружена. В военных документах Гитлера есть только краткая запись о том, что он«пострадал от газа». Речь шла о горчичном газе (иприте), под влиянием которого хотя и не происходит полной потери зрения, но наступает его сильное ухудшение, а то и утрата на какое-то время.

Hitler A. Mein Karnpf, S. 221 f.

Ibid. S. 223.

199

Свидетельство Шпеера, сделанное им лично автору. Гитлер сказал это при посещении больного Шпеера в замке Клесхайм, см. также: Speer A. Erinnerungen, S. 346. Упомянутое выступление состоялось 15 февраля 1942 года, приведённый пассаж звучит в контексте так: «Что для меня мир, который я могу видеть своими глазами, если он угнетает, если мой собственный народ порабощён? Что тут увидишь?» Полностью выступление приводится в кн.: Kotze H. v., Krausnick H. Op. cit. S. 287 ff.; процитированный отрывок ibidem, S. 322.

В связи с этим см. кроме того: Maser W. Fruehgeschichte, S. 127, где автор упоминает о полученной им от генерала Винценца Мюллера информации, согласно которой генерал фон Бредов по заданию Шляйхера якобы выяснил, что слепота Гитлера была исключительно «истерического свойства». Однако в мобилизационном списке Гитлер обозначен как раненый, «пострадавший от газа».

Hitler A. Mein Karnpf, S. 321.

Ibid. S. 223 f.

202

23 июня 1789 г. депутаты французских Генеральных штатов, собравшиеся в Версале в Зале для игры в мяч, приняли клятву — не расходиться до тех пор, пока не будет выработана конституция. — Прим. перев.

Зафиксировано в статье 109 Веймарской конституции.

Kessler H. Graf Tagebuecher 1918-1937, S. 173.

205

Adolf Hitler in Franken, S. 38 (речь, произнесённая 23 марта 1927 г.).

206

Катилина Луций Сергий (108 — 62 до н.э.) — римский политический деятель из обедневших патрициев, обладал незаурядными демагогическими способностями, вовлёк в заговор против республики представителей разных слоёв населения. Ему не удалось добиться единоличной власти, собранные им войска были разбиты в сражении при Пистории, сам он пал в бою. — Прим. перев.

207

Слова Макса Вебера, см.: Mommsen W. J. Max Weber und die deutsche Politik 1890-1920. Tuebingen, 1959. S.99 f.

Troeltsch E. Spectator-Briefe. Tuebingen, 1924. S. 69; см. также: Klemperer K. v. Konservative Bewegungen zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus, S. 86 ff.

Kessler H. Graf. Op. cit. S. 206.

210

Слова Уинстона Черчилля, цит. по: Deuerlein E. Aufstieg, S. 23. О негативной оценке Веймарской конституции см.: Fleischmann. HdbDStR. Bd. 1, 18, S. 221 f. В 1918 году также и Макс Вебер жаловался на увязывание демократизации с ожиданием мира: «Внутри страны это в будущем отзовётся так: Заграница навязала нам демократию! Плачевная история!»

211

Hitler A. Mein Kampf, S. 226. О красной повязке на рукаве см.: Maser W. Fruehgeschichte, S. 132. Эрнст Дойер-ляйн будет даже утверждать, что зимой 1918-1919 гг. Гитлер подумывал о вступлении в СДПГ; см.: Deuerlein E. Aufstieg, S. 80.

Hitler A. Mein Kampf, S. 227.

213

Из выступления Гитлера 23 ноября 1939 года перед высшим генералитетом, см.: Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militaergerichtshof (далее — IMT), PS-789, Bd. XXVI, S. 328.

Tischgespraeche, S. 323; Libres propos, S. 11, 45.

Tischgespraeche, S. 449.

Hitler A. Mein Kampf, S. 225.

См.: Bracher K. B. Diktatur, S. 72 f.

218

Niekisch E. In: Widerstand. Teil III, 1928, Nr. 11; см. кроме того высказывания Гитлера в специальном выпуске газеты «Фелькишер беобахтер» (далее — VB) от 3 января 1921 г., а также в речи, произнесённой 22 сентября 1920 г. или же 12 апреля 1922 г., где всё время затрагивается эта тема. Есть и ещё масса аналогичных характеристик. 19 июля 1922 г. VB называет Германию, например, «плацем мировой биржи для идеологической муштры», «колонией» держав-победительниц. Гитлер как-то обозвал правительство страны «судебным исполнителем Антанты», а Веймарскую конституцию обругал «законом для выполнения Версальского договора»; см. также речь Гитлера, произнесённую 30 ноября 1922 г. (здесь и далее, если не указан другой источник, см. соответствующий номер VB.

219

Из газеты «Мюнхенер беобахтер», 4.X.1919. На базе этого листка и появляется позднее VB; процитированная заметка была опубликована как письмо некоего анонимного священника из Базеля.

220

Красный террор, 1.X.1918, цит. по: Nolte E. Der Faschismus von Mussolini zu Hitler, S. 24.

221

Слова из памятной записки Гитлера о расширении рядов НСДАП, датированной 22 октября 1922 г.: Bayer. Hauptstaatsarchiv, Abt. I, 1509. Упомянутый выше призыв руководства партии опубликован в VB, 19.VII. 1922.

222

См., например, выступление 12 апреля 1922 г.; по поводу упомянутых выше утверждений Гитлера см. его речи, произнесённые 28 июля 1922 г., 27 апреля 1920 г., 22 сентября 1920 г., 21 апреля 1922 г., а также статью в VB за 1 января 1921 г. Розенберг, который, очевидно, способствовал формированию представлений Гитлера об ужасах в России, писал в VB 15 апреля 1922 г., что Россия «за время „правления“ Ленина стала кладбищем, адом, в котором десятки миллионов бродят в поисках куска хлеба, а миллионы уже погибли от эпидемий и голода, найдя мучительную смерть на обезлюдевших улицах». — Следующая цитата взята из выступления Гитлера в рейхстаге 7 марта 1936 г., см.: Domarus M. Op. cit. S. 587.

223

Так в упомянутой выше памятной записке Гитлера от 22 октября 1922 г.

224

Rosenberg A. In: VB, l.IX.1923. В своей памятной записке Гитлер также называет большевизм, выходя за рамки его более узкого значения в политическом плане, революцией ради «уничтожения всей христианской западной культуры вообще».

Jaspers K. Die geistige Situation der Zeit, S. 5.

Ibid. S. 52 u. 39; см. затем: Klages L. Der Geist als Widersacher der SeeMe, S. 1222. О динамике изменений, касающихся лиц самодеятельного труда, в указанный период времени см.: Lederer E., Marschak J. Der neue Mittelstand. In: Grundriss der Sozialoekonomik. Bd. 9, Teil 1, S. 127 f. Данные о социальном положении и настроениях служащих, чьё количество за тридцать лет, предшествовавших первой мировой войне, возросло более чем в шесть раз, приводит в своём социальном репортаже Зигфрид Кракауэр (Kracauer S. Die Angestellten). См. также: Bechtel H. Wirtschaftsgeschichte Deutschlands. Muenchen, 1956, S. 423 f.

227

Klages L. Mensch und Erde. Stuttgart, 1956. S. 10. Следующая цитата взята из VB, 6.IV.1920.

228

В журнале «Иллюстриртер беобахтер» (1927, № 4) под фотографией дома в стиле «Баухауза» даётся такая подпись: «Девиз: максимальное сходство с тюрьмой».

229

Friedlaender E. Sozialethik des Kommunismus. Berlin, 1920. По поводу следующего размышления о средних слоях как носителях нормальной морали см.: Lepsius M. R. Extremer Nationalisms, S. 14.

230

Заключительная сцена из «Махагони» Б. Брехта. In: Brecht B. GW in 20 Baenden. Bd. 2. Frankfurt.M., 1967. S. 561-562.

231

Rosenberg A. In: VB, 27.V.1922. О Пикассо он сказал, что его картины становятся «грязнее по краскам, хаотичнее по штриху, нахальнее (!) по названиям». VB, 6.IV.1920 пишет об этом «кричащем искусстве негров и малоазиатов, этой судорожной мазне дадаистов»; см. в этой связи также пронизанные аналогичным неприятием современного искусства высказывания Адольфа Гитлера: Hitler A. Mein Kampf, S. 282 ff.

Veblen Th. Imperial Germany and the Industrial Revolution. New York, 1954, S. 86.

233

Стилевое направление в австрийском и немецком искусстве в первой половине XIX в. Название дано по фамилии литературного персонажа, олицетворявшего простодушного, недалёкого обывателя. — Прим. перев.

234

Benda J. La trahison des clercs. Paris, 1928, цит. по: Stern F. Kulturpessimismus, S. 6. Своего рода добавлением к этому могут служить слова Грегора Штрассера, сказанные им в июне 1932 г.: «Сознательно противопоставляя себя французской революции, будучи её антиподом и преодолением, национал-социализм отвергает суесловие об индивидуализме, исказившем внутреннее германское представление о свободе понятием внутреннего экономического беспредела; он отвергает рационализм, учение о разуме, которое готово признавать властителями судеб народа и государства лишь ум и интеллект, а не полнокровную волю и душу человека. Таким образом, национал-социалистическая идея государственности подразумевает в конечном счёте смену либеральной эпохи…» См.: Strasser G. Kampf um Deutschland, S. 381 f.

235

Nietzsche F. Morgenroete. In: Nietzsche F. Werke. Bd. 1, S. 1145.

236

Bahr H. Der Antisemitismus. Ein internationales Interview. Berlin, 1894. Публикация Бара основывалась на беседах со многими немецкими и европейскими писателями и общественными деятелями.

237

Sombart W. Die Juden und das Wirtschaftsleben, S. 140 f. Интересные мысли по этому поводу содержатся также в книге Э. Райхман: Reichmann E. G. Flucht in den Hass, S. 82 ff. См. в этой связи кроме того: Neumann F. Behemoth, S. 121. Нойман уже в 1942 году считал, что антисемитизм в Германии был чрезвычайно слабым, а «немецкий народ — наименее антисемитским» и что именно это обстоятельство и позволило Гитлеру сделать антисемитизм подходящим оружием.

Жертвенный путь. — Прим. перев.

239

Tagebuch, 21.IX.1929, цит. по: Sontheimer K.Antidemokratisches Denken, S. 129.

240

VB, 6.IV.1920; Артур Мёллер ван ден Брук говорил о «присущей немцам мании перенимать все идеи западников», словно быть принятым в круг либеральных наций — это бог весть какая честь.

241

Из статьи священника д-ра Бюттнера: Dr. Buettner. Die sozialistischen Kinderfreunde. In: Gelbe Hefte, 1931, Nr. 7, S. 263. Приведённое ниже высказывание Э. Никиша см.: Niekisch E. Entscheidung. Berlin, 1930, S. 118.

См. в этой связи: Kracauer S. Op. cit. S. 5 f.

243

Speier H. The Salaried Employees, цит. по:Schoenbaum D. Die braune Revolution, S. 37. Там же приводятся и данные о том, что за 4 года — с 1925 по 1929 гг. — число филиалов универмагов возросло со 101 до 176, т. е.почти в два раза.

См.: Jetzinger F. Op. cit. S. 115; затем Kubizek A. Op. cit. S. 215, а также: Tischgespraeche, S. 30.

245

Libres propos, p. 225. После еды Гитлер, как правило, всегда полоскал рот, на улице он почти постоянно носил перчатки — по крайней мере, в более поздние годы. См. также: Kubizek A. Op. cit. S. 286. Правда, страх, как бы не заразиться венерической болезнью, доминировал у того поколения вообще надо всем. Стефан Цвейг писал, насколько эта мания была распространена как раз в Вене. См.: Zweig S. Die Weit von gestern, S. 105 ff.

Цитаты и ссылки в порядке их очерёдности см.: VB, 3.Ш.1920, 12.IX.1920, 10.1.1923; Hitler A. Mein Karnpf, S. 255 ff., 279 f. Для общего представления см. также: Nolte E. Faschismus, S. 480 ff., где говорится о решающем значении страха для всего поведения Гитлера. На функцию страха в тоталитарном государстве указывал и Франц Нойман. Он делает вывод, что Германия того периода была «страной отчуждения и страха». См.: Neumann F. Notizen zur Theorie der Diktatur. In: Demokratischer und autoritaerer Staat. Frankfurt/M., 1967, S. 242 ff., 261 ff.

Tischgespraeche, S. 471.

248

Adolf Hitler in Franken, S. 152; см. далее: VB, 1.1.1921, а также номер от 10.III.1920, который вышел с кричащим заголовком: «Поработаем с евреями!» В статье выдвигалось требование немедленного выдворения из страны всех евреев, переселившихся в Германию после 1 августа 1914 года, увольнения всех остальных из «всех государственных учреждений, органов печати, театров, кинотеатров» и размещения их в созданных специально для этого «сборных лагерях».

249

Hitler A. Mein Kampf, S. 70 f.; см. также: Ibid. S. 270, 272, 324.

George S. Das neue Reich. In: George S.Gesamtausgabe. Bd. 9. Duesseldorf, 1964.

251

Ciano G. Tagebuecher 1937-1938. Hamburg, 1949, S. 13. По поводу высказывания Гитлера см. речь, произнесённую 17 апреля 1923 г. In: Boepple E. Op. cit. S. S. 51. И Э. Нольте называет политическую практику фашистских движений «продолжением войны аналогичными средствами», см.: Nolte E. Faschismus in seiner Epoche, S. 395. О «фикции перманентной войны» говорит Рудольф Фирхауз, см.: Vierhaus P. Faschistisches Fuehrertum. In: Historische Zeitschrift, Bd. 198, S. 623. См. в то же время: Turner H. A. jr. Faschismus und Antimodernismus. In: Faschismus und Kapitalismus in Deutschland, S. 180 ff. Г. Тернер считает, что родовое понятие «фашизм» включает в себя столь много гетерогенных явлений, что вносит больше путаницы, нежели ясности, и советует отказаться от его употребления.

Mann Th. Dr. Faustus. GW. Bd. 6, S. 597.

Marinetti F. T. I Manifesti del Futurismo. Bd. 1.Mailand, 1920, S. 36.

254

Cm.:VB, 2.VIII.1922.

255

Heiden K. Geburt, S. 266; по поводу следующего высказывания Гитлера см.: Tischgespraeche, S. 144.

Gentile G. Manifest der faschistischen Intellektuellen an die Intellektuellen aller Nationen vom 21. April 1925. In: Nolte E. Theorien ueber den Faschismus, S. 112.

257

Nolte E. Theorien, S. 56; замечание Гитлера о готовности людей действовать против своих же интересов см.: Adolf Hitler in Franken, S. 119 f.

Mussolini B. Die Lehre des Faschismus. In: Nolte E. Theorien, S. 220; следующую цитату см.: Ibid. S. 216.

259

См.: Talmon J. L. Politischer Messianismus. Bd. 2, S. 444 f.; Эрнст Нольте и расценит структурные слабости либеральной парламентской демократии как предпосылку для возникновения мощных фашистских движений; см. его книгу с характерным названием «Кризис либеральной системы и фашистские движения» (Nolte E. Die Krise des liberalen Systems und die faschistischen Bewegungen). См. в этой связи также: Marcuse H. Der Kampf gegen den Liberalismus in der totalitaeren Staatsauffassung. In: Abendroth W. Op. cit. S. 39 ff.

Mosse G. L. Die Entstehung des Faschismus. In: Internationaler Faschismus 1920-1945, S. 29.

Hoffmann H. H. Der Hitlerputsch, S. 53.

262

Из воззвания Эйснера 8 ноября 1918 года, цит. по: Ursachen und Folgen. Bd. III. S. 104.

263

«Элементы, чуждые стране и расе», «иноземные жиды-политики», «чужеземные подонки без стыда и совести», пришедшие из тюрем и с каторги, «жиденята», «совратители рабочих» — такими, зачастую не желавшими видеть никаких различий характеристиками снабжались эти новые деятели, например, в воззвании Баварской народной партии от 9 апреля 1919 годА и в воззвании баварского ландтага от 19 апреля или же в подготовленном баварской войсковой командой 15 июля 1919 года докладе «Большевистская опасность и борьба с ней»; см. также: Franz-Willing G. Die Hitlerbewegung, S. 32 ff. Низкопробная пропаганда всё время ставила Эйснера на одну доску с Лениным, Левине и Аксельродом, что сказывается и поныне.

См.: Volkmann E. O. Revolution ueber Deutschland. Oldenburg, 1930. S. 222. Правда, тут следует оговориться, что Толлер и Мюзам смогли проводить в жизнь декларированную ими мечту всего лишь в течение нескольких дней, после чего на смену их идиллическим видениям пришёл более жёсткий тип государственного устройства — Республика Советов по образцу Советской России во главе с Левином, Левине и Аксельродом, которые, кстати, все были выходцами из России.

265

Hofmiller J. Revolutionstagebuch 1918/19. In: Hofmiller J. Schriften. Bd. 2. Leipzig, 1938. S. 211. Что касается числа жертв, то, по сведениям полиции, в период между30 апреля и 8 мая 1919 года в чрезвычайно ожесточённых боях погибло в общей сложности 557 человек. В 1939 году Военно-исторический исследовательский центр сухопутных войск опубликовал отчёт под названием «Разгром Советской власти в Баварии в 1919 году», в котором даётся такой конкретный расклад: из этих 557 человек «погибли в боях 38 белых солдат и 93 красноармейца, 7 баварцев и 7 русских. По приговору военно-полевого суда были расстреляны 32 красноармейца и 144 человека из числа жителей. Безвинно, по собственному легкомыслию или роковому стечению обстоятельств погибло не менее 184 человек. В 42 случаях причину смерти установить не удалось. Имеются официальные сведения о 303 раненых». Другие данные приводит В. Мазер: Maser W. Fruehgeschichte, S. 40 f. См. также: Gumbel E. Verraeter verfallen der Feme, S. 36 passim.

См.: Franz-Willing G. Op. cit. S. 31.

267

См., в частности: Oertzen F. W. v. Die deutschen Freikorps 1918-1923, где содержится много других имён и подробностей. См. кроме того: Franz-Willing G. Op. cit. S. 31 ff., а также многочисленные работы, посвящённые проблеме «рейхсвер и республика».

См.: Zibordi G. Der Faschismus als antisozialistische Koalition. In: Nolte E. Theorien, S. 86. Упомянутая основополагающая директива была дана в форме постановления войсковой команды от 28 мая 1919 года о пропагандистской деятельности в войсках, цит. по: Franz-Willing G. Op. cit. S. 37.

269

См.: Hitler A. Mein Kampf, S. 229; имеется в виду необычная идея Федера об «искоренении процентного рабства», которую он пытался пропагандировать и как один из руководителей курсов.

Комментируя приведённое высказывание Гитлера, В. Мазер полагает, что «с этим в рамках изучения марксизма в Вене Гитлер, таким образом (!), не сталкивался»; вот уж, поистине, что называется, занесло! См.: Maser W. Fruehgeschichte, S. 135.

Между прочим, его учителями были граф Карл Ботлер (писатель), д-р Пиус Дирр (депутат от Демократической партии), Готфрид Федер (дипломированный инженер), проф. Йозеф Хофмиллер, д-р Михаэль Хорлахер (управляющий делами одного аграрного союза и один из руководителей Баварской народной партии), а также проф. Карл Александр фон Мюллер. Иногда лекции читали университетские преподаватели — проф. Дю Мулен Эккарт и видный специалист в области гигиены Макс фон Грубер.

Mueller K. A. v. Mars und Venus, S. 338 f.

271

См.: Deuerlein E. Hitlers Eintritl in die Politik und die Reichswehr. In: VJHfZ, 1959, H. 2, S. 179. Кстати, Гитлер был назначен не «офицером-преподавателем», как он это напишет (Hitler A. Mein Kampf, S. 235), а так называемым «доверенным лицом». Можно лишь дискутировать, что именно скрывалось за этой попыткой фальсифицировать истинное положение вещей — стремление примазаться к буржуазной образованности или воинскому престижу офицера, либо же это была попытка избежать сомнительной репутации «доверенного лица».

См.: Deuerlein E. Op. cit. S. 198 ff.

273

Полностью письмо Гитлера, датированное 16 сентября 1919 года, опубликовано в уже упоминавшемся сборнике документов под редакцией Дойерляйна. См.: Deuerlein E. Op. cit. S. 201 ff. Процитированный отрывок, равно как и все последующие подлинные документы даются с сохранением особенностей оригинала, то есть со всеми ошибками в орфографии, пунктуации и т.д.

Что касается настоящей фамилии фон Зеботтен-дорфа, то окончательно она так и не выяснена; говорили, что он называл себя Рудольфом Глауэром и уроженцем Силезии, а по другим источникам его звали Эрвин Торе и родом он был из Саксонии. До начала войны Зеботтендорф провёл несколько лет в Турции и вернулся в Германию в 1917 году, располагая значительными финансовыми средствами неизвестного происхождения. После своей политической интерлюдии в Баварии он в 1919 году исчез, появлялся в Стамбуле, Мексике и Соединённых Штатах, пока после прихода Гитлера к власти в 1933 году снова не объявился в Германии, чтобы заняться возрождением общества «Туле». Однако здесь он пробыл недолго, но почему и куда исчез, осталось невыясненным. Как и происхождение, последние его дни покрыты мраком. Некоторые считают, что он подался в Швейцарию, другие же предполагают, что его убрали как нежелательного свидетеля начального этапа становления НСДАП. См. также: Bracher K. D. Dikt.atur, S. 87; Bronder D. Bevor Hitler kam, S. 232 ff., где приводятся многочисленные подробности. Кстати, книга Брондера имеет то же название, что и воспоминания Зеботтендорфа, опубликованные в начале 30-х годов.

См.: Bracher K. D. Diktatur, S. 87.

См.: Franz-Willing G. Op. cit. S. 63.

Новая организация называлась уже «Национал-социалистический немецкий рабочий союз» и возникла, возможно, потому, что Карл Харрер по не выясненным до конца причинам не принял участия в учредительном собрании, в результате чего остался без звания и должности.

«Основополагающие линии» опубликованы в книге: Ursachen und Folgen. Bd. III. S. 212 ff.

Heiden K. Hitler. Bd. 1. S. 100.

Franz-Willing G. Op. cit. S. 66 f. Кстати, стремясь принизить значение партии до момента своего вступления в неё, Гитлер указывает, что в том собрании участвовало от 20 до 25 человек. В списке же присутствовавших, сохранившемся в архиве Карла Харрера, значатся 46 человек; см.: Maser W. Fruehgeschichte, S. 158 f. Описание этого события самим Гитлером см.: Hitler A. Mein Kampf, S. 237 ff.

281

Струнный смычковый музыкальный инструмент. — Ред.

282

Чтобы умалить роль Дрекслера, Гитлер не называет его фамилии («Я не очень хорошо расслышал, как его звали») , а всё время говорит только о «том рабочем» и т.п. Когда же ему всё-таки приходится упомянуть Дрекслера как председателя партии, то делает он это без ссылки на то, что именно Дрекслер и сунул ему в руку брошюру. См.: Hitler A. Mein Kampf, S. 238 ff.

283

См.: Ibid. S. 240 f., а также: Hitler A. 10 Jahre Kampf. In: Illustrierter Beobachter, 4. Jhgg. 1929/31, 3.VIH.1929.

См.: Bracher K. D. Adolf Hitler. Bern; Muenchen; Wien, 1964. S. 12. О склонности принимать решение с помощью подброшенной монетки см.: Zoller A. Op. cit. S. 175.

285

Hitler A. Mein Kampf, S. 390 f.

Hitler A. Mein Kampf, S. 388, 390, 321.

287

Kubizek A. Op. cit. S. 27. По поводу сведений о профессии Гитлера см. донесение политической службы безопасности Мюнхена (далее — PND), созданной полицай-президентом города для слежки за политической активностью среди населения; о проведённом 13 ноября 1919 года собрании, на котором Гитлер выступил с докладом, см.: Deuerlein E. Op. cit. S. 205 f.

288

Так звучит знаменитая фраза Прудона о его собственном политическом пробуждении; цит. по: Sombart W. Der proletarische Sozialisraus. Bd.l. Jena, 1924. S. 55.

Hitler A. Das braime Haus. In: VB, 21.11.1931.

290

См. донесение PND, опубликованное Р. Х. Фелп-сом: Phelps R. H. Hitler als Parteiredner im Jahre 1920. In: VJHfZ, 1963, H. 3, S. 292 ff., где рассказывается и история находки опубликованных там документов. Возведённый в легенду рассказ Гитлера об этом собрании см.: Hitler A. Mein Kampf, S. 400 ff.

291

См.: Heiden K. Hitler. Bd. 1. S. 107; Hitler A. Mein Kampf, S. 405 f.

292

Сравнение принадлежит Готфриду Грисмайеру, см.: Griessmayer G. Das voelkische Ideal, S. 77 (опубликовано на правах рукописи).

293

Значение программы долгое время недооценивалось. От неё нередко отмахивались как от простого оппортунистического рекламного трюка, и тем самым не признавались серьёзность и искренность озабоченности её создателей. Сам Гитлер в то время ещё отнюдь не играл той роли, которая предполагается такой трактовкой. Однако в последнее время нередко встречаются и более взвешенные подходы, см., например: Jacobsen H. A., Jochmann W. Ausgewaehlte Dokumente яиг Geschichte des Nationalsozialismus, S. 24 или Nolte E. Faschismus in seiner Epoche, S. 392. Другое мнение наиболее отчётливо представлено в книге К. Д. Брахера: Bracher K. D. Diktatur, S. 93.

Об этом, а также о подоплёке отношений и взаимосвязей различных социальных группировок «фелькише» см., например: Carsten F. L. Op. cit. S. 96 ff.

295

Hitler A. Mein Kampf, S. 234; о «мощном лозунге» Гитлер говорил в связи с теорией Готфрида Федера: Ibidem, S. 233; там же приводятся и его выпады против теоретиков «фелькише» (S. 395), см. также S. 186 ff.

Strasser O. Mein Kampf, S. 19.

297

Из предисловия Г. Шотта к опубликованной в 1924 году популярной биографии Гитлера под названием «Народная книга о Гитлере» (Das Volksbuch vom Hitler)

Heiden K. Geschichte, S. 11. По поводу следующего замечания Гитлера см.: Rauschning H. Gespraeche, S. 225.

299

О так называемых протоколах см.: Schubert G. Op. cit. S. 33 ff. В первой сохранившейся полностью речи Гитлера, произнесённой 13 августа 1920 года, использованы, как это доказал Р. Х. Фелпс, многочисленные мотивы из так называемых протоколов; см.: VJHfZ, 1968, H. 4, S. 398.

300

См.: Hitler A. Mein Kampf, S. 186 г., где Гитлер пишет, что «движения с определённой духовной основой… могут теперь быть разбиты» противниками, которые «в то же время сами являются носителями какой-то новой зажигательной мысли, идеи или мировоззрения». Через две страницы он пишет: «Любая попытка расправиться с мировоззрением силой обречена в итоге на провал, коль скоро эта борьба не обретает форму наступления на новую духовную ориентацию». Сходные формулировки содержатся и в упомянутом выступлении Гитлера 13 августа 1920 года: VJHfZ, 1968, H. 4.S.-415, 417.

301

Rauschning H. Gespraeche, S. 174 f.

Hitler A. Mein Kampf, S. 544.

303

Список членов партии, составленный предположительно в январе 1920 года, хотя и не говорит однозначно о кадровых военных, но, поскольку Гитлер, который к тому времени ещё не был демобилизован и продолжал носить военную форму, значится там как представитель гражданской профессии, то можно предположить, что что под военными подразумеваются только кадровые военные. Впрочем, список содержит не все фамилии (отсутствуют, например, Дитрих Эккарт или же Фридрих Крон), и не везде приводятся данные о профессии. Таким образом, список даёт не более чем предварительные данные, позволяющие делать лишь весьма ограниченные выводы. Наиболее многочисленными являются следующие профессиональные группы: рабочие и ремесленники, которых из-за отсутствия дифференцированных данных приходится объединять в одну общую группу (51 человек) , люди с высшим образованием или представители интеллектуальных профессий (30), представители коммерческих профессий (29), служащие (16). Остаток приходится на домашних хозяек, деятелей искусства, чиновников и пр.: Hauptarchiv der NSDAP, NS 26/Nr. Ill, BAK.

304

См.: Franz-Willing G. Op. cit. S. 83 ff. Крон, один из старейших членов партии, от которого явно исходили многие идеологические импульсы и подсказки, пригласил на учредительное собрание в Штарнберге и Антона Дрекслера. Войдя в зал и увидев у трибуны знамя, тот воскликнул: «Вот вам и наш партийный флаг!» На следующий день партком НСДАП утвердил знамя, а по его образцу был изготовлен и партийный значок. Правда, Крон предложил, очевидно, и свастику с концами, загнутыми влево, но это предложение не прошло. Однако именно он выбрал черно-бело-красные цвета, препроводив этот выбор таким основанием: «Чёрный — это символ скорби из-за проигранной войны, белый — символ нашей невиновности в развязывании войны 1914-1918 годов (протест против лжи о нашей ответственности за войну!), а красный — символ любви к родине, в частности, к потерянным приграничным областям». Обоснование же Гитлера звучало так: «В красном цвете мы видим социальную основу движения, в белом — националистическую, в свастике — миссию борьбы за победу человека-арийца и в то же время за победу идеи созидательного труда, который сам по себе извечно был антисемитским, антисемитским же будет и впредь». См.: Hitler A. Mein Kampf, S. 557. — В. Мазер считает, что Гитлер сыграл в этом гораздо большую роль.

См.: Franz-Willing G. Op. cit. S. 87.

306

Из выступления 13 августа 1920 года в мюнхенском пивном зале «Хофброй», см.: VJHfZ, 1968, H. 4, S. 418, затем см. выступление 15 мая 1920 года в «Хофброй»: Deuerlein E. Op. cit. S. 213 (Dok. 21).

307

Franz-Willing G. Op. cit. S. 71; затем: Deuerlein E. Op. cit.; кроме того: Phelps R. H. Op. cit. S. 301 ff.

Deuerlein E. Op. cit. S. 211 (Dok. 19), S. 215 (Dok. 24).

309

См.: Heiden K. Geschichte, S. 42.

Olden R. Op. cit. S. 75.

311

Nolte E. Krise, S. 200; Nolte E. Faschismus in seiner Epoche, S. 397. По поводу упомянутого послания Гесса см.: MaserW. Hitler, S. 288 ff.

312

Дитрих Эккарт признавался в VB, 15.VII.1922, что он лично получил от генерала фон Эппа 60 тысяч рейхсмарок. Газета стоила 120 тысяч, и, кроме того, у неё было около 250 тысяч долгов, которые НСДАП также взяла на себя. Сам Гитлер заявлял, что за его тогдашнее легкомыслие ему пришлось «дорого заплатить», а партия, кажется, так и не расплатилась с этими долгами вплоть до 1933 года. Финансирование газеты обеспечивалось, в частности, и тем, что каждый член партии обязывался подписываться на VB; начиная с января 1921 года полагалось помимо членского взноса в 0,50 рейхсмарок вносить такую же сумму на поддержание партийной газеты. Сначала тираж держался на прежнем уровне, затем упал до 8 тыс. экз., пока весной 1922 года подписка не составила 17, 5 тыс. экз.; см.: Orlow D. The History of the Nazi Party 1919-1933, p. 22.

313

Из сообщения Генриха Дербахера о встрече с Дит-рихом Эккартом в январе 1920 года, архив Антона Дрексле-ра, см.: Deuerlein E. Aufstieg, S. 104; а также с дальнейшими цитатами: Nolte E. Faschismus in seiner Epoche, S. 403.

Wiedeburg P. H. Dietrich Eckart (DissertationErlangen). Hamburg, 1939, см.: Nolte E. Faschismus in seinerEpoche, S. 404. Относительно сравнения с Гёте см.: SchirachB. v. Ich glaubte an Hitler, S. 24.

315

Strasser O. Mein Kampf, S. 17. О восторженных салонных речах Гитлера о музыке Вагнера автору говорил Эрнст Ханфштенгль. См. также: Hoffmann H. Hitler Was My Friend, p. 202.

Heiden K. Hitler, a Biography. Цит. по: Bullock A. Op. cit. S. 78 f.

317

Hanfstaengl E. Zwischen Weissem und BraunemHaus, S. 128; а также: Luedecke K. G. W. I Knew Hitler, p. 98.

Mueller K. A. v. Im Wandel einer Welt. Erinnerungen. Bd. 3. S. 129.

319

Tischgespraeche, S. 193; г-жу Хофман, однако, Гитлер решительно исключает из числа тех, кто докучал ему своей ревностью.

См.: Heiden K. Hitler. Bd. 1. S. 130 ff.

321

Broszat M. Der Staat Hitlers, S. 66.

322

Выражение из появившейся 20 июля 1921 года анонимной листовки внутрипартийной фронды, оттуда же взята и следующая цитата — приписываемое Гитлеру высказывание об Эссере. Листовка опубликована в книге: Franz-Willing G. Op. cit. S. 117. Оценку Эссера как «оратора-дьявола» см.: Heiden K. Geschichte, S. 27.

323

Антисемитский бульварный журнал, издававшийся Штрайхером. — Ред.

Libres propos, p. 151.

325

Из протокольной записи государственного министерства иностранных дел, где в параграфе III подробно описываются денежные средства и источники финансированиябудущего «Кампфбунда», чьим делопроизводителем и добытчиком денег был Шойбнер-Рихтер; см.: Deuerlein E. DerHitler-Putsch, S. 386 ff.

Hitler's Table Talk, p. 665.

327

См. по этому вопросу: Schubert G. Op. cit. S. 125 f., где приведены многочисленные источники; в то же время см.: Nolle E. Faschismus in seiner Epoche, S. 404. Э. Нольте считает, что Дитрих Эккарт обладал куда более сильным влиянием.

328

Это письмо написано 8 февраля 1921 года, выдержки из него см.: Franz-Willing G. Op. cit. S. 103.

329

Упомянутое письмо, в котором Дрекслер высказывает мнение, что у него больше сторонников среди членов партии и поэтому «партии действительно не угрожает никакая опасность», см.: BAK NS 26/76.

330

Высказывание Альфреда Бруннера в письме к единомышленнику в Билефельде, см.: Franz-Willing G. Op. cit. S. 100.

331

См. прежде всего речи Гитлера: VJHfZ, 1963, H. 3, S. 289 ff.; VJHfZ, 1968, H. 4, S. 412 ff.

332

Ibid. S. 107 ff. Там же приводится и ответное послание парткома.

333

Эскиз плаката был подписан Бенедиктом Зеттеле, одним из противников Гитлера по парткому — кстати, тем самым, кого сначала подозревали в авторстве анонимной листовки. В действительности, её автором, как выяснилось позднее, был коммерсант Эрнст Эреншпергер. См. по всему комплексу вопросов: Franz-Willing G. Op. cit. S. 114 ff.

См.: Rudolf Hess, der Stellvertreter des Fuehrers. B., 1933. S. 9 ff. Книга вышла без указания автора в серии «История современности».

335

Слова первого управляющего делами партии Рудольфа Шлюсслера из заявления, сделанного им в полиции 25 июля 1921 года, см.: Franz-Willing G. Op. cit. S. 115.

336

Из заявления Гитлера в прокуратуру от 16 мая 1923 года, см.: Franz-Willing G. Op. cit. S. 138.

337

Цит. по: Heiden K. Geschichte, S. 82. См. также: Hitler A. Mein Kampf, S. 549 f.; далее: речь Гитлера в гамбургском «Национальном клубе». In: Jochmann W. Im Kampf um die Macht, S. 84 f.

338

Rauschning H. Gespraeche, S. 81; по поводу следующей цитаты см. донесение PNDot 9.II.1921, HA 65/1482.

339

Hitler A. Mein Kampf, S. 564 ff.

Bouhler Ph. Kampf um Deutschland, S. 48 f.

341

Из выступления 1 августа 1923 года, цит. по: Franz-Willing G. Op. cit. S. 144.

342

Из донесения полиции от 6 декабря 1922 г., документы баварского министерства внутренних дел, цит. по: Franz-Willing G. Op. cit. S. S. 144.

343

Из статьи Гитлера в VB, 30.VIII.1922, см. также: Hitler A. Mein Kampf, S. 109. Представительство в партии мелких ремесленников, торговцев и т.п. на начальном этапе её развитця было явно непропорционально велико, составляя 187 % относительно их доли среди населения в целом. См. также: Fetcher I. Faschismus und Nationalsozialismus. Zur Kritik des sowjetmarksistischen Faschismusbegriffs. In: Politische Vierteljahresschrift, 1962, H. 1, S. 53.

«Директива по образованию местных организаций», см.: Tyrell A. Fuehrer befiehl…. S. 39; Luedecke K. G. W.Op. cit. S. 101. По этому вопросу см. также: Franz-Willing G.Op. cit. S. 126 ff.; далее: Maser W. Fruehgeschichte, S. 254 f. В1925 году, после освобождения Гитлера из Ландсбергскойтюрьмы, когда была образована новая партия, упомянутыйпринцип утратил свою силу; соответствующее предложение, внесённое от имени организации в Ильменау в 1926 году напартсъезде в Веймаре, было решительно отвергнуто, «поскольку движение стоит на позиции свободного избрания руководителей», см.: НА 21/389.

345

Heiden K. Geschichte, S. 34; Deuerlein E. Der Hitler-Putsch, S. 159.

346

Из выступления 20 апреля 1923 года, цит. по:Boepple E. Op. cit. S. 54 и др.; см. также: Phelps R. H. In:VJHfZ, 1963, H.3.S. 301.

347

Hitler A. Mein Kampf, S. 527.

348

Tischgespraeche, S. 261 f., где Гитлер приводит целый набор своих тактических ходов и уловок. См. также: Hitler A. Mein Kampf, S. 559 f.; Heiden K. Geschichte, S. 28.

349

Mueller K. A. v. Im Wandel einer Welt. Bd. 3. S. 144 f. Предыдущая цитата Гитлера взята из его статьи в VB, 8.11.1921.

350

Из выступления 12 сентября 1923 года, цит. по: Boepple E. Op. cit. S. 95, а также из выступления 10 апреля 1923 года, цит. по: Schubert G. Op. cit. S. 57. Особенно наглядный пример ораторского стиля Гитлера, его тематики и предубеждений являет собой его первая сохранившаяся в полном объёме речь того времени «Почему мы антисемиты?». Цит. по: Phelps R. H. In: VJHfZ, H. 4, S. 401 ff.

351

Из выступления 6 августа 1923 года, см.: Adolf Hitler in Franken, S. 20, а также из выступлений 5 сентября 1920 года и 1 мая 1923 года, цит. по: Phelps R. H. In: VJHfZ, 1963, H. 3, S. 314. О том, как поправлял его Дрекслер, см., например, донесение PND о собраниях 5 и 24 ноября 1920 года.

352

Из выступления 20 апреля 1923 года, цит. по: Boepple E. Op. cit. S. 56; далее: Phelps R. H. In: VJHfZ, 1968, H. 4, S. 400; его же. In: VJHfZ, 1963, H. 3, S. 323.

353

После приведённых здесь слов в стенограмме указано: «Сильное оживление в зале». Из выступления 12 апреля 1922 года, цит. по: Boepple E. Op. cit. S. 20.

Цит. по: Heiden K. Geschichte, S. 27; см. также речь, произнесённую 10 апреля 1923 года. Цит. по: Boepple E. Op. cit. S. 42.

355

Baynes N. H. The Speeches of Adolf Hitler. Vol. 1. P. 107; Phelps R. H. In: VJHfZ, 1963, H. 3, S. 299.

Tischgespraeche, S. 451; см. также: Heiden K. Geschichte, S. 109. Относительно следующей реплики Гитлера см.: Hitler A. Mein Kampf, S. 522.

357

См.: Boepple E. Op. cit. S. 95, 67; затем: Heiden K. Geschichte, S. 60.

Luedecke K. G. W. Op. cit. S. 22 ff.; затем:Hanfstaengl E. Op. cit. S. 43.

359

См. выступление Гитлера 12 апреля 1922 года, цит.по: Boepple E. Op. cit. S. 21. «Немецкий рождественскийпраздник» в 1921 году, например, начался декламацией стихотворения, затем прозвучали песни Бетховена и Шубертадля меццо-сопрано, были исполнены на рояле «Волшебствогрозы и шествие богов в Валгаллу» из оперы «Золото Рейна», а также попурри из рождественских песен, после чего Гитлерпроизнес речь. Центральным в следующем, «развлекательном отделении», начавшемся баварской народной музыкой, было выступление популярного комика Белого Фердля; см.:IfZ. Muenchen, FA 104/6. По поводу упомянутых данных о количестве членов партии см.: Ruehle G. Das Dritte Reich. Die Kampfjahre. B., 1936. S. 75.

360

Слова из газеты «Винер нойе прессе», цит. по:Roehm E. Geschichte eines Hochverraeters, S. 152.

361

См.: Tischgespraeche, S. 224.

362

См.: Roehm E. Op. cit. S. 125. Красные купальные трусы должны были послужить издевательским комментарием к фотографии на обложке журнала «Берлинер иллюст-рирте», на которой — и это было непостижимо в плане строгих мерок нации по отношению к начальству — рейхсп-резидент в компании с временным военным министром Носке предстал в купальном костюме. По поводу истории с прерванной поездкой см.: Niekisch E. Gewagtes Leben, S. 109, а также: Deuerlein E. Der Hitler-Putsch, S. 709.

См.: Heiden K. Hitler. Bd. 1. S. 156.

364

Из выступления 14 октября 1922 года на «Дне Германии» в Кобурге, цит. по: Deuerlein E. Der Hitler-Putsch, S. 709; затем: Tischgespraeche, S. 133 f., а также: Hanfstaengl E. Op. cit. S. 78.

365

См.: Hoegner W. Der schwierige Aussenseiter.Muenchen, 1959. S. 48; Heiden K. Geschichte, S. 50. О самоуверенности Гитлера после Кобурга см.: Luedecke K. G. W. Op. cit. 61. Даже спустя несколько лет Гитлер говорил Лю-декке, что с Кобургом связано одно из самых дорогих ему воспоминаний.

366

Сообщено А. Шпеером автору. Шпеер лично присутствовал при этом. «Вольфсбург» — так называлось поместье, расположенное в этой области.

367

Цит. по: Heiden K. Geschichte, S. 51, а также: McRandle J. H. The Track of the Wolf, p. 4. По поводу упомянутых способов стилизации см.: Luedecke K. G. W. Op. cit. 81; затем: Hanfstaengl E. Op. cit. S. 56; а также: Greiner J. Op. cit. S. 126; Liebenwerda K. L. HA BAK, NS Nr. 547.

См.: Heiden K. Geschichte, S. 110.

369

Из письма гросс-адмирала фон Тирпица своему зятю Ульриху фон Хасселю, цит. по: Kotze H. v., Krausnick H. Op. cit. S. 26, а также: Kubizek A. Op. cit. S. 203.

370

Из выступления 30 января 1936 года, цит. по: Domarus M. Op. cit. S. 570.

Libres propos, S. 212. Цитату в конце главы см.: Rauschning H. Gespraeche, S. 13.

VB, 2.VIII. 1922.

Эти данные приводил Гитлер, см.: Goerlitz W., Quint H. A. Op. cit. S. 185.

Vienot P. Ungewisses Deutschland, S. 67.

NolteE. Krise, S.92.

376

По донесению от 16 января 1923 года о речи Гитлера в кафе «Ноймайер», см.: Schubert G. Op. cit. S. 198. Об отдельных исключениях из партии сообщил Отто Штрассер, см.: Maser W. Fruehgeschichte, S. 368 f.

377

Heiden K. Geschichte, S. 113. О беседе Гитлера с фон Сектом см.: Meier-Welcker H. Seeckt, S. 363 f., там же приводятся и другие подробности; о втором упомянутом разговоре см.: Roehm E. Op. cit. S. 169.

378

См.: Vogelsang Th. Reichswehr, Staat und NSDAP, S. 118, а также: Krebs A. Tendenzen und Gestalten, S. 121 f.

379

Boepple E. Op. cit. S. 65; Heiden K. Geschichte, S. 112; Domarus M. Op. cit. S., 580 (Интервью Гитлера Бертрану де Жювенелю).

Boepple E. Op. cit. S. 75.

381

См.: Maser W. Hitler, S. 405, где тоже приводятся многочисленные подробности, на которые можно ссылаться и в дальнейшем. Подробнее см.: Heiden K. Geschichte, S. 143 ff.; Franz-Willing G. Op. cit. S. 177, а также: Bullock A. Op. cit. S. 79 ff., который, правда, из-за относительно поздно ставших доступными источников недооценивает значение поддержки со стороны зарубежных кредиторов.

382

Franz-Willing G. Op. cit. S. 182; см. также: Luedecke K. G. W. Op. cit. S. 99, где автор рассказывает о женщине лет пятидесяти, которая после одного выступления Гитлера пришла в штаб-квартиру партии и заявила, что передаёт им только что полученное наследство. По всему этому комплексу вопросов см. также: Orlow D. Op. cit. P. 108 ff., где приводятся и другие примеры.

383

Это слова из показаний в рейхстаге бывшего морского офицера Хельмута фон Мюкке, который поначалу входил во второй эшелон руководства НСДАП, а в июле 1929 года выступил с открытым письмом о методах финансирования партии; см.: Verhandlungen des Reichstags, Bd. 444, S. 138 f.

См.: Maser W. Fruehgeschiphte, S. 410 f.; Heiden K. Geschichte, S. 46, а также: Laqueur W. Deutschland und Russland, S. 76 f.

385

См.: Franz-Willing G. Op. cit. S. 195; приведённый выше призыв к восстанию против капитала: Ibid. S. 226.

См.: VB, 18-23.IV.1923, а также: 31.1. и 22.111.1923.

Так передаются эти слова в изложении содержания разговора с Эдуардом Норцем в его письме прокурору Дрессе от 23 мая 1923 года, см.: бывший Главный архив НСДАП, ВАК, NS 26/104.

Heiden K. Hitler. Bd. 1. S. 162.

389

См. подробное послание вюртембергского посланника Мозера, цит. по: Deuerlein E. Der Hitler-Putsch, S. 61; далее: Heiden K. Geschichte, S. 129. Упомянутое выступление Гитлера 24 апреля 1923 года Цит. по: Boepple E. Op. cit. S. 57. По поводу мнимого заговора с целью убийства, планирешавшегося, конечно же, евреями, см.: Maser W. Hitler, S. 412 f.

390

См. отрывок из письма Г. Федера от 10 августа 1923 года: Deuerlein E. Aufstieg, S. 179 f.; далее: Tyrell A. Op. cit. S. 59 ff.

391

См.: Heiden K. Geschichte, S. 130.

392

1-2 сентября 1870 года прусская армия нанеслафранцузам под Седаном тяжелейшее поражение во франко-прусской войне 1870-71 годов — Ред.

393

Цит. по: Deuerlein E. Der Hitler-Putsch, S. 170.

Roehm E. Op. cit. S. 215 f.

395

Цит. по: Boepple E. Op.ot. S. 187.

Правда, сначала исполнительная власть была передана министру по делам рейхсвера Геслеру, и только в ночь с 8 на 9 ноября 1923 года, после известий о гитлеровском путче в Мюнхене, уже и официально непосредственно Секту; но это была не более, чем попытка при помощи некой конструкции замаскировать реальное разделение власти и, собственно говоря, бессилие политических инстанций. Нет никакого сомнения в том, что Сект и рейхсвер осуществляли высшую власть, пока 24 февраля 1924 года не отменили чрезвычайное положение, и это, в частности, выражалось и в том, что они взяли в свои руки контроль за проведением политических и экономических мер по борьбе с инфляцией.

397

В контексте высказывание фон Кара звучит следующим образом: «Речь идёт о великой борьбе двух решающих для судеб всего немецкого народа мировоззрения — международной марксистско-еврейской и национальной немецкой идеологии… Баварии предначертано судьбой взять на себя руководство в этой борьбе за великую немецкую цель». Цит. по: Deuerlein E. Der Hitler-Putsch, S. 238.

См.: Muenchener Post, 19.X.1923.

399

Из выступления Гитлера в мюнхенском народном суде 26 февраля 1924 года, цит. по: Boepple E. Op. cit. S. 100.

Deuerlein E. Der Hitler-Putsch, S. 72, 74.

Boepple E. Op. cit. S. 87.

402

Так говорил Гитлер ещё 12 сентября 1923 года, см.: Boepple E. Op. cit. S. 91.

403

Heiden K. Hitler. Bd. 1. S. 168; Heiden K.Geschichte, S. 150; предыдущие цитаты, касающиеся фон Ка — ра, см.: Muenchener Post, 19.X.1923, а также: Horn W. Fuehrerideologie, S. 128.

404

По этому комплексу проблем см.: Deuerlein E. Der Hitler-Putsch, S. 221, 506; Roehm E. Op. cit. S. 228, а также: Hoffmann H. H. Op. cit. S. 107 f., 118.

405

Донесение вюртембергской миссии в Мюнхене от 29 октября 1923 года, цит. по: Deuerlein E. Der Hitler-Putsch, S. 90; о заявлении фон Кара см.: Dokumente der deutschen Politikund Geschichte. Bd. Ill, S. 133 f.

Deuerlein E. Der Hitler-Putsch, S. 87; остальные цитаты см.: Maser W. Fruehgeschichte, S. 422, 441; Roehm E. Op. cit. S. 228; Heiden K. Hitler. Bd. 1…S. 177.

407

Цит. по: Heiden K. Geschichte, S. 143.

Эти слова Лоссова, сказанные им, как следует из различных свидетельств, некоторым руководителям «Камп-фбунда» сразу же после совещания 6 ноября, хотя и опровергались позднее, однако в их достоверности нет никаких сомнений. См.: Deuerlein E. Op. cit. S. 97. В выступлении 8 ноября 1936 года, посвящённом памяти ноябрьских событий, Гитлер сам, например, иронизировал по поводу высказывания Лоссова; см.: Domarus M. Op. cit. S. 654.

409

Письмо опубликовано: Illustrierter Beobachter, 1926, Nr. 2, S. 6.

410

Здесь и далее приводятся свидетельства К. А. фон Мюллера из протокола процесса по делу Гитлера, 9-й и 13-й день слушаний, см.: Protokoll des Hitlerprozess, S. 60 ff., u. S. 57.

411

См., например, выступление 8 ноября 1935 года, Цит. по: Domarus M. Op. cit. S. 554.

Цит. по: Heiden K. Geschichte, S. 158.

413

Взгляды на честь (франц.)

414

Когда собрание уже расходилось, то присутствовавший тут же министр внутренних дел Швейер подошёл к Гитлеру, чувствовавшему себя героем вечера, потрепал его по плечу «словно рассерженный учитель в школе» и сказал, что эта «победа не что иное как клятвопреступление»; цитируемое замечание К. Хайдена имеет в виду этот эпизод, см.: Heiden K. Hitler. Bd. 1. S. 181.

См.: Hoffmann H. H. Op. cit. S. 186; Roehm E. Op. cit. S. 235.

416

Из показаний Юлиуса Штрайхера на Нюрнбергском процессе, ШТ. Bd. VII, S. 340.

См.: Heiden K. Hitler. Bd. 1. S. 109.

418

См., например: Maser W. Fruehgeschichte, S. 453 f.; этот автор даже упрекает Гитлера в том, что тот будто бы домогался расположения генералов-монархистов; далее: Heiden K. Geschichte, S. 162 f.; двойственный характер носят высказывания А. Буллока, который, с одной стороны, делает вывод о несостоятельности Гитлера как революционера, но в то же время оспаривает замысел революционного восстания: Bullock A. Op. cit. S. 109 f.

Hoegner W. Hitler und Kahr, S. 165.

420

Из выступления 8 ноября 1935 года, цит. по:Domains M. Op. cit. S. 553.

Hoffmann H. H. Op. cit. S. 201.

422

См.: Heiden K. Geschichte, S. 192; в одной вышедшей в 1932 году публикации, написанной человеком из окружения Людендорфа и патетически озаглавленной фразой, которой Людендорф завершил утром 9 ноября дискуссию о целесообразности демонстрации, главное место уделяется разоблачению этой легенды: Fuegner K. Wir marschieren. Muenchen, 1936. О ноябрьском путче в целом см. также подробное исследование Харолда Дж. Гордона мл.: Gordon, jr. H. J. Hitler-Putsch 1923.

423

Из сообщения правительства Верхней Баварии об аресте Гитлера в Уффинге, цит. по: Deuerlein E. Der Hitler-Putsch, S. 373.

Der Hitlerprozess, S. 28; предыдущее высказывание, в котором Гитлер отмежёвывается от поведения участников капповского путча, взято из выступления 8 ноября 1934 года. «Политическим карнавалом» назвал процесс Ханс фон Хюльзен, цит. по: Deuerlein E. Aufstieg, S. 205.

425

Неодобрительные высказывания о процессе принадлежат государственному министру фон Майнелю, см.: Deuerlein E. Der Hitler-Putsch, S. 216; приведённые слова Пенера см.: Ibid. S. 221 f.

Heiden K. Hitler. Bd. 1. S. 198 f.; Der Hitlerprozess, S. 109 ff.

427

Из речи первого прокурора Штенгляйна, цит. по: Bennecke H. Hitler und die SA, S. 104; см. также: Hoffmann H. H. Op. cit. S. 247.

Der Hitlerprozess, S. 264 ff. Хвалебные оценки поведения Гитлера на процессе см.: Heiber H. Adolf Hitler, S. 43; а также: Bullock A. Op. cit. S. 111 ff.

Frank H. Op. cit. S. 43.

См.: Heiden K. Geschichte, S. 169.

431

Из выступления 8 ноября 1933 года, цит. по: Horkenbach C. (Hrsg.). Das deutsche Reich von 1918 bis heute, S. 530 f. См. также выступление 8 ноября 1935 года, где даётся подробное изложение тактических уроков событий 1923 года. In: Domarus M. Op. cit. S. 551 ff.

432

Из выступления 8 ноября 1936 года, цит. по: VB, 9.XI.1936.

433

Цит. по: Heiden K. Geschichte, S. 135.

434

От франц. legalite — «легальность»; ироническая параллель с Филиппом Эгалите («равенство»), герцогом Луи-Филиппом-Жозефом Орлеанским (1747-1793), избравшим себе такое имя, чтобы подчеркнуть приверженность Великой французской революции, что, впрочем, не спасло его от гильотины — Ред.

Ibid. S. 165. Замечание Франка см.: Frank H. Im Angesicht, S. 57.

436

Из выступления 26 февраля 1924 года, цит. по: Boepple E. Op. cit. S. 110.

437

См. речь Гитлера в гамбургском «Национальном клубе». Цит. по: Jochmann W. Im Kampf, S. 103 f.; Luedecke K. G. W. Op. cit. S. 253; см. также: McRandle J. H. Op. cit. P. 146 ff.

Цит. по: Deuerlein E. Aufstieg, S. 197.